



ЕЛЕНА
ЛУРИЯ

МОЙ ОТЕЦ
А.Р. Лурия



МОСКВА
«ГНОЗИС»
1994

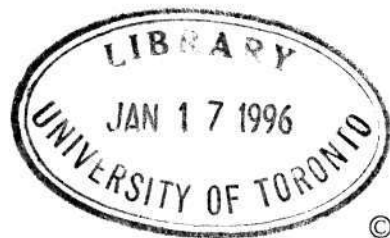
Издатели приносят глубокую благодарность Д. Шмидер, Х. Шмидер-Васмут, П. Шёнле и всей администрации Клиник Шмидера (Гайлинген, Алленсбах, Констанц, ФРГ) за участие в финансировании издания.

Лурия Е.А.

Л 86 Мой отец А.Р. Лурия. — М.: Гнозис; 1994. — 222 с.

ББК 84Р

ISBN 5-7333-0384-0



© А. Я. Фриденштейн

© Издательство «Гнозис», 1994

Вступление

Среди сумбурных и отрывочных снов мне снится один последовательный и реальный, как жизнь. Я иду по знакомой дороге через сосновые посадки, вхожу в рощу и сворачиваю налево, в наш тупичок, где за разросшимися кустами акации трудно найти тропинку и калитку. Трудно другим, но не мне, я найду калитку даже глубокой ночью в темноте. Открываю вертушку и я в саду перед крыльцом двухэтажного деревянного дома.

Окна открыты и дверь не заперта. В кухне на плите в кастрюлях и на сковородке что-то шипит и булькает. Но мамы нет. Наверное, она отошла на минуту: может, в деревню или к соседям, или в огород нарвать букет из пушистого укропа и петрушки.

Я поднимаюсь вверх по лестнице с резными балясинами и заглядываю в огромную комнату с окнами на три стороны света: на север, юг и запад. У широкого северного окна, где стекла вставлены ромбами и треугольниками в перегородчатые, будто плетеные, рамы, стоит большой старый письменный стол. На столе несколько книг и папок и листы незаконченной рукописи. Мелкие ровные строчки, написанные папиной рукой. Конечно, он дописал до абзаца, поставил точку и ушел передохнуть. Наверное, сидит в зеленом кресле на большой террасе с приемником и снимает (в который раз!) своих любимых голубых стрекоз.

Но, может быть, Олюша на месте? Спускаюсь вниз, но и старушки Оли там нет. Да и понятно, зачем ей сидеть в комнате в такой хороший солнечный день. Наверняка, устроилась в саду на скамейке у низкого деревянного столика, сделанного из большой каряги. Обычно Олюша садится на столик, ноги ставит на скамейку и что-то распарывает, шьет или ставит на одежду живописные разноцветные заплаты. Я пробираюсь через заросли кустов, которые теснятся вокруг скамейки и замыкают ее в зеленую беседку. На столике — Олюшина рабочая корзинка с иглами и шелковыми подушечками для булавок, а рядом синий фартук с тремя пестрыми заплатами. «Куда же такое старье зашивать! Надо бы ей новый фартук купить», — думаю я и с такой мыслью просыпаюсь. Новый фартук. Фартук для Олюши. Для Олюши? Но ведь ее нет — вспыхивает в сознании и озаряет болью. И мамы нет. И папы нет — доходит до меня в следующие секунды.

Но как же нет, если я чувствую их любовь и заботу, если я приезжаю в их дом, где все осталось таким же как было при них. Как

же нет, если к нам приходят бандероли с только что вышедшими папиными книгами: книгами, которые вышли в Японии, Англии, Испании, Голландии, Италии, Америке, Польше, Чехословакии... За эти годы без папы — мы получили больше 40 новых книг.

Глава 1

Детство в родительском доме

Мой дед Роман Альбертович Аурия родился в 1874 году в городе Бресте-Литовском. Отец его преподавал в городском училище. В шестилетнем возрасте Роман Альбертович остался без матери. Его старшая сестра Елизавета вынуждена была оставить гимназию, окончив три класса, и заняться домашним хозяйством и заботой об отце и братьях. Братьев было четверо: Леон, Григорий, Макс и младший Роман, которому Елизавета заменила мать. Через несколько лет отец умер. После замужества Елизавета Альбертовна переезжает в Новгород-Северский. Там Роман Альбертович поступает в третий класс гимназии, заканчивает ее и сдает экзамены на медицинский факультет Казанского Университета. Его старшие братья Леон и Макс — получают медицинское образование, а Григорий — юридическое. Несмотря на процентную норму, ограничивавшую число евреев в высших учебных заведениях, все братья получили высшее образование в России; на поездку за границу, где легче было поступить в университет, у них не хватало денег. Старший брат Леон, врач, поселился на Украине. Юрист Григорий — в прибалтийском городке Либаве; у его жены писчебумажная лавка, в которой она ведет все дела, в то время как Григорий занимается бесплатной юридической практикой для бедных. Макс — зубной врач в Томске.

В годы учебы в Казанском университете Роман Альбертович зарабатывает на жизнь грошовыми уроками и получает помощь от старших братьев. У него нет пальто и зимой он ходит, завернувшись в плед, за что получает прозвище: «сумасшедший Аурия». Недавно от моего знакомого историка медицины я получила обескураживающую выписку, которую он нашел в ЦГИАЛ^{*}, относящуюся к концу студенческих лет Романа Альбертовича:

«...Казанский губернатор 6 октября 1897 года препроводил в Департамент полиции список 22 студентов, задержанных полицией в третьем часу ночи 4 октября того же года, которые по выходе из гостиницы «Китай» позволили себе нарушить общественную тишину и спокойствие криками, пением и бранью. Ввиду отказа на предложение полиции прекратить шум и разойтись, против задержанных было возбуждено преследование по 38 статье Устава о наказании.

В числе задержанных находился и медик Аурия...»

^{*} ЦГИАЛ — Центральный Государственный Исторический Архив в Ленинграде.

Окончив в 1897 году Университет «с отличием», Роман Альбертович получил предложение от заведующего кафедрой частной патологии и терапии профессора Засецкого поступить к нему в ординатуру, но как еврей не был утвержден министерством.

Он работает год сельским врачом в Симбирской губернии и возвращается в Казань, где получает место сверхштатного ординатора Губернской земской больницы и преподавателя фельдшерской школы. Он начинает заниматься частной практикой. На фотографии тех лет мы видим Романа Альбертовича, сидящего возле маленького столика в арендованной для приема больных меблированной комнате. На стене фотография его жены Евгении Викторовны. Роман Альбертович и Евгения Викторовна ровесники, они познакомились еще в Новгороде-Северском в гимназические времена. Евгения Викторовна — дочь часовщика, у нее четыре сестры и два брата, а мать умерла. Она закончила высшие зубо врачебные женские курсы в Варшаве и экстерном сдала экзамены на медицинском факультете Казанского университета и стала заниматься частной практикой. Ее заработки были большим подспорьем для семьи и позволили Роману Альбертовичу уделять много времени научной работе, за которую он не получал денег.

Роман Альбертович начинает работать неофициальным ординатором и ассистентом на кафедре у профессора Засецкого. В течение трех лет в физиологической лаборатории профессора Миславского он собирает материал для докторской диссертации «Роль чувствительных нервов диафрагмы в иннервации дыхания», которую защищает «с отличием» в 1902 году. Диссертация эта хранится в университетской библиотеке города Тарту, и мы с папой держали ее в руках, перелистывали написанные от руки страницы, смотрели фотографии; на одной из них изображен прибор, который сконструировал Роман Альбертович для проведения своих экспериментов.

Но и после защиты докторской диссертации Роман Альбертович не имел возможности вести научно-преподавательскую работу и по-прежнему оставался больничным врачом и занимался частной практикой.

Несколько раз на собственные средства он выезжает на стажировку в Германию, где работает в лучших терапевтических клиниках, изучая в основном заболевания пищеварительного аппарата, и со временем становится одним из лучших врачей-терапевтов в Казани.

Популярность Романа Альбертовича была очень велика и, как рассказывала мне папина сестра, прохожие снимали шапки, здороваясь с ним, когда он ехал в собственной пролетке по городу.

Няня моя Ольга Харитоновна Чугунова прожила в нашей семье почти шестьдесят лет. Благодаря ей, я много знаю о детстве и юности моего отца, которые прошли в Казани, и хорошо представляю дом моего деда Романа Альбертовича Лурья, и ощущаю ритм жизни его семьи. Мне даже кажется, что я слышу перезвон больших стальных и маленьких настольных часов и дедушкиных карманных часов-луковицы. Часов в доме на Проломной было много, проверять и заводить их приходил старичок-часовщик, и под равномерное «тик-тик» проходила жизнь семьи. Часы складывались в дни, в месяцы, в годы...

В 1902 году в семье Лурья родился сын Александр, а в 1908 году дочь Лидия, которую все звали Люсей. Люся родилась уже в доме на Проломной. Несколько лет спустя в семью пришла Оля. С тех пор, собственно, я и «помню» жизнь на Проломной и вижу Олиными глазами то, что происходило тогда.

Дом, в котором жила семья, принадлежал купцу Оконишникову. На первом этаже был магазин оптовой продажи муки, во дворе — мучные сараи — лабазы, а на втором этаже, куда вела нарядная лестница с белыми каменными ступенями и узорными решетками перил, располагалась большая квартира, которую снимал мой дед.

Оля не только наводила порядок в большой квартире, но и помогала деду во время приема больных. Она развешивала на весах белый порошок, из которого варила вместе с манной крупой бариевую кашу. Потом разливала кашу в тарелки и давала больным, которым дед делал рентген желудка. У Романа Альбертовича был рентгеновский аппарат, который он купил в Германии, — большая редкость по тем временам. Несколько дней в неделю дед принимал больных дома. Больные приходили с утра и терпеливо ждали своей очереди в приемной — большой комнате с шестью окнами, в которой стояли кадки с пальмами. Один день в неделю устраивали бесплатный прием. Роман Альбертович был, конечно, талантливым врачом, и сидя в приемной перед кабинетом, Олюша видела не один случай «чудесного исцеления». Об одном из них она любила мне рассказывать: «Как-то раз на прием к профессору принесли женщину на носилках. У больной отнялись ноги и она не могла ходить. Носилки занесли в кабинет. А в приемной народу полно — больные очереди ждут. И вдруг открывается дверь, и из кабинета выходит женщина, высокая, худая, закутанная в одеяло. Это ведь та больная была, что на носилках принесли! Вот как твой дедушка лечить умел, не то что нынешние», — добавляла Олюша.

Конечно, такие случаи производили сильное впечатление, и когда я спросила у папы, каким образом дедушка поднял лежащую боль-

ную, папа задумался на минуту и сказал: «Наверное, это был случай сильной истерии. Дедушка быстро разобрался и заорал: «Трам-тарарам! Вон из моего кабинета! Вставайте немедленно и убирайтесь вон». Конечно, на носиаках принесли истеричку. Другой больной это лекарство не помогло бы. Да, любил папаша эффектные сценки, любил работать на публику. Впрочем, он был великолепный врач. Таких сейчас нет».

Много разного люда побывало в доме на Проломной. Сьезжали из деревень и из городов со всей Волги. Чего только не посылали врачу благодарные пациенты. И огромных копченых рыб, и икру, и конфеты, и яйца целыми корзинами, и разные пряники, и сладости. И все это богатство попадало под неусыпный надзор моей бабушки Евгении Викторовны. Темная комната с полками — кладовая была буквально до верху набита этими яствами. Кладовую запирали большим ключом, который по своему размеру не уступал ключу от городских ворот. «Да, мамаша вечно носилась с ключами. Теряла, искала, куда-то прятала их», — неодобрительно говорил папа. А Олюша рассказывала мне другую историю: «Александр Романович, когда я пришла, в гимназии уже учился, а Люсенька была маленькой. Ой, и любила я ей косички заплетать и бантики завязывать! Нет, не дружили они, брат с сестрой, он сам по себе, а она сама по себе. Только, вот, в кладовую вместе лазили. Стащат ключи у Евгении Викторовны, отпрут дверь и в кладовую, раз — за конфетами и пряниками. Да разве ж их не кормили, а запретное, оно вкуснее. Потом ключи спрячут, как ни в чем не бывало. А Евгения Викторовна, бедная, по всему дому ключи ищет: «Ольга! Найдите ключи — будет вам фунт конфет». «Ну, я, конечно, находила», — улыбалась Олюша. Она охотно рассказывала мне о казанском житье-бытье, и ей было приятно, что я ее слушаю и переспрашиваю.

Рассказывала она мне и о том, как дедушка купил граммофон — большой деревянный ящик с дверцами и большой пнутой трубой, похожей на трубу духового оркестра. Собирались в столовой и слушали Шаляпина. Как это было удивительно! И непонятно, откуда идет голос. А голос шел из ящика, и чтобы лучше слышать, распахивали дверцы.

На лето, когда кончались занятия в гимназии, семья переезжала на дачу. В городе оставались Роман Альбертович и Оля. «Ольга! Почему чай вчерашний?» — спрашивал дедушка. «Ничего, профессор, обойдемся, — успокаивала его Олюша, — сегодня пятница, завтра суббота, а в воскресенье с утра на дачу поедете. Так что и заваривать не к чему». Эту шутку Олюша повторяла и много лет спустя в доме моих родителей и в конце концов непонятно зачем приучила нас к слабому безвкусному чаю.

Оля лишь вскользь касалась папиного детства, гораздо больше ее интересовала Люсенька. В моей памяти хранятся бесконечные истории про Люсеньку. Как она весело проводила время со своими друзьями-мальчишками, и как Оля зашивала «кавалерам» штаны после возни или драки. Конечно, Олюше были интереснее и понятнее развлечения этих детей, чем папины занятия, книги и бородатые посетители-студенты и толстовцы, которые охотно приходили к гимназисту в дом на Проломной.

Сам папа почему-то мало рассказывал о своем детстве и юности и почти ничего не говорил ни о Люсе, ни о родителях. У меня даже закралась мысль: а любил ли он их, был ли по-настоящему привязан? Уж слишком колько и холодно звучали слова: «Да, любил папаша эффектные сцены». Или: «Это все поза» в ответ на мой вопрос о книге, которую Роман Альбертович посвятил папе: «Посвящаю сыну моему Александру»; эти слова увидела я в книге деда, вышедшей в 1929 году. Как-то раз я, уже взрослая, спросила у папы об отношениях в их семье. «Холодный был дом: каждый жил сам по себе, — и прибавил, — Ты выросла совсем в другой семье». И если бы не папины детские дневники, которые он вел только летом во время каникул в тринадцати-пятнадцатилетнем возрасте, которые я нашла среди бумаг, у меня, пожалуй, не было бы настоящего представления о том, каким он был в детстве и ранней юности. К счастью, папа сохранял все им написанное. С детства и на протяжении всей жизни он очень серьезно, как к документам, относился к любому рукописному тексту... Дневник начинается 15 апреля 1915 года словами: «Слава Богу, распустили. Вместо Ал. Юл. табеля раздавал Помидор. 1-я награда. Ничего...»

И я вижу мальчика, который очень симпатичен мне. Я вместе с ним радуюсь началу долгожданных каникул, езжу на велосипеде, играю в крокет и, самое главное, брожу до одурения по прекрасному лесу, собираю грибы и ягоды, лежу на горячем песке на берегу озера и купаюсь, встречаю гостей и отца, пью чай на террасе и дни напролет говорю и не могу наговориться с товарищами, особенно с самым близким другом Волей Лаптевым.

Прошло лето, и мальчик закончил свой дневник, вернее, отложил его... И я расстаюсь с ним до следующего лета. За год мальчик повзрослел, почерк стал четче, фразы звучат увереннее, но он по-прежнему все время в лесу, на озере. Он с фотоаппаратом. Снимает друзей, Люсю и Мишу — брата матери. И сам проявляет негативы и делает отпечатки. Он любит рано вставать — в четыре — в пять и встречать солнце и утро в лесу. Размеренно и однообразно течет дачная жизнь семьи: в воскресенье, как часы, в 10.30 приезжает из Казани отец, в понедельник в восемь утра его провожают обратно. В

конце недели в одно и то же время приезжают сестры матери и брат Миша. Дядя Миша — скульптор и мальчик очень рад, когда он приезжает и, несмотря на разницу лет, они друзья. И вдруг совершенно детская запись: «Позавтракал и пошел к Т. Там Трильби задушила птичку, и мы вскрывали и хоронили ее, а после обеда судили Трильби, но из суда ничего не вышло. Вечер мы провели очень весело: занимались спиритизмом, показывали карточные фокусы. Лег я спать в 11» (18 июля 1916 года).

5 августа мальчик с отцом попали на пароходе «Марианна» в Нижний на ярмарку. ... Что бы мне не говорили потом, я чувствую, что мальчик любил своих родителей. Отца он называет Шен, а мать Куликой. Так и пишет о них, ни разу не употребляя слов «папа» и «мама». И у меня в памяти всплывает давнишний разговор, папа говорил мне: «С самого детства отца я называл Шен. Шен... что-то колючее. У него были усы и борода... И мне было колко». И еще жили в памяти слова моей бабушки Евгении Викторовны. Я была тогда маленькая, и бабушка с грустью говорила мне: «Он в детстве меня очень любил и называл Куликой...»

Быстро пробежали светлые летние дни. 13 августа 1916 года (за два дня до начала занятий) в дневнике записано: «Как жалко, что лето так скоро проходит! Только теперь мы начинаем его оценивать. Да и всегда все в жизни так: все мы оцениваем по достоинству после времени — таков закон природы...»

«...Сегодня последний день лета. Встав утром, мы пошли за грибами и набрали их довольно много (по нынешним временам). В 1 1/2 я уехал в город. Там до обеда я проводил в порядок мою зимнюю квартиру, после чего пошел к Т., вернулся оттуда к 7 ч. Поужинав в 10 ч., я лег спать.

Лето кончилось, и я кончаю свой дневник» (15 августа 1916 г.).

На этом мы расстаемся с мальчиком и через полгода встречаемся с юношей, глубоко потрясенным Великими событиями.

Из тетради Александра Лурия:

«Воспоминания о событиях 1917 года»

*Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу*

А. С. Пушкин

«День 1 марта 1917 года начался, как обыкновенно, тихо и даже в воздухе не носилось ни малейшего предзнаменования той бури, которой суждено было разразиться к вечеру. До 2-х часов дня все было спокойно.

Еще с предыдущего дня появились слухи о каких-то беспорядках в Петрограде, о продовольственном кризисе, и они продолжали циркулировать и в этот день, нисколько не увеличиваясь, но на них почти не обращали внимания.

О происшедшем перевороте я узнал часа в 2 и страшно был поражен. Конечно, все еще давно думали, что-то такое предстоит, что мы «накануне великих событий», но каковы эти события и когда им суждено разразиться, об этом никто не знал...

Первое известие, переданное мне, было о назначении Временного правительства. Раньше предполагалось, что все это тайна, но вскоре получилось и официальное подтверждение этого события. В 4 часа вышла телеграмма с этим подтверждением, но почему-то была конфискована в течение получаса... В 5 часов слухи и известия появились подобно дождю: мы узнали об аресте Протопопова* и огромное количество разного рода известий. К 8 час. вечера на Воскресенской собралась манифестация и прошла по улице с красными флагами и пением «Вставай, поднимайся, рабочий народ...»

...На следующий день настроение у всех было возвышенное. Придя в гимназию, мы начали обсуждать происшедшие события, и интересно заметить, что во всем классе (а в классах у нас 43 ч.) не нашлось ни одного, порицающего происшедшее. Все ходили такие светлые, радостные, поздравляли друг друга с новым правительством. За молитвой (молитва у нас бывает общая) по обыкновению пропели все молитвы; дошла очередь до «Боже, царя храни». Тут-то и вышел этот интересный случай. Когда начали петь «Боже, царя», мне что-то показалось, что поют очень тихо и высокими нотами. Это вскоре разъяснилось: оказывается, пело из всей гимназии 5-6 человек: басы молчали, тенора и альты тоже, а пели только дисканты и первокурсники, да наш регент-учитель. На нас тот случай произвел впечатление самое благоприятное, и мы много шутили над этим. Все уроки прошли обыкновенно, разве за исключением того, что мы поздравляли всех «с новым правительством», на что некоторые усмехались, а некоторые только молчали.

В 5 1/2 была выпущена телеграмма с извещением, что много войск перешло на сторону нового правительства и многие города признали его. Только что (в 7 ч.) принесли известие, что арестована Александра Федоровна**.

Интересное настало время! ...

...В 2 часа мы получили главный сюрприз: Николай «изволил

* Протопопов А. Д. — министр внутренних дел в последнем царском правительстве, считался ставленником Г. Е. Распутина.

** Александра Федоровна — супруга Николая II, императрица.

подписать отречение»... Сколько впечатлений мы пережили за эти два дня. Мне кажется, что это не два дня, а два года или еще больше. Впечатлений этих больше, чем за всю мою жизнь! ...

...4 марта в воинских частях города Казани происходили волнения. 94-й запасной полк не захотел оставить своего командира — Брянцева, а пожелали на его место любимого ими полковника Григорьева. Брянцев был арестован солдатами, а Григорьева вызвали и понесли с музыкой к полку...

...15 марта в Казани был праздник Свободы, «светлый праздник», как его называли газеты.

С раннего утра все приняло какой-то праздничный вид. Все с красными значками, лентами, знаменами, дома, украшенные тоже красным, все это как-то способствовало повышению, и без того праздничного настроения. В 12 часов начался парад на театральной площади. Столько народу я никогда не видел: вся площадь была запружена, люди стояли на балконах, крышах, сидели на деревьях, фонарях и т. д. Парад продолжался до 2 ¹/₂ час, за это время прошли все войска Казани, — около 60 000 чел. После этого войска (все время они шли с красными флагами с надписями «Да здравствует свободная Россия», «Да здравствует революционная республика», «Дайте снарядов — мы будем в Берлине» и т. д.) прошли по всем улицам с флагами, оркестрами, даже некоторые части с гармошками и бубнами.

В 7 час. я пошел на митинг в городской театр. Речи были довольно интересные, говорили большей частью студенты и рабочие и даже 2 духовных: священник и дьякон. Последний, между прочим, упомянул, что конституционная монархия нам не нужна: не нужен и монарх, т. к. при нашем тощем сундуке эта «роскошь» не допустима.

Ушел я с митинга в 11 часов вечера, не дождавшись конца.

16 марта в 7 ч. вечера нас посетил политический Доринский, привлекавшийся 11 раз и сидевший в тюрьмах с 1905 г. с перерывами по 1-2 года. Он рассказывал, как его выпускали из тюрьмы: прямо не верится — сказка! Его товарищ — рабочий, также принимавший участие в 1905-м году и сидевший 10 лет подряд в тюрьме — Скобелев, также был у нас, но с ним я не имел возможности поговорить»...

Передо мной синяя ученическая тетрадь, в которой папа записывал волнующие события весны 1917 года, и черная общая тетрадь — летний дневник. Я снова и снова перечитываю их и мне очень жаль, что скоро я дойду до конца — последняя запись в летнем дневнике сделана 3 июля 1917 года. Лето семнадцатого не похоже на лето 15 и 16 годов, оно наполнено митингами, собраниями,

лекциями, спорами, первыми попытками включиться в общественную деятельность, и в него лишь вкраплены спокойные дни, проведенные на даче на Красной Горке:

«30 апреля. Поднялся сегодня рано и отвез Тане письмо и пошел на заседание НПТ и ПЭС.

Как всегда там ничего не решили. Плохо идут у нас дела. Ведь, если будут продолжаться такие раздоры, никогда путного ничего не получится. В 4 час. пошел на митинг «социалистов». Говорили там страшную ерунду и вынесли страшно глупую резолюцию... Был на прощальном собрании драматической секции. Хорошо у них. Сегодня там прощались с уходящими членами, качали их, кричали «ура» и т. д.

На обратном пути говорили с Григорьевым. Умный он человек...

5 мая... Сегодня арестовали Афанасьева, т. к. нашли у него массу различных продуктов, между прочим вина, которое все выпили на улице.

Сегодня вечером у нас был Ив. Н. Алин из Петрограда, рассказывал нам про весь ход революции в Петрограде, что за жизнь у нас в сравнении с Петроградской, какое-то мелочное провинциальное прозябание, без ярких интересов, только с обыденными мелочами жизни.

17 мая... Вечером был митинг — «Оборона или поражение», — говорил Щен*, депутаты с фронта и многие другие.

26 мая... Вечером был на лекции Петрова — «Ценность жизни». Замечательный лектор и замечательная лекция. Кончилась она в 11 ¹/₂ час, а до 1 ¹/₂ ночи я ходил по Проломной с Григорьевым (конч. реальное) и говорил с ним о союзе, об общественной работе, о литературе...

11 июня. Весь день прошел в подготовке к собранию Союза. В 12 я пошел на вокзал на совещание, которое длилось до 3 час. Решено организационное собрание устроить в субботу в час дня у нас на даче. В 7 час. я поехал к Ореховым, там написали плакаты и целой компанией пошли их вывешивать. Ну, дай бог, чтобы союз имел успех! Теперь дело начато — рубикон перейден...

3 июня. Ну, кажется, наше дело провалилось. Сегодня на собрании было всего 7 человек. После собрания, которое не состоялось, я пошел к Ореховым...

14 июня. Сегодня узнал, что завтра в Казань приедет Керенский...

15 июня. Сегодня в 8 ч. я поехал в город в надежде встретить Керенского. Но он не приехал и я остался с носом...

* Щен. — Р.А. Лурья.

21 июня... В 5 ч. вечера мы заметили огромный лесной пожар. Молодежи набралось человек 10, и через 4 ч. общими усилиями пожар был потушен».

А рядом запись спокойного летнего дня, и я снова вижу мальчика-подростка прежних лет.

«13 июля. Сегодня я встал рано — в 4 1/2 ч. утра по нормальному времени (в 5 1/2 по нов. вр.) и пошел в лес. Было очень хорошо; солнце только всходило и было даже немного холодно. Я пошел по дороге к лесничему, прошел 1-ю поляну, оттуда пошел в удельный лес, нарвал там ягод и возвратился домой в 7 часов по нов. времени. В 8 уехал Шен, а я возвратился домой, лег спать и проспал до 11 ч. ... После этого мы пошли с Волей купаться. Возвратились с купанья в 6 ч., попили чай у Лаптевых, а потом пришли к нам, взяли у Тих. их собачку Томика и перевели ее к Лаптевым. Вечером я выжег Волину палку, был на вокзале у почтового и лег спать в 12 1/2 ч.».

В синей тетрадке «Великая революция» не хватает страниц, записи, сделанные осенью и зимой семнадцатого и в первой половине восемнадцатого года, отсутствуют. Сохранились два листа. Запись от 7 августа 1918 года:

«Вот уже третий день идет бомбардировка, перестрелка, ...не знаю, как назвать. Началось в 3 ч. Услышали выстрелы, стали говорить о приближении чехо-словаков. В 9 ч. выстрелы были уже сильны, началась паника. Все попрятались по домам. Говорили, что чехи в Устье. Весь вечер часов с 11 в банке слышались крики и ругань. Вывозили (и разграбляли, вероятно) золото.

6-го с утра было спокойно. Сходили даже на базар, но большинство магазинов было закрыто. К 5 часам началась отчаянная пальба. Часам к 8-9 она перешла в бомбардировку наших, прилегающих к банку мест*.

Мы засели в кладовой и только изредка выглядывали оттуда. Канонада была невообразимая.

Легли спать частью в кладовой, частью в коридоре.

Утром 8-го встал рано: в 6 часов. На улице была абсолютная пустота и тишина. С течением времени начала собираться публика. Говорили, что город уже взят чехами. Вдруг появились два верховых, которые, доехав до нашего квартала, посмотрели кругом и, повернувшись, уехали. Вскоре появился отряд солдат, который приближался к нам. Солдаты были в сербской (или чехо-словацкой) форме, с большими повязками на руках. Это было в первый раз, что я увидел белогвардейцев. Солдаты выстроились около банка. Скоро из банка вы-

несли оружие и вывели бывшую там большевистскую охрану; выстроили ее и увели; поставили свой караул. Так был «взят» банк с запасом золота со всей России...

Утром был арестован отец, по ошибке приняли его за большевика, но тотчас выпустили. В городе идут расстрелы: ищут и расстреливают большевиков. В связи с этим развивается ужаснейшее антисемитское настроение. Была уже одна провокация в Синагоге: кто-то сказал, что большевики и евреи бросили бомбу. Сделали обыск, кончилось ничем. Опасаются, однако, еврейских погромов. Настроение ужасное.

Кошмарное время!!».

Последняя запись датирована 1 мая 1920 г., полтора года спустя.

«Сегодня — праздник труда. Сегодня — праздничный труд. Сегодня — день, вырванный из будущего, из сказки, водворенный в Действительность. Сегодня — день будущего».

В своей научной автобиографии, написанной в конце жизни, Александр Романович пишет об атмосфере первых лет революции, которая кардинально изменила судьбы молодежи: «Каждый из нас отчетливо ощущал, что он является только частью великого движения исключительной исторической важности, и что он должен найти свое место в этих крупнейших исторических событиях.

Такова была атмосфера первых лет революции, общая для всего молодого поколения, людей, родившихся в первые годы этого столетия».

* На Проломной улице рядом с домом, где жила семья Лурья, помещался банк.

Глава 2

Студенческие годы в Казанском университете. Казанское психологическое общество

Разлетались в прах старые устои общества и образования. Классическое гимназическое образование с сочинениями на латинском языке казалось не современным, и многие ученики заканчивали его по сокращенной программе. Большие перемены произошли и в высших учебных заведениях. «По сути говоря, я не имел возможности нормально закончить мое среднее образование: вместо полагающихся 8 лет, я проучился только 6 лет классической гимназии, и в 1918 г. закончил мою школьную программу на краткосрочных курсах, как это сделали и многие мои товарищи.

Я не смог получить и достаточно систематического университетского образования: старшее поколение дореволюционных профессоров было выбито из колеи новой ситуацией, а на гуманитарных факультетах эта растерянность была особенно выражена. Молодое поколение — студенты, было слишком занято тем, чтобы подвергнуть коренному пересмотру старые подходы и наметить собственные новые пути. Это оставляло только незначительное время для систематических учебных занятий, и новая форма активности — студенческие кружки, собрания, студенческие научные ассоциации, полные дискуссий по каждой проблеме, заняли основное время».

В 1918 году Александр Лурья поступил на факультет общественных наук Казанского Университета и стал одним из организаторов научного студенческого общества — ассоциации общественных наук. Чем только не занималась ассоциация, каких только проблем там не касались. Интересовались и философией, и социологией, и медициной.

Старинный папин друг по Казанскому Университету Антонина Александровна Винокурова рассказывала мне о своей студенческой жизни: «Мы все делали доклады. Как сейчас помню, мой доклад назывался «Первобытная культура по Шульцу». Все успевали: ходили в Медицинский институт на разборы больных, на литературные диспуты, мчались в театр. И основным заводилой был Шурочка. Все вертелось вокруг него».

27 июня 1919 года на губернском съезде по внешкольному образованию инструктор внешкольного подотдела городского отдела по просвещению тов. А. прочитал доклад о домах подростков...

Дневников 19 и 20 года не сохранилось, а может быть, их и вовсе не было. Вероятнее всего, в водовороте жизни не оставалось времени для ведения дневников. Зато среди бумаг тех лет я совершенно неожиданно для себя нашла литературные наброски. Это папка «Первые эскизы», в которую вложены рассказы разных лет, «Pièces Intime» 1919 года и блокнот в коричневом кожаном переплете — стихотворения, написанные летом 1920 года. Под каждым стоит дата. Многие стихотворения лета двадцатого года посвящены Закату. Закат багряный, кроваво-красный, фиолетовый... :

«Душу мою без дна и без края
Наполняет заката зарево».

На фоне заката нарисован портрет друга:

«Я смотрю на твой резко очерченный
Профиль в оранжевых лучах заката.
Мне кажется, такое лицо бывает у тех, кто идет на подвиг
Я думаю, так устремлены глаза тех, кто видит смерть.
Я знаю: это резкий профиль того, кто чувствует силу.
Я смотрю на твой резко очерченный профиль
В оранжевых лучах заката...»

И вновь я иду по знакомой дороге, но сейчас одна. Летом почти каждый вечер мы гуляли по ней с папой. Особенно в последние его годы, когда ему стало трудно ходить по бездорожью. Старое шоссе, по которому почти не ездят, неторопливо выплывало из-за рощи, делало плавный поворот на берегу Водохранилища и лениво уходило к парому — тянулось ровной серой полосой вдоль канала. Иногда родители уходили гулять одни. Мама в теплой серой кофте и в брюках, нагруженная папиным фотоаппаратом, и папа в черном плаще, опираясь на зонт. Он о чем-то рассказывает маме. И мне кажется, что я слышу его равномерный, чуть глуховатый голос, и шум воды в озере, который происходит непонятно от чего: ведь течения нет, а кажется, что кто-то вздыхает, булькает. Может быть, рыбы?

Дождь кончился и вечерние облака стали фиолетовыми с золотой каймой. Облака поднимались ввысь, таяли, а золотая полоса становилась прозрачней и шире... Закат. Вечернее небо, о котором сегодня я читала в папином блокноте двадцатого года. Нет, я здесь не одна! Мы идем по шоссе вдоль канала вместе с папой и вместе переживаем этот вечер, этот закат:

«Закат — это неба весна.

День — это тихий сон.

Ночь — в звездной чаше без дна.

Утро — серебряный звон...» (А. Лурия, 1918 год).

Трудно сказать, когда студент факультета общественных наук Александр Лурия избрал психологию своей специальностью. В черновом варианте научной автобиографии А.Р. Лурия пишет: «У меня не было ни учителей, ни руководителей, которым я мог бы следовать, и мой приход в психологию не был ни систематическим, ни направленным на определенную цель». Вероятнее всего, интерес к психологии зародился под влиянием прочитанных книг.

О своем первом знакомстве с психологией А.Р. Лурия рассказывал 25 марта 1974 года на заседании московского отделения общества психологов: «...Я в то время очень интересовался историей различных социальных течений, особенно утопического социализма, и у меня, как у всех молодых людей шестнадцати-семнадцати лет, возник ряд проектов, безусловно, невыполнимых. Прежде всего мне захотелось написать некую книгу, которая состояла бы из трех частей. Первая часть должна отвечать на вопрос о том, как возникают идеи, вторая — как они распространяются и третья — как действуют... Я обратился к лучшим авторам — Вундту, Эббингаузу и Титченеру и, прежде всего, Гефдинг⁵. Вы знаете эти работы и согласитесь, наверное, со мной, что ничего живого в этих книгах нет, нет там никакой истории идей, никаких фактов о распространении и уж, тем более, воздействии на людей. Ни в этих, ни в каких других книгах по психологии тех времен и намека не было на живую человеческую личность, и скупища от них охватывала человека совершенно непередаваемая... Я обратился к другим источникам, непсихологическим, надеясь хоть там почерпнуть нечто о свойствах идей. Я прочел книжку известного в то время экономиста Л. Брентано «Опыт теории потребностей» и перевел ее с немецкого — ведь там речь шла о потребностях, которые движут человеческим поведением, а это уже было весьма близко к интересовавшим меня проблемам.

Потом я встретился с несколькими весьма интересными людьми. В Казани оказался ассистент знаменитого нашего историка Роберта Юрьевича Виппера, доцент Кругликов. Он высказал ряд мыслей, очень созвучных моим, которые поддержали мое неприятие психоло-

гии. Кругликов написал даже книгу «В поисках живого человека», которую я издал, будучи председателем студенческого общества, носившего название «Ассоциации общественных наук...»

Лабораторией психологии в нашем университете тогда заведовал некто Сотонин, который ничего интересного собой не представлял, но он держался близкой моему сердцу мысли, что психология должна быть клиникой здорового человека. Я тоже издал его книгу «Темпераменты» — главным образом ради содержащихся в ней критических замечаний по скучной, угнетающей, пустой классической психологии.

Мне попалась далее книга, которую никто из вас никогда в жизни не видел... Этот библиографический раритет написан профессором Николаем Александровичем Васильевым. Называется он «Лекции по психологии, читанные в 1907 году на Казанских высших женских курсах». Васильев был очень интересный человек — философ, фантазер, но он страдал маниакально-депрессивным психозом. Когда болезнь отпускала его, он читал великолепные, блистательные лекции, частью по психологии, частью по философии, издавал прелюбопытные исследования... Я, к сожалению, не учился у профессора Васильева, а встретился с ним по очень занятому поводу. Дело в том, что в поисках живых источников психологии я, среди других авторов, обратился к Фрейду, которым очень заинтересовался, потому, что он имел дело с конкретной содержательной личностью...

Так вот, когда я вник в эти источники, где была попытка занять живым человеком, я задумал другую работу... Я написал книгу «Принципы реальной психологии». Существует она в одном единственном экземпляре — это двести с лишним страниц, написанных от руки. В ней я дал, так сказать, отток своему отращиванию к классической психологии и попыткам найти выход из создавшегося в ней положения...

Я знал, прочитав «Историю философии» Виндельбанда, что существуют науки номотетические — они изучают закономерные процессы, и идеографические, которые описывают процессы единичные, индивидуальные, не имеющие общих закономерностей. Примером первой может явиться биология, либо физика, химия, математика; примером второй Виндельбандт приводил историю, которая, по его мнению, излагает конкретные частные факты, но никакой связывающей их закономерности не обнаруживает. Так вот, какой же должна быть психология? Моя мысль заключалась в том, что ей следует объединять в себе номотетические и идеографические принципы. Ей положено изучать конкретного индивидуального человека, и поскольку это так, психология должна быть наукой идеографической. Но и ей надлежит не только описывать, но изучать закономерности, и потому

⁵ Гефдинг Харальд (1843-1931) — датский философ, историк философии и психолог; Вундт Вильгельм (1832-1920), Эббингауз Герман (1850-1909) — немецкие ученые, родоначальники экспериментальной психологии; Титченер Эдуард (1867-1927) — американский психолог, основатель Общества экспериментальной психологии США.

она — наука номотетическая. Психология, получалось у меня, — это наука индивидуальных закономерностей.

Написав эту книгу, я понес ее профессору Васильеву... Он прочел мою книгу и дал мне большую на нее рецензию. В ней было сказано, что автор, тщательно взвесив известные проблемы, нашел какой-то путь к их решению, далее шло много вежливых слов и вывод — после доработки книга заслуживает того, чтобы быть напечатанной. Я, правда, оставил этот вывод без внимания — вложил отзыв Васильева в рукопись, рукопись в папку, и с тех пор она спокойно простояла у меня на полке теперь уже более полувека...» (цит. по стенограмме).

* * *

В 1921 году А. Лурия заканчивает свое очень короткое, длившееся всего 3 года, пребывание в Университете на факультете общественных наук и входит в состав вновь организованного института научной организации труда и начинает учиться на медицинском факультете Казанского Университета.

В начале 20-ых годов Лурия заинтересовался психоанализом, методом изучения бессознательных психических процессов, предложенным выдающимся немецким психологом Зигмундом Фрейдом. В 1922 году Лурия организовал Казанский психоаналитический кружок. Его первое заседание состоялось 7 сентября 1922 года в 7 часов вечера. Присутствовало десять человек, и среди них будущий академик-историк Милица Васильевна Нечкина. На заседании А. Лурия сделал сообщение «Современное положение психоанализа». Собравшиеся зафиксировали цели кружка: «знакомиться с новыми направлениями в изучении психологии личности; связаться с заграничной наукой и получить иностранную литературу; переводить на русский язык и издавать наиболее интересные психоаналитические новинки.

Постановлено:

Войти в связь с Московским психоаналитическим кружком для установления обмена материалами и литературой. Собрания устраивать по мере накопления материала по субботам (место и время фиксируются бюро).

В члены кружка принимать общим собранием по рекомендации двух членов. По мере надобности на специальные научные доклады приглашать специалистов...»^{*}

Сообщение об организации Казанского психоаналитического кружка было послано Зигмунду Фрейду и к большому удивлению и

^{*} Цит. по записям протоколов психоаналитического кружка, которые подробно вел его секретарь Александр Лурия.

радости членов кружка Фрейд написал ответное письмо, начинающееся словами «Дорогой господин Президент», в котором он писал, что очень рад узнать, что в таком отдаленном восточном русском городе как Казань создан психологический кружок. Это письмо и другое, разрешающее русский перевод одной из небольших книг Фрейда, хранятся в архиве А.Р. Лурия.

На заседаниях психоаналитического кружка разбирались клинические случаи невротических расстройств, о которых докладывали врачи — члены кружка, делались теоретические и реферативные доклады по отдельным вопросам системы психоанализа, рассматривались с точки зрения психоанализа отношения и судьбы литературных героев. Интересно, что при обсуждении системы Фрейда высказывались и критические замечания. Так, на четвертом собрании кружка, которое состоялось 23 ноября 1922 года, в своем докладе «Реферат «Лекций по введению в психоанализ» Зигмунда Фрейда, т.1», М.В. Нечкина выдвинула ряд возражений изложенным в «Лекциях», тезисам Фрейда.

«Символика снов, предложенная Фрейдом, по мнению М.В. Нечкиной, очень спорна, поражает своей пестротой и часто не может быть понятна у людей, не знакомых с предполагаемым субстратом символов. Эту символику можно сравнить с лунным и солнечным толкованием сказок, введенных бр. Гримм»^{*}.

На одном из заседаний кружка Александр Лурия сделал доклад «К психоанализу костюма». В протоколе приводится краткое резюме этого сообщения, сделанное рукой А. Лурия. Доклад написан в виде статьи и трактует вопрос о подсознательных мотивах, коим подчиняется костюм, причем основным мотивом у женщины считается пассивно-сексуальный («стремление нравиться»), а у мужчины активно-агрессивный («стремление импонировать, самоутверждаться» и т.д.). Делается экскурс в область костюмов карнавала, танца, моды военных, революционных костюмов.

Полный текст доклада сохранился в архиве А.Р. Лурия. Приведем несколько отрывков из него. «...Если мы возьмем на себя труд просмотреть альбомы мод, мы увидим как эта сексуальная, привлекающая и «дразнящая» роль костюма прорывалась на протяжении всех времен. Самый характер этих мод показывает, как вытесненный, осуждаемый «цензурой», подавляемый сознательным бессознательного, мотив прорывается хотя бы окольными путями, хотя бы намеками...»

Огромное большинство мод дает подчеркивание «вторичных половых признаков», (декольте, турнюры, фижмы). Этим достигается

^{*} Цит. по книге протоколов психоаналитического кружка.

некоторый «обход» подавляющего влияния «цензуры» и, вместе с тем, нужный для бессознательного эффект...

Иногда, однако обход «цензуры» достигается иным, обратным путем. Это — путь маскировки, скрытия всех форм тела под пышными складками одежды, а лица под густой вуалью. В таких случаях одежда не дает никакого подчеркивания сексуальных признаков, однако, скрывая их, оставляет максимум места для фантазии...

...Наиболее типический вид женской одежды, наиболее откровенно указывающей на бессознательные мотивы ее употребления, дают нам одежды тех моментов, когда контролирующая сила «цензуры» наиболее ослаблена.

В индивидуальной психике такие моменты, согласно работам Зигмунда Фрейда, бывают во время сна, в состоянии невроза, однако они могут проявляться и в социальной психологии. В своих новых работах Фрейд говорит, например, о толпе, в которой интеллект отходит на задний план, «цензура» ослабляет свое действие, и наружу проявляются те влечения и страсти, которые были подавлены и находились вне сознания...

Прекрасным примером подобного состояния может служить карнавал. Именно во время него, один раз в год, прорываются эти подавленные желания и ярким, широким, хотя и кратковременным разгулом, компенсируют годовое подавление их. Прекрасную психологию карнавала, как кратковременного царства освободившихся желаний и фантазий дал Э.Т.А. Гоффман в своей «Принцессе Брамбилле...»

То же самое видим мы и в другом виде «каникул человеческой души» — в танце. ...В мужском костюме мы встретим отражение второго, не менее важного мотива человеческой жизни — стремление к самоутверждению и расширению своей власти, стремления быть сильным, выдающимся, могучим. ... устрашающая одежда самцов дает прообраз типической мужской одежды в человеческом обществе...

В индивидуальной психике подавленные желания, приводя в движение механизм фантазии, создают некоторый социальный идеал личности («Ich-Ideal» Фрейда), который в точности соответствует этим влечениям и желаниям. В свою очередь, этот «идеал личности», как реальная психологическая сила, не может оставаться без влияния на социально-культурные формы; он налагает на них известный отпечаток, вызывая к жизни те формы социальных группировок, которые удовлетворяют бессознательным стремлениям и созданным ими идеалом личности.

Сказать, что война и войско создаются воинственным духом человека — значит еще ничего не сказать, но вставить положение, что война и войско являются социальным последствием потребности человека в утверждении и расширении своей власти — значит вскрыть

психологическую сущность всякой армии... Даже самый мирный человек таит в глубинах своей психики как атавизм бессознательное стремление к этому «идеалу». Прекрасную иллюстрацию этому дает одно место из дневника А.Н. Толстого, где он описывает свое душевное состояние при встрече с двумя конными гусарами: теоретически он осуждает их, но бессознательное его влечет к этим красивым и, прежде всего, сильным фигурам. И у него, независимо от воли выражается: «А молодцы ведь! Молодцы-то!».

Основной мотив одежды войска, диктуемый этими бессознательными, скрытыми желаниями — это мотив приобретения благодаря ей наибольшей импозантности, кажущейся силы, величины; одежда войны должна производить впечатление неуязвимости и устрашающей мощи...

...Так, в военных костюмах индейцев мы видим большие головные украшения из перьев, придающие воину крайне импозантный, почти устрашающий вид. То же самое впечатление производят и древние греческие шлемы с большими пластинками, прикрепленными к верху шлема и украшенные конскими хвостами. Интересно, что бессознательные мотивы, вызвавшие именно такие формы одежды у войск, удержались и до сего времени и часто даже вступают в конфликт с видимыми практическими соображениями. Так, несмотря на то, что огнестрельное оружие фактически сделало уже ненужным устрашение врага своим внешним видом, в русской армии эпохи Суворова унтер-офицер «для эффекта» имел не огнестрельное оружие, а алебарды. Французская армия при Наполеоне I имела высокие медвежьи шапки с красными султанами, явно непрактичные, но делавшие солдат выше ростом и импозантнее с виду; русский гусар 1812 г. имел высокий кивер, с золотым орлом и султаном, высотой (вместе с султаном) около одного аршина... То же самое можно проследить и на формах армий Великой Европейской Войны 1914 г. Примером может служить созданный с явным расчетом на психологический эффект костюм «гусаров смерти», с их черепами и шнурами, напоминающими ребра скелета...

Не менее ярко значение одежды в тех общественных группах, само существование которых связано с эмоциями могущества, самоутверждения, господства. Я имею в виду наряды царей, вождей всякого рода и т.п. Первичные стремления к власти, могуществу выражены в них с особенной чистотой и яркостью. Не даром Фрейд думает, что психологически вождь замещает собой индивидуальный «идеал личности», всевластный, могущественный, стоящий выше норм и являющийся их источником...

Доклад написан в сентябре 1922 года. Много в нем может показаться наивным, предвзятым, с чем-то мы можем соглашаться, но

в целом этот единственный сохранившийся полный текст доклада, прочитанного на собрании Казанского психоаналитического кружка, дает нам живое и непосредственное впечатление о его деятельности.

От периода увлечения психоанализом осталась книга А. Лурия под названием «Психоанализ в свете основных тенденций современной психологии». Историю ее публикации Александр Романович вспоминает так: «У нас был тогда журнал «Казанский библиофил». Я принес туда обзор книг по психоанализу, его напечатали. Я работал в то время в типографии и взял журнальный набор, разрезал его на соответствующие блоки и вышла книжка, переплет которой вот, этот, серенький, я купил в писчебумажном магазине. В 1923 году, когда я первый раз приехал в Москву, я показал эту книжку Отто Юльевичу Шмидту*, жена которого была видным психоаналитиком. Шмидт тогда работал директором Госиздата, и очень скоро книжка моя вышла в свет небольшим тиражом — около полутысячи экземпляров...»

И все же интерес к психоанализу не привел Александра Лурия никуда. Его попытки приложить методы психоанализа в психиатрической клинике не дали определенных результатов. «Интересно, что одна из пациенток, с которыми я работал, — вспоминает А.Р. Лурия полвека спустя, — оказалась внучкой Достоевского. Хотя я заполнил целые тетради ее свободными ассоциациями, мне не удалось использовать эти материалы, чтобы уловить «конкретную реальность потока идей». Фактически, сама постановка такой проблемы с очевидностью показывает, что этот подход ни к чему не мог привести.

Позднее я опубликовал несколько статей, основанных на идеях психоанализа и даже подготовил книгу об объективном подходе к психоанализу, которая никогда не была напечатана. В конце концов я убедился, что ошибочно считать человеческое поведение продуктом «глубин» сознания, игнорируя его социальные высоты...»

Старый журнал в мягком переплете, напечатанный на оберточной бумаге для мыла. Название «Проблемы психофизиологии труда и рефлексологии», Казань 1922 год. В организации этого журнала принимал активное участие молодой сотрудник молодого Института научной организации труда Александр Лурия.

Александр Романович вспоминает об этом: «...я даже организовал журнал под заглавием «Проблемы психофизиологии труда» и получил предложение поехать в Ленинград (тогда Петроград), и попросить самого Бехтерева принять участие в редакции этого журнала.

Это был мой первый визит в этот город, и Бехтерев, тогда — старый человек с длинной белой бородой, но с энергией юноши показал мне свой институт... моя командировка увенчалась успехом и, Бехтерев согласился принять участие в редакции этого журнала, только при одном условии — если к названию будет прибавлено «...и рефлексологии», и такой журнал возник. Первым редактором был старый физиолог Казанского университета профессор Н.А. Миславский, который не имел ничего общего ни с психологией, ни с трудом, вторым стал Бехтерев, а я остался секретарем».

Всего было издано два выпуска журнала. В этом журнале были опубликованы две статьи А. Лурия. О содержании экспериментов, которые лежали в основу статей Александр Романович в своей научной биографии пишет так: «Я начал проводить некоторые наивные эксперименты, которые должны были иметь какие-то черты объективного анализа человеческого поведения. Я пробовал проанализировать эффект напряженной работы на умственную активность, проводя исследования на рабочих словолитни. Вскоре я перешел к попытке измерить влияния словесного фактора (внушения) на скорость реакции. Мой приятель — старый хроноскоп Гиппа'a* помог мне в этом начинании... Все что удалось сделать в эти годы моей работы в Казани, ограничивалось только что изложенной серией поисков, в которых очень плохо подготовленный молодой человек пытался искать свой путь в той замечательной атмосфере, которую создала Революция».

Статьи Александра Лурия, опубликованные в журнале «Проблемы психофизиологии труда и рефлексологии», привлекали внимание профессора К.Н. Корнилова — директора Московского института психологии и определили папину дальнейшую судьбу: Корнилов пригласил Лурия переехать в Москву и стать сотрудником Института.

Перед Александром Романовичем открываются новые горизонты. Он познакомится с московскими учеными и будет работать в большом институте. Прощай, Казанский институт научной организации труда, прощай, дом на Проломной, прощай, знакомая до мелкой черточки комната, гладкая белая стенка кафельной печки и окно, выходящее во двор на каретник и мучные лабазы.

Он собирает свою поклажу, в основном, это книги, и уезжает на поезде в Москву: «Прощай, Казань!»

* О.Ю. Шмидт — известный советский ученый, исследователь Арктики.

* Хроноскоп Гиппа — прибор для измерения скорости реакции.

Глава 3

Переезд в Москву. Работа в Институте психологии. «Природа человеческого конфликта»

В Москве Александр Романович поселяется в комнате большой коммунальной квартиры в Трехпрудном переулке. Вскоре сюда приезжает Вера Николаевна Благовидова, которая становится его женой. Вера Николаевна поступает в студию камерного театра Таирова, Александр Романович с головой уходит в работу, иногда по вечерам у них бывают друзья — новые московские знакомые и бывшие казанцы, перебравшиеся в Москву. Они бывают в театрах и на диспутах. Но прежде всего они оба очень много и напряженно работают. Они молодые и счастливы.

Папа не рассказывал мне о своей первой жене, и я знала о ней только по рассказам Оли. Мы познакомились с Верой Николаевной только после смерти моих родителей.

Две женщины плачут, вспоминая о том, что было шестьдесят с лишним лет назад. Одна тогда была молодой, другая еще не жила.

— Какое же это чудо — рождение человека. Какое чудо! Шурочки нет, и Вы остались на свете вместо него. Вы так похожи на него, Леночка, и внешне и внутренне.

Мы разбираем старые листки, которые Вера Николаевна хранила всю жизнь. Это письма и сказки, которые писал ей, начиная с 1921 года, Александр Романович Лурия.

— Мы познакомились с ним в 1920 году в Университете, он подбежал ко мне на лестнице, — вспоминает Вера Николаевна, — и спросил: «Вы Благовидова? Мне говорили о Вас. Нам нужен секретарь для Ассоциации общественных наук. Согласны?» И я согласилась... И при этой первой встрече мы оба почувствовали тогда, что случилось что-то важное и мимо друг друга нам не пройти. Мы много ходили с ним по Казани. Как двое счастливых детей, взявшись за руки. И пели, и запрокинув голову кричали в небо. Он приходил ко мне домой. Я жила на Успенской с матерью и сестрами. Он приходил в мою маленькую комнату, садился к столу у керосиновой лампы, рисовал и писал для меня. Маленькие сказки: о котенке, который топил печку, о зверьке, который не хочет учиться, о волшебных жемчужинах... Керосина для лампы в нашем доме не хватало, и он приносил с собой в бутылочке...

Мы хотели пожениться, но его родители были против. Евгения Викторовна меня сразу невзлюбила. Я как-то пришла к ним на Проломную. На улице дождь, грязь, а на мне старые грубые ботинки. Мне было неловко, страшно, я шла по ковру, а от ног оставались мокрые следы... Жила наша семья тогда очень тяжело. Мой отец, военный врач, умер, и мама осталась одна с детьми. Она кончала когда-то институт благородных девиц, но потом как-то опростилась. А на Проломной, Вы ведь знаете, была совсем другая жизнь. И они не хотели, чтобы я вошла в их дом... Потом в 1923 году Шурочку пригласили переехать в Москву в корниловский институт. Я его провожала на вокзале, стояла в сторонке. И он метался между мной и матерью: с ней постоит, ко мне подбежит...

В конце 1923 года я приехала в Москву и поступила в студию Камерного театра. Вскоре мы поженились... Мы жили тогда на Трехпрудном переулке в маленькой комнате, вытянутой, с узким окном. В той же квартире жил повар знаменитого актера Южина. Он пек пирожки на продажу. Очень вкусные! С яблоками, сахарной пудрой и ванилью. Пирожками-то мы и питались. Я тогда дома ничего не готовила. В те годы мы очень много работали: утром уходили из дома, приходили вечером. У меня были занятия в студии и репетиции. Потом мне дали роль озорного мальчишки в пьесе «Розитта». Меня гримировали в уборной Алисы Коонен, и я делала сальто на сцене.

Шурочка много работал: читал лекции в Академии коммунистического воспитания, заведовал лабораторией в корниловском институте и в институте криминалистики. Он был знаком с Отто Юльевичем Шмидтом и его женой, она возглавляла московское психоаналитическое общество. И, конечно, же дружил с Сергеем Эйзенштейном. Как-то раз Эйзенштейн подарил нам фотографию: на ней баба с ребенком и Сергей Михайлович. Снимок сделан во время съемок его фильма. Мы смеемся, а он, показывая на ребенка, говорит: «Нет, это не мой эксперимент».

Мы выкраивали время, чтобы сходить в музей, в театр, ездили в Ленинград. Удивительно, как Шурочка хорошо знал живопись и архитектуру. Он многому меня научил... Но больше всего он занимался своей работой. И я часто до глубокой ночи сидела одна. Мне было страшно. И как-то он принес мне игрушечного филина — меня охранять.

К нам на Трехпрудный приезжала на каникулы его сестра Люся. Капризная хорошенькая девочка. Бегала в парикмахерскую в доме напротив. Я тогда шла сама. И всегда на мне были необычные вещи. Люсе мои вещи нравились, и я сшила ей кофточку... С их семьей отношения у меня исправились. Мы ездили летом в отпуск к ним в Казань, жили у них на даче... Роман Альбертович даже полу-

бил меня. Идет мимо — уцепит за руку: «Шуркина Верка!» Но все равно Проломную я не любила, мне там было неудобно, а вот на даче хорошо. У них была кухарка Христинья, очень колоритная женщина. Подает Роману Альбертовичу завтрак и крестит тарелку: «Господи благослови». Я ей: «Христинья, зачем крестите, ведь он еврей». Она мне пусаво: «Нет, не еврей». Я: «Как же так? Ведь Шура еврей, и Роман Альбертович еврей!» Она: «Шура еврей. А Роман Альбертович не еврей». Я: «Как же так?» Она: «Да вот так. Он сапоги надевает. Живот мешает. Он кряхтит и приговаривает: Господи, господи. Раз богу молится, значит не еврей».

Мы с Шурой Христиньей часто передразнивали, за глаза, конечно. У Шурочки был талант имитатора, а Христинью имитировать было одно удовольствие. Очень интересный характер. И мне всегда хотелось сыграть такой на сцене. Но не привелось. Она всегда все говорила обстоятельно и без тени юмора. Как-то Шура на даче из окна зовет меня: «Пес! Иди сюда!» Он всегда называл меня именами разных зверей. Я не слышу, Христинья подходит ко мне и говорит: «Пес, Вас зовут». А вот с Олей мы сдружились. Хорошая она была женщина.

Шурочка много рассказывал о своей работе. Я до сих пор многое помню и могу объяснить сопряженно-моторную методику и рефлексологию. Я бывала у него в лаборатории в Институте криминалистики; он брал меня с собой даже в Колтуши к Павлову...

После Трехпрудного мы жили в комнате в Сивцевом Вражке, а потом уже в своей квартире на Арбате. В 1929 году Шура ездил на психологический конгресс в Америку, по дороге заезжал в Германию. Он много писал мне тогда. Очень интересные письма! Но, к сожалению, они не сохранились...

А потом случилась беда — наша жизнь перевернулась. Я встретила человека... В смятении и растерянности я бросилась к Шурочке, прося у него помощи: «Что мне делать? Что мне делать?» и он ответил: «Ты должна выйти за него замуж...» В тот вечер мы долго ходили по Москве, взявшись за руки, и плакали... Он настоял на том, чтобы я осталась в нашей квартире, а сам ушел жить к родителям. Они уже жили тогда в Москве. В 1931 году у меня родился сын. Шурочка пришел к нам и сфотографировал меня с сыном. Вот она — первая фотография моего сына.

Из средней Азии, где он был в 1932 году с психологической экспедицией, он прислал шелковые рубашечки для моего сына. Но мы так больше и не встречались. Потом я узнала, что он женился. Слышала об его успехах в работе. Узнала, что у него родилась дочь. Я была рада за него...

В архиве Веры Николаевны Благовидовой сохранились двадцать две сказки и эссе, которые, начиная с 1921 года, писал ей Александр Лурия.

В маленькой комнате

...Черт с ним, с временем...

В маленькой комнате нет времени...

Когда я вхожу в маленькую комнату и щелкаю дверным замком — время останавливается. Часовые стрелки не двигаются, и не слышно легкого тиканья: тик-тик, тик-тик.

Маленькая комната отрезана от мира. Когда я вхожу в нее и дверь закрывается — мир пропадает, и я остаюсь один-один. Ко мне на колени ложится маленькая кошечка и свертывается клубочком, а светлый круг лампы мягко очерчивает круг моего мира: круг лампы...

В маленькой комнате нет забот.

Мягко свертывается на моих коленях и мурлычит серый котенок, и я забываю мир — заботы и время.

...В маленькой комнате нет времени...

А. А.

В. И. 1922

Мы четверо

Нас четверо: Верка, я, Ленин и Василий. Верка мечтает о вафлях и моет шею; я сижу при зеленом свете лампы и перебираю старые рукописи. Ленин спокойно приколот к блузе, а Василий нюхает цветы и мурлычет.

Нас четверо, и мы живем очень дружно.

Когда часы бьют одиннадцать, Вера укладывает себя спать и говорит ласково: «Спи, моя хорошая, спи, моя прелесть». Я поворачиваюсь от стола и смотрю на нее через круглые стекла очков, Ленин кладется на стол, а Василий укладывается у подушки и мурлычет.

Когда часы бьют полночь, все тихо, и лишь зеленые блики ищут чего-то в чернильнице и раскрытых книгах.

Нас четверо, и мы всегда вместе — когда мы выходим на свежий, крепкий снежный воздух, Вера одевает свою шубу, которая пахнет фетнафалином, я беру в левую руку портфель. Ленин помещается на каракулеву шапочку сбоку, а Василий выгибает свою спину, мягкий и пушистый.

Нас четверо, и мы никогда не ссоримся.
Вот и все!

Москва, 8 ноября 1924 г.

*Кто живет в нашей комнате
География как таковая
Серьезное исследование*

I. Звери

Наша комната очень многолюдна, и ее население — самое разнообразное. Вот кто живет в нашей комнате:

Прежде всего конкретные звери: их можно видеть, они имеют свои привычки и свой характер.

Таракан — неопределенного возраста, черный. Раньше был раком, шевелит усами и живет в черной дыре над кроватью. Всегда смирный, никогда не двигается, хотя и ползет вниз по стене — к Совенку.

Совенок — совсем молодой, белый, а глаза желтые, куплен у Залкинда, ночью видит; когда обозлится — ошетинится, раскроет когти и фырчит. Очень любит есть хлеб, измятый в комочек. Любит, чтоб его боялись.

Кулька — негр. Тоже куплен у Залкинда. Черный и страшный, но добрый. Никогда никого не обидит. Косматый, потому что у него нет денег, чтоб купить гребенку. Волосы из козьей шерсти.

Есть еще много других зверей: Лошадь, Белый Слоник, Мальчик, но они не интересные. Ведут себя смирно. Кушать не просят.

Кроме конкретных зверей в комнате есть —

II. Духи

Их видеть нельзя, но их всегда чувствуешь. Их много, но никто не дал им точной классификации.

Главный из них — Кузька.

Говорят, что он живет под кроватью, но его никто не видел. Он очень хороший, пушистый и мягкий. Он делает так, чтобы в комнате было всегда хорошо.

Потом — Зверька.

Его тоже никто не видел, и в сказках Маленькой Комнаты про него сказано: «Какой он породы — неизвестно».

III. Дочка

В Маленькой Комнате хозяйка — Маленькая Дочка.

Ей только шесть лет, но она умеет пиццать, морщить носик, поднимать брови и танцевать.

Она всего боится: раньше боялась и зверей и духов, но потом привыкла. Любит духи и пудру, и хочет стать великой артисткой.

Ест морковку, картошку, мясо, масло и кормит зверей.

Иногда смирная, а иногда — нет.

Наконец —

IV. Климат

Климат Маленькой Комнаты очень разнообразный.

Во-первых, это зависит от того, лето или зима; во-вторых — какая погода.

А главное — от того, есть ли у Дочки деньги, чтобы купить дрова. Это — самое главное: когда дров нет — бывает очень холодно.

И —

V. Заключение

В общем — в Маленькой Комнате очень хорошо, и она — самая лучшая комната на свете.

И это — правда! Это говорят все!

Вот и все.

А. А.

3. XII. 1922

Вспоминая свои первые годы в Москве, А.Р. Лурия рассказывал: «Я сразу попал в самую гущу событий. Предполагалось, что институт наш должен перестроить всю психологию, отойти от прежней, челпановской идеалистической науки и создать новую, материалистическую. Корнилов даже говорил — марксистскую психологию. По его мнению следовало заниматься не субъективными опытами, а объективным исследованием поведения — в частности, двигательных реакций.

Пока же перестройка протекала в двух формах: во-первых — в переименовании, во-вторых — в перемещении. Восприятие мы называли, кажется, получением сигнала для реакции, память — сохранением с воспроизведением реакций, внимание — ограничением реак-

рий, эмоции — эмоциональными реакциями, одним словом всюду, где можно и где нельзя, мы вставляли слово «реакция», искренне веря, что делаем при этом важное и серьезное дело. Одновременно мы переносили мебель из одной лаборатории в другую, и я прекрасно помню, как я сам, таская столы по лестницам, был уверен, что именно на этом пути мы перестроим работу и создадим новую основу для советской психологии.

Этот период интересен своей наивностью и энтузиазмом. Но, естественно, скоро он пришел в тупик. Расхождение с Корниловым началось почти сразу, его линия нам не нравилась, но работы в институте должны были вестись — вот они и шли, и привели впоследствии к весьма любопытным результатам.

Меня пригласили для того, чтобы я занимался реакциями, а у меня была тогда сильный интерес к психоанализу. Вот тогда и созрела мысль: нельзя ли создать объективный психоанализ, то есть сделать так, чтобы аффективные переживания и аффективные комплексы выражались бы в некоторых вполне объективных показателях — скажем, в реакциях?

...Уже во время ранних экспериментов, проведенных в Казани, я заметил, что в тех случаях, когда у испытуемого возникает какой-нибудь конфликт или сомнение, нужно ли ему нажимать на ключ, или нет, то при регистрации его реакции на «динамоскопе», получаемая на закопченной ленте запись принимает своеобразный характер: четкая кривая движения заменяется нарушенной кривой, очевидно, отражающей некоторый конфликт, который был вызван у субъекта...

...Динамоскоп тут уже становился слишком грубой машиной; я его заменил, так называемым «Ермаковским аппаратом». Это была пневмотическая табличка с наклеенной на нее алюминиевой пластинкой, применялся он для исследования динамических компонентов письма: человек писал поверх пластинки, а пневмотический приемник отражал нажим, а дальше все записывалось на барабанчике. Это был уже более живой прибор — он показывал характер, форму реакции, степень уверенности человека и тому подобные важные вещи. С его помощью и создавалась теперь ставшая уже классической сопряженная моторная методика.

Смысл ее был вот в чем. Испытуемого сажали за пульт, обе его руки были каждая на ермаковском регистрирующем приборе, но одной он работал, а другой — нет. Работа заключалась в том, чтобы нажимать пальцем на приборчик, одновременно придумывая любую, произвольную ассоциацию на каждое слово, которое мы ему говорили. Мы записывали латентный период — время, в течение которого испытуемый искал соответствующую словесную реакцию, и характер двигательной реакции — степень нажима, интенсивность его, форму

и т.п. Оказалось, что методика эта, при всей ее кажущейся простоте, очень богатая — я считаю, что она до сих пор не потеряла своего значения и часто жалею о том, как мало сейчас применяют ее. Выработка словесной реакции — сложный нейродинамический процесс, и он затрагивает все виды деятельности. Если слово, на которое испытуемый должен реагировать, не вызывает у него никаких эмоций, то латентный период мал и нажим ровен. Но стоит лишь назвать любое слово, окрашенное для испытуемого определенным образом — скажем, «бормашина» для того, у кого ноет зуб, и сразу задерживается словесная реакция и нажим становится неупорядоченным. Мы убедились, что сопряженная моторная методика способна улавливать такие аффективные состояния, и лаборатория, которую я получил, стала называться «Лаборатория исследования аффективных реакций...»

Сначала мы брали первых встречных испытуемых, а потом стали использовать ситуацию экзаменов с ее ярко выраженным аффективным комплексом... Эту работу мы делали с Алексеем Николаевичем Леонтьевым и опубликовали ее в маленькой книжке «Экзамен и психика» и в ряде научных статей.

Дальше оказалось, что эта методика вполне пригодна и для изучения неврозов. Невротик с аффективными комплексами дает очень красивую, гораздо более выразительную кривую, чем нормальный человек. Мы стали работать в Клинике нервных болезней имени Россомоимо и кое-что сумели там сделать.

Сопряженная моторная проба оказалась полезной еще в одной области — в криминалистике. Она позволяла обнаружить следы преступления, оставшиеся в психике испытуемого. Мы исходили из того предположения, что если человек, скажем, совершил убийство и скрывает это, то атрибуты убийства у него непременно аффективно окрашены, и, естественно, все слова, вызывающие у него воспоминание об убийстве, приведут к аффективным комплексам, которые мы умеем улавливать в своих записях.

Поначалу мы эту идею проверили на искусственных опытах со скрыванием, которые были построены весьма элегантно. В группе испытуемых из пяти человек двум читался неизвестный мне рассказ. Мне давался лишь список слов, относящихся к этому рассказу и нейтральных к нему, а я должен был установить, кому рассказ прочитан и в чем его содержание. Как бы тщательно ни скрывали испытуемые свою «причастность» к рассказу, я без труда находил двоих «преступников» из пяти, потому что слова «церковь», «окно», «взлом», «крест», «цепь» и другие, по которым я мог судить о детективной стороне рассказа, вызвали у них объективные симптомы. Нам, естественно, захотелось проверить все это в реальной обстановке. Тогда

время было в этом отношении легкое — не требовалось многих усилий и подачи бесконечных заявлений в различные инстанции — я просто пошел в московскую прокуратуру, изложил там нашу идею, и довольно скоро была организована лаборатория, нам даже дали помощника — молодого тогда следователя по особо важным уголовным делам Льва Шейнина...

Нам давали изучать дело об убийстве и привозили подозреваемых еще до допроса. Мы выделяли аффективные слова, которые могли иметь отношение к ситуации преступления, — например, если человек убил кого-нибудь молотком и запрятал труп в кучу угля, то «молоток» и «уголь» были для него словами аффективными. Спрятав их среди нейтральных слов, я мог рассчитывать, что именно на этих словах преступник споткнется и даст мне симптомы аффективных реакций.

План наш удался полностью. Из Киева прямо к нам в лабораторию привезли пятерых подозреваемых. Мне говорили, что узнать, кто из них преступник, невозможно, потому что все пятеро испытывают аффект, раз их арестовали. Это, конечно, было верно, но дело в том, что у одних аффект концентрирован в следах преступления, а у других, не замешанных в нем, — нет. И мы прекрасно выявили двух виновных. Работа наша впоследствии подтвердилась. Мы еще несколько раз участвовали в подобной работе и опубликовали результаты этих исследований в журнале «Советское право» и «Научное слово» в 1926 году...

Нас, конечно, криминалистический выход этих работ волновал в последнюю очередь. Мы наметили серию теоретических исследований, которая отвечала трем задачам. Сначала надо было изучить объективные следы аффектов и аффективных комплексов, потом — создать искусственные аффекты и тем самым подойти к их механизмам и, наконец, научиться овладевать этими аффектами, регулировать их.

Чтобы решить вторую задачу, мы воспроизводили на человеке опыты, которые Павлов ставил с животными, создавая у них конфликт. Испытуемому, например, задавался вопрос, на который он явно не мог ответить за недостаточностью сообщенных ему фактов, или же ему запрещалось произносить слово «красный», а надо было назвать цвет помидора или флага. От этих опытов мы перешли к искусственным конфликтам, внушенным в гипнозе. На этой стадии в лаборатории начали работать два очень любопытных человека — оба пожилые, оба гипнотизеры. Один был доктор Йолес, он приехал из Парижа, а другой Забрежнев, который с 1896 года был анархистом, а потом стал большевиком. Между прочим, проработав у нас, он переехал в Ленинград и стал там не больше не меньше как директором

Эрмитажа. Так вот, эти два моих сотрудника усыпляли испытуемых, внушали им какое-нибудь аффективное переживание, а потом, когда тех пробуждали, мы должны были это переживание обнаружить с помощью своей сопряженной моторной методики. Острота опыта заключалась в том, что сам испытуемый ничего о своем переживании не знал и не помнил, а оно все равно проявлялось очень ярко.

И, наконец, мы перешли к третьей части этих опытов — из них рождалась вся наша остальная работа, которой мы занимались последние сорок лет. Теперь мы хотели не просто изучать аффекты, но и овладеть ими. И тут выяснилось, что, если человек найдет речевой выход, речевое решение мучающей его проблемы, то аффект устраняется... В 1925 году работы эти были напечатаны в весьма авторитетном немецком журнале «Psychologische Forschungen» и доложены мною на IX Международном психологическом конгрессе в Йельском университете спустя еще четыре года...

К этому периоду относится и еще одна страница моей научной биографии. С 1923 года я стал работать в Академии коммунистического воспитания имени Крупской. Это было довольно занятное зрелище: молодой парень, двадцати двух лет, беспартийный, заведует лабораторией и руководит кафедрой психологии в комвузе, в который принимали только довольно взрослых партийных активистов...

В 1932 году американское издательство Liveright выпускает книгу А.Р. Лурия «Природа человеческого конфликта», завоевавшую широкую известность. Александр Романович рассказывает о том, как его книга получила свое название:

«Я назвал ее «Аффект, конфликт и воля», но издатель посчитал такой заголовок слишком специальным и придумал вместо него другой — «Конфликт человеческой природы». Конечно, это звучало броско, но не отвечало содержанию книги, и я предложил перевернуть слова. Книга так и появилась под заголовком «Природа человеческого конфликта». Частями она была напечатана и на русском языке... Мне было очень приятно и неожиданно, что такой большой психиатр, как Адольф Майер дал свое предисловие к этой книге, где он высказывал мысль о том, что «эта книга отражает попытку советских исследователей распространить объективные методы лабораторной работы на клинику, и что описанный метод может оказаться гораздо более применимым, если он не будет ограничиваться только лабораторными исследованиями, и будет обращен к широкому кругу явлений, связанных с человеком».

«Природа человеческого конфликта» пережила много лет и вышла в свет в США третьим изданием в 1977 году, но Александр Романович не успел получить письмо издателя и экземпляр книги.

Крупный американский психолог Джером Брунер аннотирует третье издание книги: «Сегодня, когда мы пытаемся по-новому расшифровать такие понятия как тревога, стресс и конфликт, задача заключается в том, чтобы освободиться от догматических концепций. Эта книга, основанная на объективных измерениях, проливает новый свет на ряд классических проблем, которые стоят перед теми, кто изучает проблемы мотивации и личности». Эти слова Дж. Брунера помещены на обложке книги, которая не устарела до сих пор, хотя с момента ее написания прошло более полувека.

Единственный экземпляр рукописи на русском языке хранится в архиве А.Р. Лурия. На больших листах бумаги, сброшюрованных и прошитых тесьмой, от руки ровно и красиво написан текст, в который вклеены кривые движения, зарегистрированные на барабане динамоскопа. При чтении книги поражает то обстоятельство, что эти кривые необычайно наглядно отражают состояние испытуемого и его реакцию на слово-раздражитель. Кажется, закрой подпись к рисунку, и по графику можно самому увидеть, как разрешается в движении (в моторике) аффект, вызванный критическим словом. Ровные четкие нажимы, которыми отвечают испытуемые на нейтральные слова, дают на ленте закономерно повторяющуюся кривую. Критическое слово, вставленное в ряд нейтральных, нарушает правильный характер кривой. Испытуемый как бы запинаясь, кривая приобретает резко неправильную форму. При скрывании следов аффекта, связанных, например, с атрибутами совершенного преступления, критическое слово вызывает ассоциацию, которую преступник пытается скрыть и после паузы называет какое-то другое слово, или просто повторяет слово-раздражитель и сильно нажимает на приемник. На барабане при этом регистрируются два нажима: первый, слабый нажим, соответствующий ассоциации непроговоренного слова и второй, более сильный и продолжительный при произнесении другого слова вслух.

Характер кривой у детей разного возраста, у взрослых уравновешенных людей, у истериков и у невротиков имеет свои четкие особенности. Я думаю, что книга А.Р. Лурия найдет широкого читателя, если будет издана на русском языке...

На обложке рукописного экземпляра красиво и четко крупными печатными буквами написано название книги, внизу страницы: «Москва 1924-1930 г.» — даты, когда собирался экспериментальный материал, легирующий в основу книги.

«Книга начинается с обложки. Вот, видишь, у меня здесь несколько вариантов обложки. Надо хорошо расположить слова», — говорил папа показывая мне свою первую книгу — вернее, рукопись, которую он потом подарил мне 16 августа 1973 года.

* * *

И еще один год пробежал без папы. А на даче все как прежде. И ждет меня старый письменный стол, на котором стоит с незапамятных времен медная керосиновая лампа, еще бабушкина, казанская, и стена соседских елей за окном, и шум листьев и запах трав, и птичий голоса. Но самое главное, что меня ждут еще не разобранные тетради: записи путешествия на психологический конгресс в Америку в 1929 году на пароходе с зовущим названием «Беренгария», дневники среднеазиатских экспедиций, рукописи и книги...

Середина июня. Родители раньше сюда приезжали во время цветения сада. Зимой семьдесят восьмого года, когда умерла мама, были сильные морозы, вымерз наш сад. Весной вместо цветущих вишен и яблонь мы увидели мертвые черные деревья...

Все прежние весны слились в памяти в одну длинную, и не могу я вспомнить, что когда было. Впрочем, всегда черед событий был один и тот же. Сначала пробивались из-под земли мощные розовые побеги ревеня с мятыми листьями. Раскрывались тюльпаны и нарциссы и зацветал сад.

«В гостях у вишневых цветов
Я пробыл ни много ни мало —
Двадцать счастливых дней!»
(из японской поэзии 17 века)

Папа с радостным ожиданием смотрел, как наклеиваются почки на деревьях, как дикий виноград дает новый побег, как раскрываются тюльпаны. Выходил в сад с фотоаппаратом и снимал одно и то же по несколько раз в день. «Смотри, Ланушка! Какой огромный тюльпан!» Луковицы тюльпанов красных и черных он привез из Голландии. Но сам цветов никогда не сажал, этим занималась мама: и тюльпанами, и розами, и садом, и домом. Полола, рыхлила, подвязывала кусты пионов, чтоб не рассыпались ветки, ставила подпорки к розам и делала все, чтобы в доме было красиво и удобно. Любила дом, любила землю. А папа занимался, читал, гулял и выбегал в сад цветы и травы фотографировать. И что это он радуется, будто видит все в первый раз, почему удивляется, ведь столько уже весен прошло, думала я тогда.

А потом зацвела сирень. Кусты ее как огромные лохматые букеты толпились возле большой террасы, тянулись вверх — и поднимались выше ее крыши. Мы любили греться на солнце на покатоной неопасной крыше террасы над садом над цветущей сиренью, которая протягивала к нам свои тяжелые усыпанные гроздьями цветов ветки. Я читала или просто смотрела в небо. Папа что-то быстро писал за

большим столом у северного окна, и я видела его прямую спину и голову. Он чуть подавался вперед, когда писал, словно навстречу чему-то новому. Скрипело перо, и быстро двигалась по бумаге рука. А голова, шея и спина оставались неподвижными. А внизу уже готовили чай. Оля у сарая ставила чурками и шишками самовар, раздувала его. Густой белый дым самовара напоминал мне почему-то дым из волшебной бутылки, предшествующий появлению Джинна. Крутой пирог с резными перегородками Оля испекла уже с утра. Да-да! Сегодня воскресенье, родители приехали из города и у нас будет чай с пирогом. А мама уже хлопочет на террасе, расстилает скатерть, вынимает из шкафа нарядные чашки и тарелки, ставит на стол цветы.

Мне не хочется шевелиться. Я дремлю на солнце на крыше и мне хорошо. Но сейчас кончится мой легкий полусон. «Алинька! Леночка! Идите чай пить», — разбудит меня мамин звонкий голос. Папа встанет из-за стола, со скрипом отодвинет кресло и затопает вниз по лестнице, а Олюша торжественно внесет самовар и поставит его на самом почетном месте: «Пейте, пока горячий!»

Теплая крыша, письменный стол, кресло, терраса с деревянными колоннами и белыми балясинами, керосиновая лампа из Казани, все такое же как прежде... будто вы, мои дорогие и любимые, никуда не ушли, будто живете здесь и вышли на минуту. Папа, Мама, Оля...

Глава 4

Дружба и работа с Выготским. Первые поездки на Запад

В рукописи крупнейшего советского кинорежиссера Эйзенштейна дается замечательный словесный портрет Выготского — «чужого человека со странно постриженными волосами. Они казались перманентно отраставшими после тифа или другой болезни, при которой бреют голову. Из-под этих странно лежащих волос глядели в мир небесной ясности и прозрачности глаза одного из самых блестящих психологов нашего времени»^{*}.

«Не будет преувеличением назвать Выготского гением, — писал Лурия в своей научной автобиографии. — Более чем за пять десятилетий в науке я не встречал человека, который сколько-нибудь приближался бы к нему по ясности ума, способности видеть сущность сложнейших проблем, широте познаний во многих областях науки и умению предвидеть дальнейшие пути развития психологии».

Они встретились в январе 1924 г. в Ленинграде на втором психоневрологическом съезде, где двадцативосьмилетний Выготский выступил с блестящим докладом «Сознание как предмет психологии». Доклад этот, вспоминает Лурия, отличался просто фантастическим блеском, совершенной ясностью мысли и был удивителен не только по содержанию, но и по форме. Встречу с Львом Семеновичем Выготским Лурия считает решающим в своей научной жизни: «Свою биографию я делю на два периода: маленький и не существенный — до встречи с Выготским, и большой и существенный — после встречи с ним».

Оказалось, что этот молодой и неизвестный никому человек, преподающий в педагогическом институте в Гомеле, уже девять лет интенсивно работает в области психологии искусства: в девятнадцать лет он написал замечательную работу о Гамлете, принце Датском, затем целый ряд литературоведческих работ, в которых обнаружил поразительную способность к психологическому анализу.

По инициативе Лурия директор института психологии Корнилов предлагает Выготскому поступить в аспирантуру, и Лев Семенович переезжает в Москву и принимает активное участие в работе института. С жильем трудно, и ему дают комнату в полуподвале института.

^{*} ДР, ЦГАЛИ, Архив Эйзенштейна, фонд 1923, опись 2, ед. хр. 247.

В это время Лурия вместе с Алексеем Николаевичем Леонтьевым, в прошлом учеником Челпанова, занимается исследованиями при помощи сопряженной моторной методики. Выготский, включенный в эту группу, становится ее признанным лидером. Их трое, но задача у «тройки» огромная — пересмотр современной психологии и создание нового подхода.

А.С. Выготский приступил к анализу того, что он называл кризисом психологии. Он обсуждал эти идеи на различных конференциях и изложил их развернуто в работе «Исторический смысл психологического кризиса»*, которая писалась в двадцать шестом году в трагической ситуации. Тяжело больной Выготский лежал в туберкулезном санатории в Химках, врачи говорили, что ему осталось несколько месяцев жизни. Он начал судорожно писать, чтобы оставить после себя какой-то основной труд.

«Выготский считал, что трагедия психологии заключалась в том, что каждый психолог, найдя какой-то важный факт, немедленно начинает создавать новое направление в психологии, — рассказывает Лурия**, — Келер нашел факт структурности (гештальт), возникла гештальтпсихология. Аналогичным образом Иенш создал целое направление эйдетики. Бихевиористы, внешне следуя за Павловым, по существу выхолащивали из него все настоящее. У них осталась схема — «стимул-реакция» без всякой попытки подойти к физиологическим механизмам поведения, которое они считали черным ящиком...

Об этом образно говорил Николай Николаевич Ланге, замечательный русский психолог, опубликовавший до революции в очень интересном собрании, которое называлось «Итоги науки» огромную главу «Психология» (я считаю ее лучшей книгой по общей психологии); он говорил, что психология похожа на Приама, который сидит на развалинах Трои: что ни направление, то своя система, и ничего общего между отдельными направлениями нет. Таким образом, кризис психологии заключался в том, что психология разбилась на много направлений («психологий»). Можно укрупнить эти психологии и выделить два больших направления. Одно направление, которое называли «физиологической психологией» или «объяснительной психологией» началось с ряда работ экспериментальных психологов: Вундта, Эббингауза, Титченера, и занималось элементарными явлениями. Как известно, Вундт изобрел компликационный аппарат, который позволил сказать, что два раздражения сразу не воспринимаются, а воспринимаются только последовательно. Раббурт изобрел прибор,

* Впервые опубликовано в 1982 году в собрании сочинений Выготского (издательство Педагогика).

** Далее цитируется запись доклада А.Р. Лурия на московском отделении общества психологов 25 марта 1974 года.

который позволил измерить память; Эббингауз вывел элементарные законы памяти.

«Объяснительная или физиологическая психология» оставалась в стороне сложные психические явления, такие как сознание, мотивы, переживания... абстрактное мышление... Но наука не терпит вакуума; поэтому параллельно с объяснительной психологией создавалась и другая, которая называла себя «описательной психологией» или «психологией духа».

К «описательным психологам» относились такие психологи, как Рангер, Дильтей и целый ряд других психологов-идеалистов... Представители «духовной или описательной психологии» изучали сложнейшие психологические эффекты, но не отважились их объяснить...

Выготский считал, что конфликт между двумя ветвями психологии: «объяснительной», которая объясняет, но только элементарные явления и отстраняется от подходов к сложным явлениям, и «описательной», которая описывает сложные явления, но отстраняется от их объяснения, — и есть основной кризис в психологии... Он видел свою главную жизненную задачу в преодолении этого кризиса и создании такой науки, предметом которой были бы не рефлексы, а сознание и которая подошла бы к объяснению того, как формируется сознание, каков его генезис, какие стадии оно проходит...» (цит. по записи лекции А.Р. Лурия 18 ноября 1976 г., посвященной А.С. Выготскому).

«...Выготский сделал капитальнейший шаг в истории советской психологии. Тезис, к которому он пришел заключался в следующем: для того, чтобы объяснить внутренние явления, которые принимают форму регулируемых, детерминированных, но внутренних высших психических процессов, надо выйти за пределы организма и искать не внутри организма, а в общественных отношениях организма со средой. Это тогда звучало совершенно парадоксально. Выготский любил говорить, что, если вы будете искать источники высших психических процессов внутри организма, вы сделаете ту же ошибку, какую делает обезьяна, когда она ищет свое изображение в зеркале за зеркалом. Источники высших психических процессов нужно искать не внутри мозга, не внутри духа, а в социальных отношениях: в орудии, в языке, в общественных отношениях.

...Выготский пришел к выводу, что если элементом поведения является рефлекс или реакция, то единицей поведения является опосредованный психологический акт, то есть употребление способов, средств для достижения цели. Он припомнил этнологические данные. Есть народы, которые для того, чтобы запомнить завязывают узелки и по ним запоминают. Так, когда вождь посылает своего человека в другую деревню, он на память ему завязывает узелки; когда этот вестник приходит в другую деревню, он вспоминает поручения,

когда глядит на эти узелки... Выготский считал полностью обоснованным тот факт, что поведение человека отличается применением психологических орудий или знаков. Только обычные орудия отличаются от знаков тем, что они направлены на внешние предметы. Например, с помощью рычага я могу поднять такую тяжесть, которую я никак не смог бы поднять без рычага. А знак — это психологическое орудие для организации собственного поведения. Поэтому он предлагал называть применение знаков опосредованием функций или психотехникой, но не в том смысле, в каком используется этот термин в прикладной психологии или в психологии труда, инженерной психологии, а как применение внешних (технических) средств для овладения собственным поведением.

Выготский называл свою психологию культурной или исторической психологией потому, что она изучает процессы, возникшие в общественной истории человека, или инструментальной психологией потому, что единицей психологии, по его мнению, были орудия, средства, или психологией культурного развития потому, что эти явления рождаются в культуре.

Все три его предложения были приняты в штыки и абсолютно не поняты. Я помню, как сейчас, вот на этом месте, Корнилов говорил: «Ну подумаешь историческая психология! Зачем нам разных дикарей изучать?» Другой раз он говорил: «Инструментальная? Всякая психология инструментальная. Вот я тоже динамоскоп применяю». Значит он не понял, что речь идет вовсе не о тех инструментах, которые применяют психологи в своих экспериментах, а о тех средствах и инструментах, которые применяет сам человек для организации своего поведения...

И вот тут-то пошло наше коренное расхождение с корниловской школой...

Когда Выготский сделал все эти предложения, мы начали настоящую работу по перестройке психологии. Эта работа проводилась интимно, обычно на квартире у Выготского на Большой Серпуховской семнадцать, и участвовали в ней три человека: Выготский, Леонтьев и я. Мы называли нашу группу «тройкой». Работу нашу мы обозначали как разработку комплексов; это не аффективный комплекс, а основные комплексы содержания психологии. Как можно подойти к восприятию? Как можно подойти к памяти? Как можно подойти к вниманию? Мы теоретически обсуждали эти подходы и писали комплексы. Я не совсем помню, где эти документы, но это документы величайшего значения, потому что в них были сделаны наброски, планировка всей дальнейшей современной советской психологии.

Через пару лет к этой «тройке» примкнула группа, которая получила название «пятерки». В эту «пятерку» входили пять студентов:

Запорожец, Славина, Левина, Божович, Морозова. В Академии имени Крупской был создан кружок, экспериментальная лаборатория. Она была посвящена пиктограмме, т.е. методу, как говорил Выготский, исследования сигнификативной деятельности, т.е. деятельности по разработке знаков, орудий. Метод пиктограммы, как вы знаете, заключается в том, что ребенку дается задача: запомнить какое-то слово и для этого изобразить его на рисунке, но слово это недоступно для изображения. И вот ребенок ухитряется сделать из рисунка знак. Этим методом была сделана великолепная работа Леонтьева по опосредованному запоминанию. Она, как раз, и была первой работой по такому экспериментальному исследованию знаков для запоминания. Вторую работу по пиктограмме делали студенты, группа целый год сидела над этой темой. Они занимались пиктограммой у дошкольников, у младших школьников, у старших школьников, у умственно отсталых детей и дальше сравнивались и обсуждались все эти особенности пиктограмм, т.е. использования знаков, которые были характерны для паспортного или умственного возраста. Эта работа так и осталась ненапечатанной, но она дала более важные плоды: пять человек первоклассных психологов. Все пять человек обнаружили исключительную преданность делу, которое начал Выготский, они продолжали это дело.

...Вот таким образом создавалась новая школа, которая сначала была представлена одним Выготским, затем тремя людьми, потом восьмью, а сейчас уже представляется сотнями и тысячами людей, и по моему глубокому убеждению, это единственная продуктивная школа...

...Под влиянием Выготского моя собственная работа по сопряженной моторной методике получила новый аспект. Выготский считал, что самое важное в ней — это анализ того, как строится произвольное действие и как протекает овладение этим действием. Дальше из этого выросла планирующая или регулирующая речь, из этого выросли все наши работы по афазиям, которые мы начали еще с Выготским, из этого, в значительной мере, выросла нейропсихология...» (цит. запись доклада А.Р. Лурия на заседании московского отделения общества психологов 25 марта 1974 г.)

* * *

В июле 1925 года Александр Романович вместе с отцом ездил в Германию. Роман Альбертович возобновляет свои поездки на стажировку в Германию и берет с собой сына. Сохранились два письма, написанных на открытках с видами, которые Роман Альбертович посылал Евгении Викторовне в Казань.

«...Переночевали в крошечном городке и едем дальше по Рейну, скоро сойдем в Quard'e — тоже интересном городке, Шура останется отдохнуть, а я через два дня еду во Франкфурт. Шлем привет из страны старинных замков, зеленых гор и виноградников».

И приписка рукой Александра Романовича: «Кругом очень красивые горы и замки. Сейчас проезжали только что мимо замка, изображенного на этой карточке! Привет всем!» (письмо от 16 августа 25 года).

И второе:

«...Вчера вечером мы вернулись из поездки Hamburg-Kelp- (неразборчиво) и остановились в одном из отелей на этой площади. Сегодня я уже полдня работал в клинике V. Bergmann'a, где очень хорошо принят был, а после обеда отправил Шуру отдыхать на две недели в (неразборчиво), он только что уехал и завтра я узнаю, как он устроился...» (письмо от 17 августа 1925 года).

Записей Александра Романовича об этой поездке не сохранилось. По словам О. Булгаковой, работавшей с архивными материалами немецких психологов, Лурия познакомился с крупнейшим немецким психологом Куртом Левином именно в двадцать пятом году.

Второй раз Александр Романович приезжает в Германию в 1929 году по пути на IX Международный психологический конгресс в Америку. Блюма Вульфовна Зейгарник*, которая работала в то время у Курта Левина, вспоминает о встрече с Лурия на Берлинском вокзале: «Мы представляли себе, что придет солидный профессор, и вдруг перед нами предстал наш ровесник. Мы повели его в Берлинский Университет, и тут обнаружилось, что это действительно крупнейший ученый. И Левин и Келер были потрясены его эрудицией. Ему было двадцать семь лет тогда и он обнаруживал колоссальную эрудицию не только в психологии, но и во многих областях знания. И вместе с тем это был пылкий, горячий юноша, который бегал по коридорам Института психологии совсем не по-профессорски.

Ему предложили быть испытуемым в нескольких экспериментах, в частности, в знаменитых экспериментах Дембо**. Речь идет о том, что нужно решить задачу — достать какой-то предмет, который недосягаем, и есть только два решения, а экспериментатор, т.е. Тамара

Дембо, все время говорит: «Нет, есть третье решение!» И этим самым вызывает аффективное состояние у испытуемого.

Испытуемые бегали по кругу, который был начерчен на полу комнаты. И Александр Романович вел себя совсем не как профессор; он бегал как белка по этому кругу, сердился на экспериментатора и даже говорил: «Ну подождите! Вот Вы приедете к нам в Москву, я Вам отомщу»...

Из Германии Александр Романович едет вместе с Романом Альбертовичем в Голландию, в Амстердаме они останавливаются в доме крупного терапевта Снаппера, а затем он на пароходе плывет в Америку. Он едет на IX Международный психологический конгресс и везет два доклада — один про «сопряженную моторную методику» исследования аффекта, второй, совместный с А.С. Высотским, про функции и судьбу эгоцентрической речи ребенка (как известно, этому посвящена последняя самая знаменитая книга Выготского «Мышление и речь», написанная в 1934 г.)

В 1929 году Александр Романович Лурия принимает участие в IX Международном психологическом конгрессе, который происходил в США. В архиве Лурия сохранился путевой дневник, который Александр Романович вел во время путешествия, записи, относящиеся к докладам, прочитанным на конгрессе, и тетрадь «Rocks», в которой в виде двадцати отдельных новелл записаны впечатления об Америке.

«17 августа 1929 года

(отрывок из письма)

Беренгария

Я на пароходе, на огромной Беренгарии. Еще два часа назад мы различали гористые берега Франции, и они очень были похожи на то, что мы видели с Кавказского парохода. Но вот солнце опустилось в море, на палубе вечер, в зале, где сидит вся публика играет оркестр, пошленькое чередование измызанных мотивчиков из Сильвы и Риголетто мешает мне писать, — а суши уже не видно, и даже береговой маяк почти скрылся; через час-два его не будет совсем, и я буду писать тебе из открытого моря... Беренгария — бывший «Император». Построен он в войну или до нее, и тогда был самым большим в мире. Когда подъезжаешь к нему на небольшом двухэтажном пароходе — приходится заирать голову. В нем шесть этажей круглых окон и еще три (нет, четыре) этажа палуб...

На пароходе масса людей, большинство англичане, американцы. Из Парижа на этот пароход отправилось... 4 специальных поезда пассажиров, а ведь была еще посадка в South Hampton'e (Англия). Весь этот народ ничего не делает; многие просто для удовольствия едут в Америку, я хочу познакомиться с кем-нибудь из американцев,

* Зейгарник Б.В. (1900-1988) — советский психолог, крупнейший специалист по патопсихологии. Открытый ею эффект лучшего запоминания незавершенного действия («эффект Зейгарник») был описан в ее дипломной работе, подготовленной под руководством К. Левина.

** Дембо Тамара Васильевна (р. 1902) — также дипломница К. Левина из России, позднее немецкий и американский психолог. Ее известные эксперименты по исследованию фрустрации и гнева были впервые описаны в дипломной работе.

чтобы говорить по-английски и завтра сделаю это. Пока что гуляю по палубе, и кажется сейчас пойду спать, ведь за нами целая вереница плохо проведенных, бессонных и полубессонных ночей-путешествий Москва-Париж-Океан — да еще такое быстрое и напряженное — нелегкая вещь...»

Из путевого дневника «СССР-Америка»

18.08.29. Утро

На пароходе есть человек, который меня открыто и обидно презирает. Когда он подходит ко мне — я теряюсь.

Мне рассказали об актере, который не мог играть, когда знал о присутствии в зале враждебного ему критика. Я нахожусь в таком же положении. Меня искренне и упорно презирает наш кельнер, который обслуживает нас за столом.

Я потерял его уважение в первый же вечер, когда впервые сел за стол. Я сознаюсь — я не мог понять ничего в той полной названий-карточке, которую мне подали. Я не понял меню, — это плохо; я не сделал вид, что понял — это гораздо хуже; я растерялся и сказал, что не понимаю — это предел падения.

Есть интернациональный язык — язык блюд, соусов, язык ресторанов. В отличие от остальных международных языков он одинаково малопонятен во всех странах. Если же этот интернациональный жаргон принимает английский оттенок, — дело становится совсем трудным, и начинаешь испытывать постоянный конфликт, переходящий в болезливую настроенность.

Здесь дело не в одном жаргоне, здесь дело в чужих привычках, перешедших в быт и узаконенных в обеденной карточке.

Сегодня за завтраком нам дали меню: на первом месте стоял выбор из дыни, апельсина и фруктового компота. Пришлось есть дыню. За столом испытываешь глупое чувство: заказывая все подряд — получаешь какую-то странную фантазмагорию блюд, противоречащую всему укладу, с которым ты сжился с самых первых лет. Ты начинаешь с дыни и кончаешь блинами, которые значатся в меню под глухим названием «griddle cakes», между этими двумя аккордами — увертюрой и заключением — в стройной, но чуждой и непонятной системе расположены: мясо, рыба, каши, все с причудливыми и равно непонятными названиями.

Все эти блюда нужно есть неодинаковыми ножами, разными вилами. Салфетку нельзя складывать, но нужно оставлять на столе (или лучше на стуле) в смятом виде. Растерявшийся остается быстро без вилок, ножей и ложек, и кельнер с укоризненным взглядом, строгий, закованный в крахмальный воротничок и молчаливый — беззвуч-

но пододвигает ему вилки соседнего свободного прибора. Нарушенная система восстанавливается, но право на уважение потеряно безвозвратно, и в последующих «Yes, sir», которыми он отвечает на каждый заказ, звучит столько презрения, что уничтоженный пассажир окончательно теряется и с покорностью ждет конца обеда.

С нами едет один русский парень — красный директор. Едет изучать доменное дело в Америке.

Красный директор не знает ни одного слова ни на одном европейском языке. «Лишь бы до завода добраться, там дело сделаю».

Он не смущается, и жизнь улыбается ему, а строгие кельнеры покорно кивают головой: «Yes, sir»...

Красный директор с полным достоинства видом тыкает пальцем по порядку в три-четыре места меню наугад, и всегда остается доволен. Кельнеры удивляются его хорошему и своеобразному (но сразу видно — изысканному) вкусу, а сидящие за тем же столом немцы, французы и итальянцы украдкой глядят на него и заказывают те же блюда, что и этот уверенный и спокойный «американец».

19.08.29

С нами едет самая интернациональная компания. За нашим столом сидят три итальянца, не знающие никакого языка, кроме родного; мне очень хочется заговорить с одним из них, и я испытываю странное чувство, не будучи в состоянии сказать ему ни одного понятного ему слова. Итальянцы — рабочие, едут на земляные работы. Их написал брат одного из них; они едут во втором классе; у американцев хорошие заработки. Рядом с ними мальчик-австриец, говорящий на немецком диалекте, выводок ребят из Южной Германии, семья французов.

Все пишут письма. Бросается в глаза, что большая половина их — на еврейском языке. Евреев здесь много, и добрая половина из них говорит на ломаном русском языке; это эмигранты из России, прожившие в Америке 20-30 лет...

К обеду дают удивительные фрукты, и сразу чувствуешь, что попал в зону какой-то совершенно другой страны: виноград размером с небольшую сливу и на толстых ветках, грейпфруты grapefruits — огромные лимоны горько-апельсинового вкуса; яблоки — какие в Европе я видел только в витринах восковых моделей. Все они, видно, из Калифорнии. Глядишь на них — и чувствуешь, что пространство практически преодолено...

Мы были в машинном отделении — опустились на 50 футов ниже уровня моря. Необычайная чистота, машины с белыми трубами, и удивительно мало людей. Мы ходили там час, а встретили не боль-

ше 5-6 человек. Машины работают сами, и пароход идет со скоростью 45 километров в час.

Каждый день мы переставляем часы на час назад. Сейчас по здешнему 10 часов вечера, а в Москве уже 2 часа ночи, и Вера уже давно спит, а на Арбате все утихло.

Здесь пилят скрипки и пассажиры танцуют фокс-трот и пьют пиво. Пароход идет в густом тумане. Крутом не видно ничего, все в густой и мягкой пелене, и пароход каждые несколько минут свистит.

20.08.29

Сегодня хорошо светит солнце и вода в море глубокого синего цвета. Мой приятель — венесуэлец, рассказывает мне о своей стране, где всегда жарко, где президенты меняются как времена года, и где главный город носит чуждо звучащее имя Каракаса.

Он врач, мой новый знакомый, и три года провел в Германии; те, кто доходит там до университета, могут себе позволить такое путешествие. Из 20-ти его коллег по Университету 10 поехало учиться во Францию и один — в Германию. Венесуэла — аграрная страна, и большинство из них — сыновья крупных аграриев.

Mr. Metal — русская фамилия его Метальщиков, и он уроженец Шклова — говорит: «When it will be good — it will be all right!» — Когда будет хорошо, будет все в порядке».

Он любит Америку и считает, что лучше страны не может быть. Prosperity и ограниченность дышит из каждого атома.

«Мы можем купить любого гения за 1000 долларов в вечер...»

Здесь положительно много евреев; в третьем классе есть специальная кашерная кухня.

Наш пароход идет по прямой линии, и от ближайшего берега сейчас добрых полторы тысячи верст; мы на середине нашего пути.

Небо в поразительно тонких облаках, а в воде пароход оставляет след белой пены, белой — на ярко синем фоне.

Удивительно, как мы мало смотрим на море: оно ровное и тянется плоской пустыней.

Мы больше заняты пароходной жизнью — играми на верхней палубе, разговорами со спутниками, вечером чтением, кино.

Через два дня — мы будем в Америке.

23.08.29.

Сегодня — первый день в Нью-Йорке.

С утра — земля, холмистые берега со своеобразными большими зданиями. Дальше — статуя Свободы, зеленая и большая — пожалуй, самое неинтересное из всего порта. Потом — неожиданно —

огромные здания, полубашни, полускалы, которые толпами спускаются прямо к заливу. Мы проходим мимо них — и сразу видим, что попали в другой мир: такого в Европе мы не видели ничего...»

Ночью шел дождь. Я сквозь сон слышала как он обрушился на крышу, дохнул через открытое окно холодом и сыростью. Что-то застучало-заскрипело и утонуло в шуме дождя, и наш старый дом как пароход вздрогнул и попал в ночь...

Утро настало спокойное и светлое. Я шла через ивановскую усадьбу по мокрой траве мимо маленькой избушки-мастерской художника с потемневшими от времени бревенчатыми стенами, мимо шести старых берез, растущих из одного корня. С детства знакомая тропа ведет вниз к реке. От реки поднимается легкий пар, из-за облака выглядывает солнце, березы и крутой зеленый берег отражаются в воде. Я бросаюсь в холодную воду и плаваю.

Здесь под обрывом мы купались. Папа завязывал по углам белого платка узлы, затем выворачивал платок, и получалась белая шапочка от солнца и для купания. Он осторожно спускался со скользкого берега, заходил в воду, делал глубокий вдох и бросался в воду. Уфф! Выбрасывая из воды руки, быстро проплавал круг и выходил на берег...

Я уплываю вдоль реки за поворот, туда, где белые лилии. Лилии пахнут тонко и сладко, как садовые цветы, среди желтых тычинок в сердцевине цветка всегда стоит капля сладкой воды, а на гляцевых листьях отдыхают стрекозы... Я выхожу на берег и вижу все как-то особенно радостно и ясно...

Когда-то мне казалось, что папа знает какой-то очень важный секрет, благодаря которому его жизнь всегда была наполнена и интересна. Нет, я имею в виду не его работу, а обычную повседневную жизнь, наши прогулки, поездки, разговоры. Папа умел на все, что окружает нас, смотреть так, будто он видит это в первый раз, с радостным удивлением. В нем всегда жил подросток, жаждущий путешествий и необыкновенных приключений. Наши маленькие прогулки по московским переулкам и дворам превращались всегда в интересные путешествия, во время наших больших поездок на машине папа забывал обо всем: работа, дом, Москва уходили куда-то в глубь сознания. Он неутомимо лазил по шатким винтовым лестницам на колокольни церквей, бродил среди развалин старинных башен и крепостей. И всегда свои впечатления записывал в путевой дневник. На привале, в машине или сидя на обочине дороги, он быстро и аккуратно заносил в тетрадь увиденное за день. Теперь, перечитывая его

путевые заметки разных лет, я вижу, что способность ярко воспринимать мир была свойственна ему всегда. Его зарисовки помогают мне живо увидеть то, что было много лет назад. Американский дневник «Rocks» <Скалы> позволяет понять и почувствовать это давнее путешествие, бывшее более полувека тому назад.

* * *

Из тетради «Rocks»

Впечатления об Америке, 1929 г.

«Rocks»

В середине Нью-Йорка — Центральный парк. В Центральном парке — нетронутые первобытные скалы.

Нью-Йорк построен на скалах. Никакая почва не выдержала бы огромных домов, этажами громоздящихся друг над другом, — для этого нужен камень, гранит, и Америка имеет его. Весь берег Америки, от Нью-Йорка до Бостона — скалы.

Я поселился в International-House — общежитии студентов, приезжающих со всех концов света в этот чудо-город, в этот Вавилон пред которым Вавилон древности был бы смешной игрушкой.

Четырнадцатизэтажный дом смотрит на Hudson River — реку, куда без труда входят океанские пароходы, которая утром — в тумане, а днем — в дыму от фабрик и пароходных труб. Из моего окна я вижу улицы, прямой строкой тянущиеся вдаль, конца не видно, конец — в пыли, в тумане, до конца не хватает глаз, и ровные ряды фонарей ночью уходят в какую-то даль. Предо мной крыши, плоские как перевернутые блюда, как коробки от сигар, на них — баки для воды, иногда белье, за два квартала с грохотом пробегает надземная дорога по знаменитому Бродвею, начало которого сковано в громадах банков, а конец исчезает через много верст в жилищах бедняков. Ночью город трепещет рекламами, горит огнями всех цветов, дрожит, оглушает.

Я выхожу в коридор — и задорный негр с рядом белых зубов раскрывает предо мной дверь лифта. Минута — я на улице. Дома закованные в цемент этажей, накатанный асфальт, ряды автомобилей; и скалы.

Под самым домом — скала. Нетронутая, естественная. Такая, какой была сто-триста лет назад. В отвесной обрубленной скале видны следы бурава. Скалу взрывали. Половины ее нет, на ее месте стоят дома, и асфальт блестит от колес автомобиля, — другая стоит нетронутой, вековой. На ней — редкая трава и стрекохут цикады. В центре Нью-Йорка. В улицах, где дома закованы в цемент и воздух

пропитан гарью бензина от сотен тысяч авто. Два квартала от Бродвея. Адрес моего дома — 500 Riverside Drive.

Я — в New Haven. Городок у самого моря. Он закован в две скалы. West Rocks и East Rocks. Скалы обрываются двумя склонами дикими и нетронутыми, в морщинах веков, с обоих концов города. Десять минут на авто — и вы в диком, угрюмом месте. Горный лавр сменяется красным деревом, а оно уступает место дубу. Темные ущелья переносят к картинам Кавказских берегов и каменистым извивам Псырчи. И это Америка — десять минут езды от Yale и два часа от Нью-Йорка.

И скалы: лес в скалах. Они выпирают из-под опавших листьев, громадными площадками, обработанными белыми льдами, вставая то там, то здесь.

На этих скалах построен Нью-Йорк, и они прорывают цемент домов в Центральном парке, в Бронксе, в Бруклине. на River side'e — у берега Hudson'a они обрываются отвесной скалой, дома прилепляются к ним, оставляя нижние пять этажей пустой и сплошной стеной...

Нью-Йорк построен на острове. Скалы сжимают его со всех сторон, скалы окружены рвом рек. Ему нет места расти, расти надо, расти некуда, и вот он растет вверх, надстраивая этаж над этажом, срывая пятиэтажные дома, чтобы выстроить десятиэтажные и надстраивая над десятиэтажами еще пять.

В доме Вульворта — шестьдесят этажей, кажется даже больше. Я не был там, это диковинка даже для Нью-Йорка, это выстроено для реклама и показа, мне неинтересно это.

Но в новой грандиозной клинике Колумбийского Университета — в Medical Center — шестнадцать этажей, четырнадцать в Неврологическом Институте, шестнадцать в психиатрической больнице, четырнадцать — восемнадцать — двадцать в больших отелях — в банках — в универсальных магазинах Woolworth'a и Macy.

Скалы сдавливают Нью-Йорк, скалы его держат.

Без скал я не мыслю себе Америки, причудливой комбинации цемента и скал.

New Haven 10.09.29.

Wall-Street

Я попал на Wall-Street в воскресенье — пустой день — день тишины — день без времени. Все брошено так, как это было в субботу вечером; так же все это будет найдено утром в понедельник. Время остановилось, и я брожу по Wall-Street, наслаждаясь музейной тишиной и зная, что завтра здесь снова будет водоворот людей, кричащих, рвущих бумаги, экзотических. Завтра, как вчера.

Wall-Street упирается одним концом в самую старую в Нью-Йорке церковь, серую и строгую. На церковном дворе — могилы пионеров — серые плиты, покривившиеся и покрытые плесенью. Кладбище зажато в тиски небоскребов, они наступают со всех сторон, громады в двадцать-тридцать-сорок этажей, полные стука машинок, бесшумного скольжения лифтов (экспресс-остановка на двадцатом этаже...), — и церковь кажется маленькой и случайной — маленьким и забытым памятником Времени...

Wall-Street — совсем маленькая и кривая улица. Она узенькая как все улицы старого города, два автомобиля могут разехаться в ней, три — должны уже ехать гуськом. Узенькая улица обрамлена каменными уступами грандиозных домов, и это делает ее похожей на ущелье. Я иду и читаю имена банков, старинные, но современные имена, за которыми скрыто богатства поколений, пиратские набеги, дикая эксплуатация труда, километры армий и вымирающие колонизальные народы. Morgan & Co, New York City Bank, Amalgano-teg Bank of America — здесь нет других зданий, и все, что связано с капиталом стало стиснуто на этой полутемной улице...

Три квартала банков — серых громад, из которых самый скромный обладает мировым богатством и мировым влиянием. Довольно. Вы поворачиваете влево, квартал — и вы с удивлением оглядываетесь кругом.

Вы в бедном итальянском квартале, бедном и неопрятном. Ровные четырехэтажные домики с красными клетками кирпичей и ржавым железом наружных лестниц. На тротуарах — бумажки, окурки, корки апельсина, разбитые флаконы, грязные обноски и просто выброшенный из домов сор. Ребятишки играют в бедную и неприхотливую игру. Толстые и столь же неопрятные итальянки наслаждаются воскресным отдыхом и оживленно перекидываются на ступеньках домов звучными полуанглийскими, полуйтальянскими словами. Пьяный лежит на приступках запертой лавки, его рубашка грязна, побитое лицо в ссадинах. Полицейские ходят парами с резиновыми поясами и несвежими белыми перчатками. Итальянцы никогда не бывают на Wall-Street, биржевики не заглядывают в итальянский город. Здесь — порт, откуда Нью-Йорк снабжается бананами, апельсинами, ананасами и непередаваемыми американскими grapefruit'ами.

Я сажусь у одного из портовых лобазов с шуплым, одетым в потертый пиджак стариком. За нами — East River, и через нее — знаменитые бруклинские мосты с паутиной цепей и черными, маленькими зернышками автомобилей.

— Где здесь China-Town?

— Дайте мне никель на папиросы!

Старик получает 50 центов в час и это дает ему заработок в двадцать долларов в неделю. На это жить нельзя и он просит у меня пять центов, никелевую монету с изображением индейца, за которую можно проехать в подземке или выпить стакан содовой воды.

— Вы пройдете три квартала вдоль моста электрической дороги, свернете влево и попадете в китайский город!

Я пускаюсь в это странное путешествие по улицам, полным грязи, оживленного гомона и пьяных.

За мной остается пустое, на сутки забытое временем ущелье, передо мной узенький и шумливый, с ручным радио и лавками овощей China-Town.

New-York — Атлантический Океан.

S.S. Statendam (название парохода)

13.10.29

Средний человек

Америка — страна необычайно высокой культуры. У американцев изумительные полированные дороги от Атлантики до Тихого океана, цепи автомобилей, необычайно мягко звучащие радио, горячая и холодная вода в каждом из домов страны, чудные вечные ручки, которые заставили забыть простую чернильницу и идеальные статистические машины <...>

Американец свысока смотрит на Европу, и журналы приводят смешные картинки «европейское радио», «европейский трамвай», «европейские дома», представляющие Европу отсталой и старомодной страной.

Но что такое средний американец? Кто такой «средний человек» в Америке?

В американской армии было проведено через тестовое исследование три миллиона взрослых людей. Результаты показали средний интеллект 12-летнего ребенка.

Американцы свято верят в тесты. Тест, проведенный на тысячах для американцев — библия, а его показатели — бесспорная математическая величина.

Американцы — практики, и из теста были сделаны немедленные практические выводы. Кинофабрики стали выпускать свои фильмы, ориентируясь на психику двенадцатилетнего ребенка, и фильмы имели грандиозный успех, принося миллионы долларов и затирая фильмы со сложным, продуманным содержанием <...>

Boston. 25.09.29

«Если у нас нет старины — мы ее создадим!» Этот парадокс оказывается абсолютно правильным, когда Вы присматриваетесь к быту Америки <...>

Я проехал несколько раз вдоль Новой Англии, и встречал по пути чудные белые домики из узких деревянных планок, с белыми столбами и широкой верандой, трехэтажные и удобные. На фасаде были цифры года, и восемнадцатый и девятнадцатый век встречались там нередко. Это домики колониальной эпохи, и воспоминания о героической поре колонизации живо здесь в каждом уголке.

Американцы помнят и переживают свою старину — старину двух, много, двух с половиной столетий; но они стараются углубить свою историю как заботливый хозяин углубляет колодезь. Они перенесли Европу во всем, в технике и темпе, в высоте зданий и в зеркальной накатанности дорог <...> «...Если у нас нет старины — мы купим ее». И они покупают, строят, создают старину. В Yale я видел студенческие общежития, построенные в стиле старинных зданий Оксфорда и Кембриджа. Готические башни и извилистые дворики, узкие с решетками окна, полутемные комнаты и железные каминные: вы никогда не скажете, что этим домам всего-на-всего пять лет, и что они построены с величайшими усилиями архитектурных умений; удобнейшие души и ванны заботливо спрятаны за готическими дверями, а паровое отопление совершенно незаметно за старинного стиля медной решеткой. Здания неудобны, мрачны, но студент живет в атмосфере искусственно возвращенной старины.

Не удивляйтесь, если на карте Соединенных Штатов вы найдете Кембридж и Оксфорд, Лондон и Берлин, Москву и Санкт-Петербург <...>

Героическая пора прошла. Американцы — самый довольный собой, самый богатый народ мира. Старый свет догнан и оставлен далеко позади. Американцы ищут, чего бы купить на свои деньги, и покупают старину.

Американские архитекторы по камням разбирают английские замки у обедневших джентри, нумеруют камни и перевозят замки в Америку <...>

Американская техника шаг за шагом завоевывает будущее; американский капитал пытается сделать прошлое <...>

Атлантический океан.

S.S. Statendan. 11.10.29

Isn't that nice?

Мне удалось договориться с одним из американских издателей о переводе моей книги на английский язык.

Вот выдержка из письма, которое получил от него:

Dear sir,...

We take pleasure in enclosing our formal contract for publication of your most excellent work, and if you agree...

<Дорогой сэр! Мы имеем удовольствие приложить наш официальный контракт на публикацию вашей замечательнейшей работы, и если вы согласны... (англ.)>

Издатель никогда не читал моей книги, и я должен поверить ему на слово, если б мне очень хотелось согласиться с тем, что моя книга действительно является «most excellent work».

Но я могу быть спокоен и не очаровывать себя ложными надеждами: моя книга — средняя, быть может, приличная работа, и издатель сам не верит тому, что он пишет. Вежливость, преувеличенная до лести — форма выражения в Америке и вы поступите неосмотрительно, если будете верить ей.

Мне удалось быть на международном научном конгрессе, организованном и устроенном в маленьком, но очаровательном городке Новой Англии, и я имел случай наблюдать многократно эту экзотическую вежливость американцев.

— How do you do? — Этот вопрос встречает вас каждый раз, когда вы знакомитесь с новым человеком. Не пытайтесь отвечать на него, объясняя, что вы живете хорошо; это единственный вопрос, на который американец не ждет ответа. Вежливость требует от вас крепкого рукопожатия и повторения сказанной вам фразы.

— How do you do?

— How do you do!

Это встречаются два американца. Прибавьте сюда несколько самых восторженных комплиментов и заключительный вопрос: «— How do you like America?» <Как Вам нравится Америка?> — и вы будете иметь картину встречи, которую оказывают иностранцам.

Мы, советские делегаты, смеясь, так описывали обычную встречу на конгрессе: «Ah' how do you do?! I am so glad to see you! I have so much heard about you! I have enjoyed your excellent works! What is your name please?»

<Как поживаете? Как я рад встретиться с Вами! Я так много о Вас слышал! Мне так понравилась Ваша прекрасная работа! Кстати, как Вас зовут? (англ.)>

Атлант. Океан. S.S. Statendan

12.10.29

Мы привели здесь в сокращенном виде несколько новелл из тетради впечатлений об Америке. В тетради «Rocks» написано двадцать новелл, отражающих разные стороны американской жизни. Многие страницы посвящены описаниям американских университетов, системе высшего образования, медицинским учреждениям. Автор описывает свои встречи с американскими учеными, педагогами, врачами, жителями бедных кварталов и бизнесменами, он рассказывает о своих случайных знакомствах на улицах, в вагонах поезда и на пароходе. Ярко и интересно А.Р. Лурия пишет об американском кино и о фермах, о природе и архитектуре.

Эти двадцать новелл, вошедших в тетрадь «Rocks», А.Р. Лурия написал во время своего полуторамесячного пребывания в Америке и на пароходе Statendam по пути домой.

Глава 5

«Фергана, милая Фергана ...»: экспедиции в Среднюю Азию; разгром школы Выготского

Я родилась и выросла среди восточных вещей. Узбекские сюзаны ручной работы украшали стены комнат родительской квартиры. Их в начале тридцатых годов папа привез из Средней Азии, куда он ездил с психологической экспедицией. Одно большое черно-красное развернулось почти на две стены. Его я рассматривала всю жизнь с самых первых лет. Обводила глазами контуры черных узоров, оплетающих красные с зубчиками круги. Иногда они мне казались похожими на лапы диковинных зверей, а круги огромными цветами. Я следила за узором, проходила вместе с ним все затейливые изгибы и повороты, такие закругленные, плавные, будто чудесные тропинки. И вдруг узор обрывался, за поворотом открывалась пустота, вернее грубая сероватая ткань основы, похожая на суровое полотно. А через долю секунды я снова находила продолжение узора: чудесная черная кайма уходила вниз по стене.

По красным кругам, затканым лепестками удивительных цветов, бежал тонкий узор из зубчиков, который, разбежавшись, вдруг обрывался. И в этой незаконченности, незавершенности что-то волновало.

Когда мне было лет семь, папа объявил, что у узбекских женщин, которые когда-то ткали такие сюзаны, существовало поверье: каждую вещь, чтобы сохранилось мастерство и жизнь ее творящей, надо оставлять немного незаконченной. Много лет спустя из своей поездки в Америку папа привез маленький коврик работы индейцев: три красных воина держат черные пики с наконечниками, у стрелы крайнего из них не хватало наконечника. «Видишь! И тут то же самое, что на сюзанах, — говорил папа, — одно и то же поверье на разных концах света».

Другое узбекское сюзана висело в детстве в нашей с Олей комнате. Он легче, радостнее того черно-красного. Мое сюзана было украшено мелкими цветами — красными, голубыми, желтыми, среди которых я видела и сказочный аленький цветочек и другие, похожие на граммофончики. Две гирлянды цветов спадали по краям ровного белого поля незатканного холста и соединялись сверху затейливой аркой. Но и здесь, пробегая глазами по сюзанах, я видела среди цветов незаконченные, у одних не хватало лепестков, у других вокруг яркой

сердцевинки были лишь грубо намечены очертания цветка, но вместо ярких лепесткой просвечивала сероватая основа.

Черная с белыми узорами тюбетейка и узбекский синий полосатый ватных халат с широким поясом — обычная папина домашняя одежда. И на Фрунзе, и особенно на даче, папа в холодные дни носил этот халат. Правда, тюбетейку надевал только на даче. Сколько разных халатов помню я. Яркие, по зеленому фону тонкие полоски — красные и синие. Этот халат мне почему-то напоминал арбуз. Синие с темно-синей полоской, сине-серые без полоски в рубчик. И разные пояса: или в виде шелкового платка с мысом, или плетеные с кистями на концах. И все эти халаты, перебивавшие дома, были какой-то неотъемлемой частью нашего быта.

«Как удобно! — говорил папа, — и в холод хорошо и в жару». Мне было непонятно, почему стеганный ватный халат надо носить в жару, но папа объяснял, что узбеки и туркмены спасались от зноя этими халатами. Пили зеленый чай из пиалы, сидя на ковре на помосте чайханы или прямо на земле под тутовым деревом.

Узбекская шелковая рубашка огромных размеров желто-зеленая, переливавшаяся и сухо шуршавшая, хранилась в сундуке и вынималась очень редко, «по большим праздникам». Помню когда-то в раннем детстве я проснулась среди ночи от того, что в комнате родителей шумели гости. Сначала я слышала чьи-то голоса, смех, потом в наступившей тишине голос, выводивший непонятную грустно-радостную песню. Она лилась быстрым ручейком, то обрывалась на протяжных грустных волнах, то снова оживала. Я вышла в комнату и увидела в ярком свете папу, окруженного желто-зеленым сиянием, он, какой-то мне чужой и незнакомый, в большой шелковой рубашке, перехваченной поясом, прикрыв глаза и тихо раскачиваясь из стороны в сторону, выводил простой и трогательный мотив...

«Фергана, милая Фергана, почему твои розы увяли?..»

Дневник первой психологической экспедиции в Среднюю Азию был начат 7 мая 1931 года.

«...у них (узбеков — Е. А.) длинные рукава, висящие до колен и ватные стеганные халаты... Из-под лохматых с висящими полями шапок — раскосые черные глаза и бронзовые недвижные лица... Когда они ходят — рукава болтаются вдоль халата, рук из них не высвободишь. Рваные клочья халатов и линияющие, в клочьях свалявшейся шерсти верблюды, впряженные в телеги, пески, солончаки, озера, где высыхает вода, оставляя налет соли, юрты, как грибы, как горошины на волнообразной равнине песчаника, снова пески, и жара — на

солнце за тридцать <...> А из-под отвисших меховых полей высокой с шишаком шляпы — бронзово и неподвижно глядят века...

Мы — уже сутки — в Азии.

Станция Казалинск.

7.05.1931.»

Мы въезжаем в Азию

Мой недавний знакомый, с которым четыре ночи мы провели в душном вагоне железной дороги, сидит на подушках у сандала и угощает меня зеленым жидким чаем и жирным, с кусками мяса пловом.

В руках у него дутар, он перебирает струны и сопровождает терпкими и чужими для меня аккордами песню.

...Фергана, милая Фергана, почему твои розы увяли?..

Звуки унылы и пронизаны тоской, дутар из дерева, тонкого, как кожа, следует за ними терпкими и чужими для меня аккордами.

Мой приятель едет учиться, он будет экономистом, он кончит пехановский институт, чтобы вернуться в Среднюю Азию и строить здесь крупное хозяйство; он и теперь активист; только что он рассказывал мне, как зимой, в холод и грязь, кончив работу, он ездил по кишлакам агитировать за хлопок и колхозы; ему двадцать четыре года и его мысли — уже не здесь, а в Москве, в учебе; только руки перебирают струны дутара и слова скользят в прошлом:

...Фергана, милая Фергана...

На узкой улице старого города жарко, и глиняные дувалы покрыты трещинами; сын моего приятеля — ему уже три года — разметавшись, спит тут же на ковре, а старшая дочь прижалась к его коленям и вслушивается в песню. Мы все, сняв ботинки и полные мысли о древней, чужой для нас культуре — сидим вокруг сандала — домашнего очага... Руками едим плов и тянем из пиалы сладкое домашнее вино, густое, как сироп и ароматное, как вечер в Средней Азии...

...Фергана, милая Фергана...

Я первый день в Самарканде...

9.10.1931 г.

Базарная площадь

Старый нищий, с белой бородой и в большом тюрбане выводит монотонный мотив. Погонщик бьет своего ишака палкой. Писарь сидит под аркой древней — семисотлетней мечети — с чудной, лазурно выведенной мозаикой — и пишет прошения арабскими буквами, как будто сошедшими со стен медресе. Оборванный узбек с большой

медной трубкой приглашает покурить табак — затяжка только десять копеек. Ювелиры, сидя на корточках, маленькими шипчиками выгибают тонкие края подвесок для женских кос. Узбечки идут закрытые паранджой, безликие, с волосным чачваном, спускающимся до самого пояса. Дробь кузнецов — из кузнечного ряда — наполняет воздух причудливыми и веселыми звуками. Три верблюда мерно проходят по базару, поднимая пыль и раскачивая связки тростниковых матов, привязанных с обеих боков.

Мы — в Старом Городе, в Самарканде, на базарной площади.

Над нами — синее, глубокое и безоблачное небо, площадь залита солнцем, плоские, поколениями вытопанные камни подходят к прямым стенам, и площадь — ограниченная с трех сторон тремя мощными, с лазурной мозаикой арабских изречений порталами мечетей — гудит базарным шумом.

Нам вспоминается Багдад, и возвращаясь домой, мы с новым чувством перелистываем страницы «Тысячи и одной ночи», изданной в лаковой арабской обложке издательством Akademia.

Самарканд.

14.5.1931.

* * *

На этом обрываются подробные записи в Среднеазиатском дневнике и, отступя много пустых страниц, дневник возобновляется, но ведется в сжатой конспективной форме. Переезд с места на место, работа с жителями кишлаков и горных пастбищ, ведение подробных протоколов психологических экспериментов, их расшифровка и переписка поглощали много времени. На развернутое ведение дневника не хватало сил. Но читая и эти короткие наброски, можно почувствовать любовь Александра Романовича к необыкновенной природе Средней Азии и глубокую симпатию к ее жителям, их обычаям и культуре.

Средняя Азия была большой любовью всей его жизни. Он легко выучил узбекский язык, благодаря своим незаурядным лингвистическим способностям и казанскому детству, когда он разговаривал с татарами на их родном языке...

«Мы с Выготским хотели доказать прямо и в лоб, что все психологические процессы имеют исторический характер, не по догадке, а в конкретном эксперименте, — рассказывает Александр Романович о психологических экспедициях в Среднюю Азию». — И мы с Федо-

ром Николаевичем Шемякиным провели два лета, тридцать первого и тридцать второго года, в горных кишлаках Узбекистана.

Средняя Азия, Узбекистан — это страна грандиозной культуры, давшей таких гениев как Улугбек, Ал-Бируни, Авиценна, но культура эта была для очень узенького слоя интеллигенции, остальные все неграмотными были. Это был особенный период — отсталый неграмотный народ, затнанный мусульманством, попадал сразу в условия иной культуры — шла коллективизация, ликвидация неграмотности, и все это на наших глазах. Мы могли воочию наблюдать, в какой мере культура влияет на формирование психологических процессов. Одни и те же психологические исследования мы проводили с женщинами «ичкари» — неграмотными забитыми женщинами, которые живут на женской половине дома, прикрыты паранджой и ни с кем, кроме своего мужа не общаются, с колхозными активистами, с ребятами, прошедшими краткосрочные курсы...»

С жителями кишлаков центральных районов, которые работали в совхозах, войти в контакт не составляло труда: «Совхоз в степи. Вдруг — сберкасса и квасная лавка... Разговор об Америке; Германии и Европу здесь не знают, но знают социализм. Мы пьем чай и долго говорим в ночь... Плов в полночь. Мы — в одной из самых экзотических ситуаций. Намаз*, подушки и социализм...»

Жители отдаленных кишлаков к участникам психологической экспедиции относились с явным недоверием: «С нами определенно не хотят разговаривать! Чайхана и угрюмое негодование... Я втягиваюсь в беседу. Тысяча небывлиц о Германии. Я дарю ножик от бритвы Жидет. Старик идет за паспортом». С жителями горного пастбища познакомиться было еще сложнее: «Нас снова боится. При приближении все уходит в горы. Женщина-киргизка и паническая реакция: «Не сглазь ребенка!» («Из путевых заметок А. Р. Лурия, 1932 г.», хранится в архиве А. Р. Лурия).

Опыты психологической экспедиции всегда начинались с беседы в непринужденной обстановке: в чайхане, где жители кишлаков проводят большую часть свободного времени, или вокруг вечернего костра на горных пастбах. Вместо обычных психологических тестов исследования строились на специально разработанных пробах, которые не могли восприниматься испытуемыми как бессмысленные и вместе с тем допускали несколько решений, каждое из которых было бы признаком определенной структуры познавательной деятельности. Постепенно в беседу включались заранее подготовленные задания, которые по характеру напоминали распространенные среди населения «загадки» и составляли как бы продолжение разговора. Запись эксперимен-

* Стенограмма доклада А. Р. Лурия на заседании московского отделения общества психологов 25 марта 1974 года.

* Намаз — мусульманская молитва, совершаемая пять раз в день.

та вел ассистент, который старался не привлекать к себе внимания. На женской половине «ичкари» исследования проводили женщины — сотрудницы Узбекского научно-исследовательского института.

«Мы получили удивительную картину, — продолжает свой рассказ Александр Романович, — из которой наглядно было видно, что все категории, которые мы привыкли считать естественными, на самом деле являются общественными.

В основу опытов было положено испытание на классификации: типа «четвертый-лишний», когда надо отбросить один из предметов как несоответствующий трем остальным. Неграмотные кишлачники всегда классифицировали только по ситуационному признаку — например, они никогда не рассматривали топор, пилу и лопату как инструменты, а полено — как вещь, к ним не относящуюся. Нет, они объединяли пилу, топор и полено, а лопата была в их понимании «для другого дела: для огорода». Если же мы говорили испытуемому, что вот один человек сказал, что пилу, топор и лопату можно положить вместе, потому что они инструменты, а вот полено как раз сюда не идет, то всегда слышали в ответ о том человеке крайне неслестные слова. Однако стоило этим же самым людям пройти хотя бы трехмесячные курсы, поработать в колхозе, испытать на себе влияние культурной революции, они сразу же начинали классифицировать и по абстрактному признаку тоже.

Примерно те же результаты дало изучение восприятия. Мы использовали известные картинки, которые вызывают оптико-геометрические иллюзии. Выяснилось, что и тут уровень культурного развития, определяет все. Я даже дал Выготскому телеграмму: «У узбеков нет иллюзий», за что получил от него очень интересное, аффективно окрашенное письмо, которое у меня сохранилось^{*}. В этой работе, которую мы с Федором Николаевичем организовали, нам очень помог Узбекский научно-исследовательский институт; самим нам пришлось немножко овладеть узбекским языком. Это была трудная полевая работа, но зато она принесла огромное количество данных и мы их два года обрабатывали в Институте психологии...» (Цит. по стенограмме доклада 25 марта 1974 г.)

Живо предствить условия, в которых проходила работа, специфику исследований и круг вопросов, которые решал Александр Романович в экспедиции тридцать первого — тридцать второго года, помогает письмо Лурия к немецкому психологу Келеру^{**}.

^{*} Эта телеграмма, намеренно неверно истолкованная недоброжелателями, навлекла на Лурия и Выготского большие неприятности.

^{**} Келер (Kohler) Вольфганг (1887-1967) — немецкий психолог, один из лидеров гештальтпсихологии, директор Психологического института в Берлине. В 1935 г. эмигрировал в США.

«13 декабря 1931 года.

Глубокоуважаемый господин Келер,

Этим летом я послал Вам мой привет из Средней Азии. Я организовал психологическую экспедицию и был в Узбекистане с мая по сентябрь. Целью экспедиции были исследования своеобразных форм психических процессов у народов, живущих в разных исторических условиях; таким образом это было, как я полагаю, первой попыткой организовать чисто психологическую (не этнографическую) экспедицию.

Мы — как мне кажется, нашли действительно много интересно. Основными темами экспедиции были: 1. Мышление как функция, подверженная историческим изменениям (а именно — процесс словоупотребления, умозаключения, понимание метафор и символов, логическое мышление и так далее); 2. Структура отдельных психических процессов (в частности, восприятия: восприятие форм и цвета в связи с образным мышлением, оптико-геометрические иллюзии, рисунок; особенности запоминания, счета и т. д.). Осмысленное и бессмысленное, полезависимое поведение.

Четырнадцать сотрудников были со мной и подготовили около 12 тем, за лето собрано почти 600 индивидуальных протоколов.

Понятно, в письме я немного могу сообщить Вам о результатах, но я чувствую, что они представляют собой чрезвычайно богатый новыми для психологии фактами материал: этот год я посвящу его обработке.

Впечатления, которые мы пережили, дают возможность утверждать, что структура психологических процессов в примитивных условиях резко отлична от нашей по множеству показателей — эта разница обусловлена не категориальным, а комплексным, образным характером мышления. Также во многом различны процессы сравнения, классификации, порядка счета и т. д.; памяти; и, вместо законов активной вербальной организации поведения, здесь выявляются законы зрительной (или практической?) — т. е. непосредственной организации.

Совершенно особенные результаты мы получили при исследовании восприятия. В системе образного мышления отчетливо выявляется, например, установка на конкретное восприятие геометрических форм и чистых цветов.

Часто все геометрические формы — такие: как \square , \triangle , \bigcirc , \triangleleft , и т. д. обозначались конкретно, наглядно, и в соответствии с этими конкретными обозначениями и организовывались в группы, — так, когда испытуемый фигуру :::: называет: «звезды», \square — «дверь» и \square «канал» — то они не могут быть объединены в одну группу, так как «они не имеют ничего общего»; не могут также быть объединены \triangle и \triangleleft , так как \triangle есть «тумар» (амулет), а \triangleleft есть «ведро».

Здесь я перехожу к практической части моего письма. Я хочу сделать Вам предложение. Не хотели бы Вы принять участие во второй экспедиции в среднюю Азию летом 32 г.? Я думаю, что нам удастся такую экспедицию организовать, и она будет иметь интернациональный характер. В качестве основной задачи экспедиции должно оставаться изучение зависимости структуры психологических процессов от исторических условий, т. к. в Средней Азии сейчас происходит скачкообразный процесс перехода к новым формам общественной жизни. Это будет научно-психологическое исследование необычайно интересного материала. Думаю, основными темами будут вышеупомянутые: структура мышления, законы восприятия, вербальная и визуальная организация поведения, личность, отдельные психологические процессы — счет, измерение, понимание и т. д. ...Вы, конечно, можете добавить то, что сочтете интересным.

Если бы Вы захотели поехать с нами, то Вы получили бы двух (или больше) помощников, из которых один — русский, говорящий по-немецки (это мог быть доктор Выготский или кто-нибудь из Москвы) — и один узбек, который владеет русским и всегда был бы у Вас под рукой.

Планы таковы: мы должны собраться 1 июня в Самарканде (Вы приедете в Москву, и оттуда в Самарканд — это 4 1/2 дня в спальном вагоне скорого поезда); там состоится семинар, где будут обсуждаться темы, методы, принципы и проводиться предварительные исследования. Это продлится до 20 июня, после чего мы отправляемся в экспедицию, которая должна завершиться к 1 августа. Мы выбрали местность в 4-х днях пути от Самарканда. Местность называется Ягноби, расположена в районе Гиссарского хребта и очень отдаленная, путь туда довольно сложен (часть пути придется преодолеть пешком или на осле); живет там народ, который называет себя «Ягноби» или «Македони» (возможно, это название людей, оставленных Александром Великим — но очень отсталых). Этот маршрут, впрочем, может быть заменен каким-либо другим — в Таджикистан или горную Киргизию.

Я вполне убежден — если нам удастся провести эту экспедицию — мы можем многое сделать для психологии.

Я надеюсь также на участие гг. Левина и Коффки. Могут быть, стоит пригласить также проф. Турнвальда?

Рассчитываю получить Ваш ответ так скоро, как это можно.

С наилучшими пожеланиями —

Ваш Ал. Лурия.

В архиве Лурия хранится шесть писем Выготского, которые он прислал Александру Романовичу во время первой и второй психологи-

ческой экспедиций. Читая их, мы видим, какое серьезное отношение придавал Выготский этой работе. Приведем несколько цитат из них:

«Дорогой Александр Романович. Пишу тебе буквально в эмпатии — в каком-то воодушевлении, какое приходится переживать не часто. Я получил Report № 3, протоколы опытов. Светлее и радостнее дня я не помню в последнее время. Это буквально как ключом отпертые замки ряда психологических проблем. Таково мое впечатление. Первостепенное значение опытов для меня вне сомнения, наш новый путь теперь завоеван (тобой) не в идее только, а на деле — в эксперименте. Узнаю адрес — напишу подробный отклик, а то не уверен, дойдет ли открытка, писал и в Самарканд после отчета № 4, писал после № 2 подробно — не знаю, дошло ли. Для нас открыта новая глава в психологии — конкретная, сами операции гесп. * отдельные функции в свете осмысленного целого представляют в новом свете. У меня чувство благодарности, радости и гордости...» (из письма от 11 июля 1931 года).

«Дорогой Александр Романович, пишу тебе открытое, потому что здесь достать конверт или гуммиарабик, чтоб сделать его, невозможно. Писал тебе уже в Самарканд и в Фергану о том огромном ни с чем несравнимом впечатлении, какое произвели на меня твои Report'ы и протоколы. В нашем исследовании это огромный, решающий поворотный к новой точке зрения шаг. Но и в любом контексте европейских исследований — такая экспедиция была бы событием. Это исследование будет твоей поездкой на Тенериф **. У меня чувство восторга — в буквальном смысле слова — как перед серьезнейшим внутренним успехом. Я получил Report № 5 — и он, как и все остальные (холоднее меня оставил Report № 1) — знаменует событие: систематическое исследование системных отношений в исторической психологии, в живом филогенезе, чего не было до сих пор никем сделано — новая неожиданно (для меня, сознаюсь) счастливая и блестящая глава. О себе не могу ничего писать после опытов. 17-го июля я, неожиданно для самого себя, уехал в Ярцево под Смоленском, где проживу до первого сентября... (из письма от 1 августа 1931 года).

«Дорогой Александр Романович, сейчас принесли твой Report об экспедиции, который привел меня в восхищение. Одни результаты обеих экспедиций, если бы в систематической и доступной для ученых форме опубликованы были на европейском языке, заслужили бы мировую известность: я в этом убежден. Это — дело внешней оцен-

* собственно (лат.).

** Тенериф — остров из группы Канарских островов, где провел свои знаменитые исследования интеллекта человекообразных обезьян немецкий психолог В. Келер.

ки. Внутренней же оценкой я не раз делился с тобой: я продолжаю думать и сейчас буду думать, пока меня не разубедят, что экспериментально доказано (на фактическом материале более богатом, чем в любом этнопсихологическом исследовании, и более чистом и верном, чем Levy-Brühl) филогенетическое наличие пласта комплексного мышления и зависимой от него иной структуры всех основных систем психики, всех главнейших видов деятельности — и в перспективе — самого сознания...» (из письма от 17 августа 1932 года).

Александр Романовичу было не суждено продолжать свои среднеазиатские исследования. «Меня обвинили во всех смертных грехах, вплоть до расизма, и мне пришлось уйти из Института психологии», — рассказывал он.

В конце двадцатых — начале тридцатых годов в разных областях науки были развернуты, так называемые «открытые дискуссии», которые имели мало общего с настоящей научной полемикой и были далеко не безобидными играми. Каждая из них означала подписанный заранее приговор тому или другому направлению науки. Подоплека этих дискуссий была политического и идеологического толка. Выдвигался ряд стандартных обвинений, которые переходили из одной дискуссии в другую: в идеализме, в преклонении перед Западом и буржуазной наукой, в извращении марксистско-ленинской философии.

Ряд таких дискуссий прошел и в психологии. Дискуссия по культурно-исторической теории долго готовилась и оттягивалась по непонятным обстоятельствам и Выготского и его соратников это изматывало.

После второй экспедиции в тридцать втором году в Институте психологии начала работать Комиссия МКК РКИ*. Решение комиссии поставило под удар Александра Романовича и судьбу его дальнейшей работы в психологии. Точка зрения комиссии нашла подробное отражение в разгромной статье Размыслова «О «культурно-исторической теории психологии» Выготского и Лурия», опубликованной в журнале «Книга и пролетарская революция» в 1934 году. В статье говорилось:

«Широкому кругу советской общественности «культурно-историческая теория психологии» известна мало, «культурно-историческая теория» только создается, но она уже успела много навредить психологическому участку теоретического фронта...

Вместо того, чтобы показать процесс развития и культурный рост трудящегося Узбекистана, они ищут обоснования своей «культурно-психологической теории» и «находят» одинаковые формы мышления у взрослой узбечки и пятилетнего ребенка, под флагом на-

* МКК РКИ — Московская контрольная комиссия рабоче-крестьянской инспекции.

уки протаскивая идеи, вредные для дела национально-культурного строительства Узбекистана...

Никакого научного эксперимента и научной работы в экспедиции Лурия, конечно, не было. И как бы Лурия и его соратники ни клялись в том, что они изучают проблемы мышления колхозников национальных районов в историческом развитии, это им не поможет скрыть и завуалировать свою реакционную и враждебную марксизму теорию.

Эта лженаучная реакционная, антимарксистская и классово враждебная теория приводит к антисоветскому выводу о том, что политику в Советском Союзе осуществляют люди и классы, примитивно мыслящие, неспособные к какому бы то ни было абстрактному мышлению...

Александр Романович пытался объяснить, что он считает недоразумением те выводы, к которым пришла комиссия.

Из архива А. Р. Лурия.

Культпроп ЦК ВКП(б)
товарищу Стецкому

Народному комиссару по
просвещению А. С. Бубнову

Комиссия МКК РКИ, обследовавшая Институт психологии, затребовала у меня материал по работе, проведенной под моим руководством психологической экспедицией в Среднюю Азию.

Несмотря на то, что материал этот еще не обработан и находится в сыром виде, комиссия наша возможным вынести соответствующее решение о нашей работе, не имея в руках тех выводов, без которых ни задачи работы, ни черновой материал не могут быть правильно поняты.

Тенденциозно подбирая отдельные факты и неправильно их толкуя, комиссия вынесла ряд тяжелейших обвинений, представив нашу работу как образец... колонизаторского исследования, опирающегося на расовую теорию и пытающегося показать неполноценность мышления наших окраинных народностей.

Эти выводы комиссии, получившие распространение среди ответственных работников советской науки, являются прямо противоположными основным положениям нашего исследования и целиком дискредитируют меня как советского ученого. Поэтому считаю необходимым обратить Ваше внимание на создавшееся положение, лишаящее меня моральной возможности продолжать мою работу в области психологии <...>

Экспедиция в Среднюю Азию была предпринята мною с целью проследить пути той огромной перестройки мышления, которой сопровождается культурная реконструкция окраины <...>

Результаты этой работы, проведенные на узбекских крестьянах, в различной степени втянутых в социалистическое строительство с убедительностью показали: 1. что наблюдавшиеся нами формы конкретного мышления являются исключительно продуктами отсталых производственных отношений и быстро исчезают с их изменением; 2. что вместе с социалистической реконструкцией окраины происходит необычайно быстрое развитие новых и высших форм мышления, резко отличающихся от прежних; 3. что законы этих перестраивающихся форм мышления совершенно необходимо учесть при построении педагогического процесса в этих условиях, чтобы поднять его эффективность.

Эти выводы коренным образом противоположны тем, которые приписываются нам комиссией и показывают, что наша работа, вскрывающая зависимость мышления от производственных отношений, не только не связана с расовыми теориями неполноценного мышления, но наносит им серьезный фактический удар <...>

Я никогда не решился бы обратиться к Вам, если бы не считал предъявленных мне обвинений чудовищным недоразумением и если бы их политическая тяжесть не ставила под вопрос мою дальнейшую работу в области психологии <...>

Ал. Лурия

Однако никакие объяснения помочь не могли. На повестке дня стоял разгром психологии школы Выготского, и он успешно состоялся, как и последовавшие в 40-х и 50-х годах разгромы генетики и физиологии, которые так же прямо затронули работы Александра Романовича и сильно повлияли на его научную судьбу. А на этом этапе были прекращены исследования по культурно-историческому развитию познавательных процессов.

Александр Романович поставил толстые папки, в которых он хранил экспедиционные материалы, в книжный шкаф, где они пролежали нетронутыми сорок лет, и стал разрабатывать новую область клинической психологии, но было это уже в Харькове. В его комнате стояло кресло-качалка, которое переехало с ним из Казани в Москву, а потом в Харьков, на стене висело большое черно-красное сюзане, которое напоминало ему о среднеазиатском солнце, о высоком си-нем небе, о древних мечетях Бухары, Самарканда и Ферганы...

...«Фергана, милая Фергана, почему твои розы увяли?»

Предвестники «открытой дискуссии» появились в прессе и на научных собраниях. Читая воспоминания сотрудников и близких

Выготского, можно почувствовать невыносимый гнет атмосферы этого времени.

*Из воспоминаний Тамары Осиповны Гиневской**

«...Дискуссия все разгоралась и, наконец, Льва Семеновича «убили», а школу его настолько разгромили, что не находя нигде ни моральной, ни материальной поддержки, небольшая группа московских ученых (Лурия, Леонтьев, Божович и Запорожец) поехали, как тогда говорили, «в длительную командировку», переехали в Харьков — тогда в столицу Украины во вновь созданный профессором Рохлиным психоневрологический центр при психиатрической больнице. Этот центр был базой новой психоневрологической Академии...

Налаживал работу в Харькове Выготский. Дважды он приезжал для подведения итогов сделанного и обсуждения дальнейших исследований... Несколько лет все, уехавшие из Москвы, то ли на время, то ли навсегда, работали вместе в психологическом секторе.

Мы поселились в большой квартире, которую снял для московской коммуны профессор Рохлин. Некоторое время мы жили в ней действительно все вместе: мы, Лурия, Божович и Леонтьев, но вскоре в ней остались только мы и Лурия (были две комнаты) в обществе обслуживающей нас «прислуги» с очень мрачной фамилией — Гробоная. Она и впрямь относилась к нам с каким-то мрачным недоверием, особенно к Лурии, непохожему, по ее словам, на настоящего ученого, потому что он всегда был голоден и бегал на кухню попросить чего-нибудь поесть, а поесть-то и нечего было и это раздражало нашу кормилицу.

Оказавшись вместе с Александром Романовичем в одной квартире, я сразу же подружилась с этим молодым, веселым человеком (а я уже знала о его неприятностях).

Он рассказывал мне и о детстве в Казани, и о своем отце — известном враче, который, говорил Лурия, «презирал меня за то, что я выбрал никому не нужную, дурацкую науку». Смеясь, вспоминал, как он боялся отца и, если надо было к нему за чем-то обратиться, он, как мальчик просил Александра Владимировича (Запорожца) сделать это за него...

В Харькове у Лурии была одна прелестная и очень выгодная для меня страсть: в свободное время он ходил «смотреть» книги у букинистов и всегда приносил мне в подарок какую-нибудь старинную книгу, например, Аристотеля с надписью «Дорогому Тосику (так он называл меня, сократив имя и отчество) от автора». Он был молод и с оптимизмом смотрел в будущее...

* Т. О. Гиневская — жена Александра Владимировича Запорожца.

По письму Лурия к Леонтьеву удалось датировать время переезда в Харьков декабрем тридцать первого года, в разгар дискуссии по культурно-исторической теории Выготского и до второй психологической экспедиции в Среднюю Азию. Александр Романович курсировал между Харьковом и Москвой, где продолжал работу в Институте психологии, пока не закрыли его лабораторию.

В Харькове он читал лекции студентам во вновь организованной Психоневрологической Академии, учился в медицинском институте и много времени уделял работе в клинике.

Александр Романович рассказывает студентам как психологи представляли себе работу мозга в тридцатые годы⁷⁰:

«Лет двадцать тому назад одному знакомому мне ученику десятого класса задали в школе сочинение на тему «Мозг и психика», и он начал его писать так: «В нашей стране органом психики считается мозг». Вряд ли кто с ним станет спорить. Высказывание это, хотя и верно, но пусто. Беда, однако, в том, что каких-то три-четыре десятка лет назад и специалисты психологии, которые сталкивались с необходимостью изучать мозговые основы психической деятельности, знали немногим больше этого ученика. Они знали, что есть условные рефлексы, которые лежат в основе психической деятельности; существовали некоторые самые общие положения о том, как устроена память — вот, собственно и все...

Вот взгляните на эту карту мозга. Здесь локализована чувствительность, тут — место, которое управляет движением, недалеко — отдел, ведающий зрением⁷¹. Значит, каждый анализатор, будь он двигательным или тактильным, зрительным или слуховым, имеет свой центр в коре головного мозга. Почему же не подумать, что такой же аппарат имеют и сложные психологические процессы? Может быть, есть такие центры, ведающие не чувствительностью или движением, а речью, письмом, чтением, счетом? То есть сложные психические процессы так же точно локализованы в мозгу, как и простейшие.

Сегодня нам, психологам, такие мысли кажутся странными. Но, со стыдом должен сказать, многие физиологи и врачи до сих пор так думают. Их не смущает, насколько сложные понятия скрываются под словом «счет» или «речь», им не кажется нелепым, чтобы один какой-нибудь участок мозга взял на себя эту непосильную работу.

Однако такой подход — локализационистский — имеет свои основания. Сто десять лет назад в одну парижскую клинику привезли

больного с птояником на ноге. Он умер, и на вскрытии молодой анатом Поль Брока обнаружил, что у него размягчение — вот в этой области мозга — в задней трети нижней лобной извилины левого полушария. Брока посетила гениальная догадка: не связано ли это поражение мозга с расстройством психики? Дело в том, что больного доставили из психиатрической лечебницы, где он провел двадцать лет, на все вопросы отвечая лишь «та-та-та». Брока предположил, что месье Та-та (так звали больного между собой врачи) не говорил потому, что у него в мозгу был разрушен некий центр речи. Брока проверил свою догадку на нескольких подобных больных и пришел к выводу, что он нашел место этого центра. Когда он оказывался разрушенным, человек сохраняет способность управлять мышцами губ, языка, но он «забывает моторные, двигательные образы слов». Так говорил в своем докладе Брока в 1861 году. Через двенадцать лет немецкий психиатр Карл Вернике сделал другое наблюдение. У его больных поражение располагалось вот здесь, в задней трети верхней височной извилины того же левого полушария. У них картина наблюдалась обратная — они как раз говорили, даже слишком много, беспомощно как-то лопотали, но они не понимали обращенной к ним речи. И потому Вернике сделал предположение, что ему удалось нащупать «центр сенсорных образов слова» или, как он тогда выражался, «центр понятия слова».

За последующие «блистательные семидесятые» годы как ураганом нанесло столько открытий, что просто диву даешься. Различные Васко-де-Гамы нанесли на карту мозга центры письма, счета, чтения, ориентировки в пространстве. Все сложные формы психической деятельности получили каждая по своему центру. Эта идея узкого локализационизма полностью овладела умами. Создавались подробные карты, которые были основаны на обработке огромного материала наблюдений над различными ранениями мозга, недостатка в которых во время первой мировой войны не было. Эти карты хороши всем, за исключением лишь того, что они абсолютно неверны. Пользуясь ими, можно лишь заблудиться и одними заблуждениями до самого последнего времени была вымощена дорога к пониманию работы мозга. Слишком уж соблазнительно делать одно выдающееся открытие за другим, просто не хватает времени для скрупулезного анализа строгости научных выводов...

Выготского и Лурия не устраивала ни позиция узкого локализационизма, ни другое распространенное тогда представление о равнозначности всех отделов мозга. Согласно второй точке зрения характер дефекта, возникающего при мозговых поражениях определяется не местом поражения, а объемом поврежденного мозга. Выготский и Лурия считали, что высшие психические функции представляют со-

⁷⁰ Цитируется по магнитофонной записи лекции 1973 г.

⁷¹ В 60-х — 70-х годах прошлого века были определены участки мозга, несущие сенсорные и моторные функции.

бой сложные функциональные системы. Свои исследования, посвященные тому, как изменяются эти функции при очаговых поражениях, они начали в клинике нервных болезней в конце двадцатых годов.

К тому времени относится и исследование Выготского и Лурия по изучению движения у больных паркинсонизмом:

«Позволю себе привести пример из работ своего учителя, Льва Семеновича Выготского, которые он вел еще в двадцатые годы, — рассказывает Александр Романович*. — Тогда в нашей стране были часты случаи эпидемического энцефалита, при котором поражаются подкорковые узлы, а это в свою очередь ведет к паркинсонизму — болезни, сказывающейся в нарушении тонуса мышц. Выготский сделал поведение паркинсоников предметом специального исследования, которое дало неожиданные результаты. Известно, что в тяжелой запущенной форме паркинсонизм приводит к грубому нарушению автоматизированных движений: человек может пройти лишь два-три шага, а потом тонус мышц резко возрастает, начинается характерное дрожание, и всякое движение становится невозможным. Однако, как показали наблюдения, тот же самый больной без труда ходит по ступенькам. Если же разбросать по полу бумажные карточки, то он легко перешагивает через эти «модели» ступенек и перемещается по комнате, не встречая сложностей...»

«Эти ранние экспериментальные исследования вселяли оптимизм, но одновременно они показывали, как много нам надо учиться, если мы хотим взяться за изучение распада высших корковых функций, — вспоминал в своей научной автобиографии Александр Романович. — Мы решили взяться за изучение мозга и его функциональной организации и проводить главным образом клинические исследования вместо экспериментальных. Мы знали также, что успех нашей работы зависит от гораздо более глубокого понимания структуры высших психических функций, а эта линия исследования тогда еще только начиналась...»

В Харькове Александр Романович начал создавать новые методы психологического анализа последствий локальных поражений мозга, которые стали применяться им в дальнейшем в новой науке нейропсихологии. И эту работу он продолжал в Москве до конца своей жизни.

* * *

У Выготского и Лурия, которые мечтали о том, что в Харькове им удастся создать базу, где они смогут заниматься своими исследованиями по клинической психологии, не сложились отношения с руково-

дством Психоневрологической Академии. А ведь Лев Семенович, курсировавший два года между Москвой, Ленинградом и Харьковом, собирался переехать туда и стоял вопрос об обмене его московской комнаты, где жила вся семья, на квартиру в Харькове. Дочь Выготского — Гита Львовна рассказывала мне: «Дискуссии о переезде в Харьков у нас дома я помню. Дело в том, что на Украине тогда был жуткий голод и в газетах писали, что прямо на улицах умирают люди и лежат трупы. Родители обсуждали это, и я была очень напугана и кинулась к папе со словами: не надо, не надо туда ехать! А папа всегда говорил маме: там товарищи и нам надо туда переезжать». Но при сложившихся отношениях с руководством Академии ориентироваться на Харьков явно не стоило. И Александр Романович и Лев Семенович стали думать о том, как создать базу в Москве. А это было совсем не просто в атмосфере гонения, которому подвергалась культурно-историческая теория Выготского и Среднеазиатские экспедиции Лурия. Лев Семенович, страдающий прогрессирующим туберкулезом, был в подавленном настроении и не видел выхода из сложившейся ситуации. Но весной 1934 года директор ВИАМ (Всесоюзного института экспериментальной медицины) Николай Иванович Гращенков предложил ему возглавить новый Отдел клинической психологии. Весна тридцать четвертого года, несмотря на болезнь, стала для Льва Семеновича светлым периодом: он строил планы на будущее и подбирал сотрудников для своего Отдела. Но девятого мая он ушел в ВИАМ, там у него случилось горловое кровотечение, его привезли домой и больше он не поднялся. Умер Лев Семенович одиннадцатого июня 1934 года.

Александр Романович, закончив все Харьковские дела, возвращается в Москву в марте 1934 года. До этого, как мы видим из его письма, он курсировал между Москвой и Харьковом, проводя в Москве сначала десять, а потом двадцать дней в месяц. Он работает в МГИ (Медико-генетическом институте), где возглавляет лабораторию психологии и в ВИАМ, где у него лаборатория патопсихологии. Разбирая документы Александра Романовича, я нашла заполненную его рукой анкету, где сказано, что в МГИ он работает с октября 1933 года, а в ВИАМ с октября тридцать четвертого, т. е., ему дают там лабораторию уже после смерти Выготского.

Директором организованного в 1930 году Медико-Генетического Института с самого начала был Соломон Григорьевич Левит, высоко эрудированный ученый, создавший прекрасный научный центр, где применяя новейшие для того времени методы исследования, работало пятьдесят сотрудников. Исследования проводились на близнецах. Институту удалось собрать большой материал близнецовых пар и разносторонне изучать их; есть основание думать, что близнецовый

* Цитировано по К. Е. Левитину «Мимолетный узор», М., Прогресс, 1982.

материал МГИ был тогда одним из самых крупных в мире. Левит работал в контакте с мировой наукой, в институт приезжали такие крупные ученые как Меллер, Прайс и др.

При МГИ организовали и близнецовый детский сад, и Александр Романович с сотрудниками, а среди них была Морозова, входившая в «восьмерку» Выготского, Меренова и Михайлов (всего шесть человек) начали работать с маленькими близнецами. Наталия Григорьевна Морозова рассказывала мне, что в детском саду было десять пар однояйцовых близнецов, как две капли воды, похожих друг на друга и каждый раз психологи их спрашивали: «Ты Саша или Юра? Ты Аня или Катя?» Психологическая лаборатория изучала роль наследственных и внешних факторов в формировании и развитии различных психических процессов. Близнецов разделяли на две идентичные группы, при этом в каждую из них попадал один из пары, и обучение в группах велось разными методами... У нас сохранилось маленькое прямоугольное зеркальце — окошко, которое вставлялось в отверстие в стене комнаты, где играли дети. Папа рассказывал мне, что через него психологи могли «подглядывать», что делают близнецы без взрослых, как они играют и т. д. С одной стороны окошка была отражавшая поверхность, с другой — стекло, через которое смотрел наблюдатель. Папа, смеясь, рассказывал мне о случае, когда ребенок, рассердившись на своего близнеца, увидав свое отражение, плюнул на зеркальце, решивши, что перед ним стоит его брат. Эта маленькая хитрость напоминает мне приспособление для фотоаппарата, которое использовал папа в Средней Азии и позволявшее ему снимать то, что находится у него за спиной.

Но Александру Романовичу не суждено было продолжать работы по генетической психологии.

В тридцать шестом году начинается травля Левита и его направления. Наступают тяжелые времена для советских генетиков; в институте постоянно работают партийные и правительственные комиссии, проверяющие его работу, в прессе появляется обойма погромных статей: в журнале «Под знаменем марксизма» публикуется статья Кальмана «Черносотенный бред фашизма и наша медико-биологическая наука», статья в «Комсомольской правде» от 15 ноября 1936 года под названием «Против антинаучных враждебных теорий», статьи братьев Тур в газете «Известия» от 16 ноября и 10 декабря 1936 года. Приведу фрагмент из последней публикации братьев Тур: «...институт являл собой именно такое стоячее болото меньшевистствующего идеализма в науке, враждебных теорий, зазнайства, подхалимства и бесшабашного самовосхваления.. Эрудит Левит занимал лаборатории института и умы его сотрудников такими «гигантскими» проблемами, как генетика мраморной болезни и раннее поседение, а

сам пописывал статью, защищающую троцкистско-зиновьевского террориста Карева. С поистине кафедральным величием и академической миной Левит пытался на собрании скомпрометировать работу прекрасного советского ученого Лысенко^{*}, молодой ученый Пресняков, один из любимейших учеников Левита, выступил с гнусными расистскими откровениями насчет имбридинга, с фальшивой цифирью, почерпнутой не иначе как у Маркова второго и Пуришкевича. Если все эти антисоветские и антинаучные домыслы на языке Левита именуются генетикой, то, действительно, академик Лысенко в такой генетике не компетентен. Печальную доблесть компетенции в такой генетике мы оставляем целиком и полностью за профессором Левитом».

Сгустились тучи и над школой Выготского: в 9 номере журнала «Под знаменем марксизма» появляется статья, подписанная в конце буквами Г. Ф., под названием «О состоянии и задачах психологической науки в СССР (отчет о совещании психологов при редакции журнала «Под знаменем марксизма»)». «Другое психологическое направление, которое имеет хождение у нас и которого тов. Колбановский коснулся только вскользь, в то время как оно требует развернутой марксистской критики, — это направление Выготского — Лурия, — пишет Г. Ф., — эта школа, прикрываясь цитатами из классиков марксизма, на деле протаскивает немарксистские теории в советскую психологию. Эта школа до сих пор не получила надлежащей критики и разоблачения. Ее представители: Лурия (Медико-генетический институт), Леонтьев (Высший коммунистический институт просвещения), Занков (Экспериментальный дефектологический институт), Эльконин (Ленинградский педагогический институт) и др. — развивают большую активность в защите этой так называемой культурно-исторической теории...

Надо сказать, что проф. Лурия, будучи одним из представителей культурно-исторической теории, также не считал нужным раскритиковать на совещании свою ошибочную теоретическую концепцию. Как в своих работах, так и в своем выступлении на совещании, проф. Лурия при рассмотрении проблемы развития и обучения ребенка исходит из того, что знак является определяющим фактором в развитии психической деятельности ребенка...

ЦК ВКП(б) нашел нужным принять специальное постановление по идеологии от 1 июля 1936 года, которое усугубляло и без того тяжелое положение психологов. В нем, в частности, написано: «Раскритиковать в печати все вышедшие до сих пор теоретические книги теперешних идеологов». Эта цитата была вскоре взята в качестве эпиграфа к погромной брошюре Рудневой «Педологические извращения

^{*} Мрачная фигура в советской биологии...

Выготского». В это время в стране шли аресты и готовились политические процессы.

В упомянутой мной анкете Александра Романовича написано, что он ушел из МГИ и из ВИЭМ в декабре 1936 года. С января 1937 года он нигде не работает и переводится с заочного на очное отделение Первого Московского медицинского института. Чем объяснить этот поступок? Тем ли, что в это время он заканчивает медицинский институт, что ему предстоит сдать много экзаменов и отработать практические занятия в клиниках, или же сложившейся ситуацией и предвидением катастрофы. Я не могу ответить на этот вопрос с абсолютной определенностью. Он, конечно, не мог не увидеть грозящую ему беду, тем более, что после среднеазиатских экспедиций он уже был на волоске от ареста. И вместе с тем не так уж легко отказаться сразу от двух налаженных лабораторий только из-за того, что надо оканчивать медвуз.

Так или иначе, этот поступок Александра Романовича спас его. В январе 1937 года был арестован Левит, затем психологи Меренова и Михайлов. Как мне говорили бывшие сотрудники МГИ, Мереновой инкриминировали контакты с иностранцами. Мне приходит следующее сравнение: во время бомбежки человек стоял под деревом, затем он отошел в сторону, упала бомба и на месте дерева осталась только воронка от бомбы. Александр Романович, который имел много друзей-иностранцев, публиковал свои работы за границей, входил в редколлегию двух американских психологических журналов и, кроме того, был обвинен в расизме и распространении буржуазных идей, не мог не привлечь к себе внимания.

Я знаю, что многие люди спаслись от репрессий только благодаря тому, что перешли на другую (незаметную) работу или уехали из Москвы.

Александр Романович учится в медицинском институте и оформляет докторскую диссертацию по материалам, сведенным в книге «Природа человеческого конфликта», и защищает ее в институте психологии в Тбилиси.

Окончив медицинский институт, Александр Романович решает, что он будет заниматься только клинической психологией. Работа в клинике — это относительно безопасная ниша, она далека от «горячих точек»: и от генетики, и от общей психологии. Кроме того, задуманные им клинические исследования требуют полной отдачи сил и времени.

Летом 1937 года Александр Романович оканчивает медицинский институт и получает диплом с отличием. Наконец-то сбылась мечта Романа Альбертовича! Наконец-то его сын получил «настоящую» специальность! Он дарит Александру Романовичу в день рождения свою фотографию с надписью: «Моему Шуре в память о тридцати-

пятилетия и получении высокого звания врача. Твой папа. 16 июля 1937 года». Роман Альбертович сфотографирован в шляпе и кашне и, как всегда, у него вид уверенного в себе человека, который благодаря себе добился многого. Он — в зените своей карьеры. С 1930 года он работает в Москве, в 1932 году по его инициативе организуется Центральный Институт для усовершенствования врачей — ЦИУ, Роман Альбертович — декан его Терапевтического факультета, на базе Боткинской больницы он создает новую гастроэнтерологическую клинику, организует медицинские журналы, пишет книги и читает блестящие лекции. В семью еще не пришла беда, но она уже стоит на пороге... В ноябре вслед за мужем, наркомом, арестовывают Лидию Романовну. Несколько месяцев она проводит в тюрьме, а затем попадает в лагерь; ей повезло: в лагере она работает прачкой, а не на лесоповале... Роман Альбертович делает все возможное и невозможное, чтобы Люсе заменили лагерь ссылкой. Он — кремлевский врач, среди его пациентов — генеральный прокурор Вышинский и Роман Альбертович умоляет его о помощи, и через год Лидии Романовне лагерь заменяют ссылкой.

Тридцать седьмой год мог стать роковым и для Александра Романовича, но он вовремя ушел с работы, стал студентом, а после окончания медвуза — незаметным ординатором в клинике, где оставался в этой должности в течение страшных лет террора.

Глава 6

Женитьба моих родителей. Письма жене из Харькова

Мои родители познакомились летом тридцатого года в Тиберде на Кавказе. Мама говорила мне, что вечерами у костра папа рассказывал о своей поездке в Америку, и ей он казался тогда очень серьезным. Через три года в начале мая они случайно встретились на Кропоткинской около метро и вскоре поженились. Я не знаю, как сложилась бы папина жизнь без мамы. Встреча их была редкой удачей. В то время после разгрома среднеазиатских экспедиций он переживал тяжелый душевный кризис. Он вынужден был прекратить интереснейшие исследования в старом направлении и большую часть времени работал в Харькове. Мама помогла папе выстоять в эти тяжелые годы и пережить другие трудные времена. Они прожили вместе сорок четыре года и умерли в один год...

Папа всегда повторял мне: «Лучше нашей мамки нет!» Меня это даже немного раздражало: сколько раз можно говорить одно и то же! Но теперь я понимаю, что он был прав. Мама создала теплый дом, который обогревал не только нас, но и многих, очень многих людей. Папины сотрудники и ученики, мамини друзья и сотрудники, мои школьные и университетские друзья любили наш дом.

И мама с Олей с радостью принимали и в Москве и на даче гостей, сколько бы их не приехало. Постоянно у нас на даче кто-нибудь жил. Папины ученики писали здесь свои диссертации, мамини сотрудники целой лабораторией приезжали кататься на лыжах, а летом купаться и гулять в лесу. Мои подруги часто проводили с нами лето. А один раз, когда я кончила школу, у нас на даче собрался весь класс.

Моя мама — Лана Пименовна Линчина родилась в 1904 году в городе Рославле. Ее отец занимался лесоподрядками, а дед был мельником. В семье из четверых детей выжило двое. Мамини детство прошло в лесах на Смоленщине. Она знала и любила лес, любила землю и умела на ней работать. Семья рано осталась без отца. Мама на руках с больной матерью сумела получить высшее образование; она окончила естественное отделение Московского Университета и в то время, когда она встретила с папой, работала в эндокринологической лаборатории.

Передо мной папка с письмами; в ней переписка моих родителей тридцать третьего — тридцать четвертого года, когда мама жила в Москве, а папа в Харькове.

Мамини и папины письма разложены по датам. Они хранились много десятилетий в папином кабинете в маленьком шкафу, на котором стоял бюст Шекспира. В последние месяцы жизни, когда не стало папы, мама разбирая его бумаги, нашла эти письма. После мамини смерти я прочитала их необыкновенную светлую переписку. Я многое поняла, многое представила себе, будто пережила сама. Какие чудесные письма! Одно из них написано на маленьком кусочке бересты с коричневыми прожилками, в другом — нарисовано узбекское сюзанае, которое потом много лет висело в моей комнате. Эти письма принадлежат моим родителям, они не для посторонних людей и никто не должен вторгаться в их мир. Я позволю себе привести здесь лишь отдельные цитаты.

Харьков, 18.V.33

...Хорошо ли встретил меня Харьков? Американцы говорят «So so» — когда им нечего сказать ни плохого, ни хорошего. Мне хорошо, что я выбрался из московского ничегонеделания, напряжения, не приносившего пользы, и забот, которые не могут иметь плодов; меня мало радуют харьковские перспективы, и я продолжаю думать, что маленькая скромная работа в Москве года на два-три больше подходила бы для меня, чем большая и напряженная без меры перспектива Харькова.

Мой афазик* счастлив и сделает таким же и меня, как только я примусь за него. Сейчас я должен кончать курс, и с большим аффектом сажусь за эмоции, которые я должен изложить студентам, торопящимся кончать ВУЗ и мало интересующимися и моим аффектом и предлагаемыми им эмоциями...

Харьков, 24.V.33

...У нас весна, запоздалая, но сочная. Вечером я выхожу на мой балкон, кругом огни, огни, волны огней, небо влажное (все идет дожди) с обрывками облаков, весна дышит каким-то мокрым, глубоким, певчим дыханием... Сегодня выходной день, я решил ехать смотреть траву, березы (у них только что появились листья — маленькие сморщенные и еще какие-то желтые, цвета увядающих листьев: знаете — ведь у младенцев бывают такие сморщенные старушечьи лица, здесь какое-то страшное смыкание начал и концов); здесь хоро-

* Афазик — больной с нарушением речи.

ший парк, почти лес; мокрые скамьи, потом они кончаются, идет просто трава, тоже мокрая, изумительные капитаны с свечками (таких нет в Москве), сочная грязь дорожек, и небо как будто обложенное кругом ватой, смоченной в борном растворе. Представляете такую картину? Погода глупая: то дождь, то солнце, а когда это на час проходит — устанавливается странное какое-то перемирие, как будто на простуженный день надевают согревающий компресс...

Посылаю книжечку. Знаете — по совести буду рад, когда адрес мой харьковский зачеркну ко всем чертям, перебравшись в Москву.

Харьков 28. V. 33

...Случай с театром* — all right, он показывает только, что серьезная и почтенная сенhora сохранила молодость и не потеряла способности к тому свежему озорству, которое с годами тускнеет и не удерживается. Об этичности судить не берусь, да и суть-то не в этом, помните только, что много ярких вещей было создано на таком озорстве: и разве «Слышишь, Москва» и «Мудрец» Эйзенштейна от 22-го года не были плодом такого же хорошего задора?..

Я рад, что Вы веселы и бодры, Лана; это здорово хорошо; иногда я чуточку завидую Вам — в другие минуты мне кажется, что если я и постарел сильно за эти 2-3 года, то дальше я вернусь в прежние пути и задор мне останется не чужд..

4. VI. 33

Стоит холод, Лана, сентябрьский холод в июне. Деревья дрожат и не знают, что им делать с своими набухшими листьями. Люди жмутся, одевают свитеры и лезут под ватные одеяла. Кирпичи домов, железо крыш, перила лестниц пропитаны влагой дождя и сумерками холода. Сентябрь в июне.

Писем от Вас нет.

Ал. А.

26. VI. 33

...Я кончаю расправаться с моими афазиками, стараюсь убедить почтенных старичков, что брат отца — совсем другое, чем отец брата, что «черный» это вовсе не «менее темный»... и т. д.

Сейчас наплав дико интересного материала: агнозии** и аграфии***, послеродовые психозы с афазиями, и бог ты мой, что еще, — мы захлебываемся в редчайшем материале.

* Поход в театр без билета.

** Агнозия — нарушение восприятия.

*** Аграфия — нарушение письма.

Я весь увяз в медицине: сижу с Выготским над патофизиологией, — и конечно вспоминаю Вас. Приготовьте мне учебников физиологии; я буду в Москве 21-го, наверное, и постараюсь утром заниматься Вашей дисциплиной (надо обновить, я совсем забыл ее), а вечером — сдавать Вам зачеты.

Не будьте слишком строгим экзаменатором...

7. VII. 33

вечер

...Сегодня я бешено зол, с утра до вечера я сидел над химией, — и человек, которому я должен был ее сдать, уехал, не повидавшись со мной. Три дня занятий с утра и до ночи пропали зря — химию придется отложить на осень. Сейчас — сажусь за другое, и должен работать уйму эти дни...

Харьков 9. VII. 1933.

...Сегодня я говорил с Затонской. Я сказал, что новые обстоятельства, чисто личного порядка, связывают меня с Москвой и что я должен прямо сказать ей, что не намерен оставаться в Харькове надолго. Короче — мы покончили на том, что будущую зиму я даю Харькову не 20, а 15 дней в месяц. Это много, Лана — но посчитай не те 15 дней в месяц, что я буду отдавать Харькову, а те 15, что я буду в Москве. Главное — это ясный шаг к уходу, и — пусть это будет последний год кочевой жизни! А все-таки пять лишних дней я получил, а это — то, что мне нужно как фундамент, а на нем я хочу строить подлинную настоящую жизнь.

Лана, если б ты знала, как я мечтаю. Я мечтаю о квартире пусть в каком-нибудь Соколе, я мысленно развешиваю мои сюзаны в комнате (кстати: я получил на днях одно посылкой из Самарканда, такое как у нас в столовой*, помнишь? Теперь у меня есть две таких больших + еще несколько меньших)...

Харьков 9. VII. 33

вечер

...Я приготовил тебе маленький подарок: мне хочется подарить тебе маленькое, но очень тонкое шелковое сюзаны, одно из тех, что мне очень нравятся, пожалуй, то, что я люблю больше остальных.

Когда я решил это, мне стало сразу легко и приятно: как будто сразу уголок от тебя стал в моей комнате. Оно висит у меня в углу, и

* В квартире Романа Альбертовича, где после 29-го года жил Александр Романович.

я теперь смотрю на него и постоянно, каждую минуту, каждый миг чувствую и вспоминаю мою Лану...

Харьков 10. VII. 1933.

4 1/2 ч. утра

...Я встал рано, перед рассветом, чтоб написать тебе эти строки. Ты возвращаешь мне жизнь, Лана!

Предутреннее небо бледно, и луна еще не ушла с побелевшего горизонта; голоса где-то слышатся отрывисто и мутно; муха пролетела и снова все тихо; предутренний воздух чист — и я встал, чтоб коснуться им твоего сердца. Ты возвращаешь мне жизнь, Лана!

Книги лежат на столе, разбросанные с вечера; где-то прошумел автомобиль — запоздавший или ранний? Лампа согнулась на столе — она не нужна теперь; солнце еще не взошло, и только воробьи чирикают свои незадачивные трели...

Сон отступил, как туман перед утром; в сердце нет больше тяжести и боли; мысли светлы и в них нет сомнений, вон уж солнце окрасило верхушки зданий, а облака стали красные от восхода.

Я встал рано, перед утренним светом и пишу тебе, — потому что ты даешь мне счастье, Лана!

Ал.

Харьков 11. VII. 1933

...Я много думаю о нашем будущем, Лана. Мне представляется оно таким светлым. Я снова хочу его сколачивать, строить. Мне представляются картины жизни, полной близости и тепла, глубокого и хорошего понимания друг друга в большой любви, которая идет через всю жизнь, ровно, ярко, напряженно и так спокойно! Ты чувствуешь, сколько противоречий — уместилось у меня в одной строчке!

Что это — фантазии, Лана, может быть, так не бывает и я только обволакиваю себя мечтой? Или действительно можно строить жизнь так, чтоб она была полна счастья и чтоб не год, не два, а долго, страшно долго находить друг в друге всю глубину радости и поддержку?..

...Знаешь — я раньше вставал каждое утро с каким-то тяжелым грузом. Сейчас — уже с первых минут меня захватывает какая-то волна бодрости, радости, свежести...

Харьков 12. VII. 33.

...Сейчас я после целого дня работы. За сегодняшний день написал почти целый печатный лист — этого уже со мной давно не бывало! — и кажется написал хорошо...

Харьков 13. VII. 1933

10 ч. утра

...Как хорошо, что ты получила комнату, как я страшно рад этому! Для тебя это решает многие вопросы, и правда же — я не знаю, кто больше радуется этому — ты или я...

Мне очень хочется приехать 15-го, ты сама знаешь как. Но из этого ничего не выйдет; я целыми днями сижу над фармакологией (хочу завтра сдать и заполнен наркотиками, алкалоидами, паралитическими ядами и черт знает чем) — и пишу отчеты, которые надо издавать (мы сдаем в печать сборник сектора, — и мне начинает казаться, что этот маленький бюллетень будет событием в нашем деле, ты сильно помогла мне в этом деле, Лана)...

Харьков

ночь на 14-ое июля 1933

...Я не узнаю себя за последние дни; я действительно обновился, родился вновь, и другие видят это. Ты знаешь — много месяцев я не чувствовал жизни; она имела мало цены для меня, — я не хочу вспоминать сейчас об этом.

И вот все обновилось. Жизнь получила для меня такую ценность, какой раньше никогда не имела...

Харьков — Москва

вагон 15. VII-33.

...Сегодня водораздел двух эпох. Сегодняшний вечер отделяет меня навсегда от моей прежней жизни. Сегодня у меня умирает старое, — и, Боже, как я бесконечно счастлив этим!

Завтра — начало новых путей, не новая страница и не глава — новая часть моей жизни. Мое летоисчисление я буду считать с завтрашнего дня. и не странно ли, что это совпадает с днем, когда мне исполняется тридцать один год?!

Я никогда не ощущал такого покоя и такого мира во мне. Мира так наполненного радостью, нежностью и такой бесконечно полной, глубокой и безбрежной уверенностью в будущем!..

15. IX. 33

7-15 вечера

...Маленькая просьба к тебе: пожалуйста, вышли мне спешной почтой ту тетрадку с записями, которую ты подарила мне на даче. Она лежит в левом ящике стола в тумбе (средний выдвижной ящик!). Представь, я забыл ее и вспомнил тотчас же, как только растался с тобой.

Сейчас мы только отъехали от Москвы, и я пользуюсь маленькой остановкой, чтобы писать тебе, — и сел заниматься, подбирать материалы к лекции и чувствую себя как в кабинете!..

Харьков 16. IX. 33

...Я приехал в Харьков благополучно и сразу попал в нашу милую и приятную «домашнюю» обстановку. В квартире было все в порядке, на столе стояли цветы, маленький букет и у меня в комнате, — ты видишь, что меня приняли тепло и хорошо. Радости по поводу моей судьбы не было конца, Тамара Осиповна, Саша * и другие шлют тебе самые теплые приветы.

Занятные были две встречи:

№ 1. Бассин **. Разговор:

Я: Вот хорошо, что я встретил Вас снова! А я уж заочно познакомил Вас с своей женой.

Он: Так значит Вы... же... же...

Я: Вы хотите сказать «женится»?

Он: Да, я только все время путаю «жениться» и «выйти замуж»...

№ 2. Федоровна ***.

Я: Федоровна, Вы, наверное, скучали обо мне?

Она: Да, очень скучала! Все ждала... чтоб Вы продуктов привезли, а то здесь подохнешь без них (все — в мрачных тонах!)

Я: А теперь довольны?!

Она: Очень! Увидела сыр, хотела чай пить, а потом даже кусок съела (с чувством:) вкусный какой!

Итак — мы решили отпраздновать мою судьбу — и дважды: раз до тебя, раз после твоего приезда.

Мне приятно, что я приехал куда-то, где уже есть налаженный (хоть как-то!) научный дом, где ведется работа, и постараюсь приняться за нее с большим напряжением.

Все-таки мотовня без дела с московской неразберихой с службами и т.п. надоела! Сейчас примусь за работу как следует!

Сразу приехав читал лекцию, теперь должен организовать курс, начать работу в Секторе и т.п. Сейчас пойду к Леонтьеву и Лебединскому ****, еще не видел их...

Харьков 17. IX. 33

...Светит солнце, на письменном столе тени от бумаги и от рук, ос-

* Тамара Осиповна и Александр Владимирович Запорожец.

** Ф.В. Бассин — физиолог.

*** Федоровна — домработница.

**** М.С. Лебединский — невропатолог.

тальное залито светлыми полосами; с террасы через окно льются лучи, небо чистое, в маленьких красивых облачках, весело, бодро!

Сегодня встал рано, отправился на Сабурку и три часа подряд готовил с Бассиным курс; работу в клинике еще не начинал, пусть подождет. Только что ввалился домой тяжело нагруженный, уехал с Сабурки раньше времени и случайно по дороге купил два арбуза и полный портфель кукурузы... Был в Госбанке: перевод на 100 долларов * = 135 торгсиновских рублей... Получу его послезавтра и, надеюсь, что этот фонд останется нам для квартиры, и с ним мы кое-что сделаем...

Харьков 18. IX. 33

...Вчера в твою честь было устроено страшное торжество. Была куплена белая мука из Торгсина ** и устроены блины. Собралась самая избранная публика.

А.Н. <Леонтьев> пил вино и радовался, что от нашего пятого этажа крыша так близко; он и его лаборантка Евгения Александровна Стрелкова показывали высший класс балета; Запорожцы устроили выставку посвященную отмечаемому событию, краткий отчет о которой они тебе посылают.

В общем ребята были страшно довольны событием, которое дало основание к такому торжеству, и решили повторить это торжество после твоего приезда в Харьков...

...загрузка страшная:

1) лекции, 2) химия, 3) корректура Коффки, 4) организационная и исследовательская работа.

Прямо не знаю, как справлюсь, а главное — ведь это все надо вести на хорошем качестве!

И еще — чудесные погоды!! Сейчас вырываюсь на два часа в лесопарк с Запорожцами, а потом — опять за работу!!

Харьков 22. IX. 33 11

1/2 вечера

...Сегодня был чудесный день — голубой, солнечный и теплый. Утро после утренних занятий (я встаю в 7 1/2 и занимаюсь до 9 1/2) я был в клинике, смотрел афазика-немца (на вопрос: сколько у Вас детей? Он отвечает: Fünf-stück!), работал с Бассиным над планировкой темы и по дороге обратно послал тебе открытку с видом Госпрома. Вечером я урвал время от химии (пока что я все работы по сектору

* Часть гонорара за книгу «The Nature of Human Conflicts», изданную в 1932 году в США.

** Магазин, где продавали продукты на валюту.

перенес туда — от 10 до 4-х), у меня был профессор Цейтлин, наш новый хирург и вице-президент Академии, милый человек, знакомый мне еще по Москве. Мы приятно провели с ним и его женой вечер, — и вот я снова за белком, биуретовыми реакциями и т.д. Я должен сдать химию еще в этот приезд, чтобы освободить себе время для дальнейшей работы. А дальше план: октябрь — микробиология + начало нервной клиники, зима — вся теория + нервная, психиатрическая и хирургическая клиника. Если удастся устроить — попробую получить разрешение отработать терапевтическую клинику в Москве и сделаю это за зиму — за приезды. Хочу во что бы то ни стало сдвинуть Медвуз как следует...

Харьков 25. IX. 33

10 ч. вечера

...Сегодня утром я отправил тебе маленькое беглое письмо, потому что я торопился на лекцию — она была назначена на 8-30 и мне пришлось уже в 7-45 выехать из дому. Сегодня читал студентам лекцию о филогенезе форм поведения. Еще летом С...^{*} навел меня на мысль использовать соотношение между структурой нервной системы и поведением. Я положил это в основу лекции, дал диапозитивы, фильмы и т.д. — и получилось очень шикарно, лекция была наполнена свежим материалом, понятным студенту-медику, и они очень довольны. Вчера я весь день для этой лекции сидел над зоопсихологией — медузами, гидрами и т.п.

...Как всегда в последние дни — встал в 7 час. — и опять эта проклятая химия! Я уже дважды сдавал ее... во сне, второй раз сдал! — и теперь остается только сдать на яву...

Харьков 27. IX. 33

утро

...Меня очень расстроило твоё вчерашнее письмо: у тебя болит голова, поднимается температура, ты лежишь, да в довершение всего чувствуешь себя одинокой... ну что же это такое? И вероятно никому не показываешься! Надо чтоб отец выяснил, что у тебя такое и почему вдруг эти скачки температуры? Быть может, надо что-нибудь предпринять?..

Я исполняю мой договор с тобой и работаю выше сил! И мне кажется — дело идет хорошо, жизнь в Секторе наладилась и я надеюсь, что выйдет дело...

^{*} С. — кто обозначен этим инициалом не выяснено.

Харьков 17. XI. 33

...Я вчера был вчера у Гольда. Он принял меня по-деловому, постановление его не смущает и все предложения остаются прежними; он и сейчас настаивает на переезде поскорее. Чтоб оградить меня и себя он предлагает написать письмо в чем я признаю и в чем не признаю ошибки и т.д., это даст возможность спокойно работать и, как он говорит, застрахует его. All right, посмотрим. Во всяком случае здесь нет никаких сдвигов в худую сторону, и я почувствовал себя снова в рабочей обстановке.

Степанова очень усиленно работает по квартире; она добилась поддержки райкома и сегодня мы отослали заявление в Дом Специалистов. На днях будет распределение площади и она надеется на успех; я на успех особенно не надеюсь и поэтому сейчас иду к Гребенчику.»

Однако из письма, написанного три месяца спустя, видно, что Александр Романович решил уехать из Харькова.

«Харьков 13. II. 34

...Харьков встретил меня ярким — почти весенним солнцем, и, как следовало ожидать — дикими неприятностями. Только что был у Гольда; он даже не захотел со мной говорить, — заявил, что не уполномочен говорить со мной о моем освобождении, что он знает, что не исполнил договора, но из-за одного-двух дней нельзя срывать дело (!!), что учреждение не может считаться с капризами (!!).

...Вот и положение. Мое решение: срочно подготовить все к передаче (т.е. завершить все, какие можно, дела) и все-таки уехать, очевидно, не достигнув с ним никакого соглашения.

К тебе большая просьба: 1) тотчас же поезжай к А.С. <Выготскому> и посоветуйся, как, по его мнению, быть, 2) отвези это письмо Левиту, лучше даже домой, и поговори с ним о том, что твоё состояние тяжелое и меня вызывают в Москву.

Поговори и с папашей — как его совет; трудное здесь то, что даже не намечается путей ни к какому компромиссу с их стороны и мне придется уехать с конфликтом и объявлением меня дезертиром. Что можно сделать, чтоб облегчить это?..

14. II. 1934

...Вчера отправил тебе письмо с Лебединским, ты узнала от него, как хамски принял меня Гольд. Вчера вечером говорил с Рохиным — он

^{*} Вероятно, имеется в виду постановление комиссии МКК РКИ по Среднеазиатским экспедициям.

назначен директором сектора. Его ответ: он в мое дело вмешиваться не будет, есть постановление о том, чтоб меня задержать; «поступайте как знаете, идите на конфликт, Академия Вас не уступит». тут же много хороших слов о том, что меня недооценивали и т.п.

Вывод ясен: я пойду на конфликт. Отсюда — план: я концентрированно в 5-6 дней кончаю мой курс (сосредоточив сразу все лекции), чтобы никто не мог сказать, что я сорвал занятия, а затем сразу же выезжаю, оставив им достаточно определенное заявление. Видимо, разговаривать с ними придется Левиту, так что его позиция здесь важна, и я хотел бы, чтобы он согласовал дело, где нужно. Во всяком случае — путей других нет. Рохлин понимает меня и заявляет, что я «во многом прав», но защищает интересы учреждения.

All right, я кончаю все, стараюсь не оставлять хвостов и действительно закончить дела, — пусть они делают, что хотят.

Харьков 16. II. 1934

...Вчера думал захворать гриппом, но принял салипирина и решил, что лучше хворать не надо, а поэтому продолжаю мою работу. Каждый день у меня лекции о мышлении (студенты слушали очень здорово); сегодня читаю лекцию об эмоциях, 19-го повторяю ее; а 20-го читаю последнюю лекцию. Одновременно пишу по каждой лекции конспект, чтобы вчистую и наконец разделаться совершенно с этими пенатами. Ты понимаешь, конечно, что при таких лекционных темпах я не могу посещать клиники; но мне кажется, что сейчас важнее скорее разделаться с Харьковом, чтоб было меньше оснований пытаться опорочить меня и показать, что я «бросил работу», зачеты я уже после закончу! Все-таки попытаюсь 2-3 дня позаниматься и сдать гигиену (если этот дурак не будет меня гонять).

Кроме лекций я нигде не бываю, никого не вижу...

17. II. 34.

...Я решил действовать, как уже писал тебе: закончить целиком курс, подготовить к печати работы и уехать, оставив заявление о том, что все будет сдано в окончательном виде. Я думаю, что сюда придется приехать максимум еще на один раз — для редактирования работ и зачетов.

Сейчас «с горя» сел за гигиену, читаю об устройстве клозетов и отоплений (наука для дураков!!) и хочу через два дня сдать...

Глава 7

Начало занятий нейропсихологией. Я становлюсь морской свинкой

Сразу после окончания медицинского института Александр Романович обратился к крупному нейрохирургу Н.Н. Бурденко, возглавлявшему Институт нейрохирургии, с просьбой принять его в ординатуру. Его план заключался в том, чтобы работать в качестве практикующего невролога и одновременно разрабатывать психологические методы диагностики локальных поражений мозга. Бурденко, считавший, что не лишне иметь в ординатуре профессора психологии, зачислил Лурия в штат института.

Два года, которые Александр Романович провел в качестве ординатора в Институте нейрохирургии, были, по его мнению, наиболее плодотворными во всей его жизни. У него не было сотрудников и всю работу он проводил один. Именно в этот период Александр Романович начал создавать собственный подход к психологии локальных поражений мозга.

В 1939 году он перешел в неврологическую клинику Института экспериментальной медицины, которая позднее стала Институтом неврологии и возглавил там лабораторию экспериментальной психологии. Много лет спустя он понял, что этот переход был ошибкой: полезнее было оставаться в рассчитанном на триста мест Институте нейрохирургии, исследуя больных, чьи локальные поражения мозга верифицировались операциями или аутопсией.

Материал нейрохирургической клиники, сделавшей к этому времени значительные успехи, позволил ближе подойти к анализу тех изменений высших психических функций, которые наступали при очаговых поражениях мозга. Внимательный анализ верифицированных случаев очаговых поражений у больных, проходивших через нейрохирургическое вмешательство, показал всю сложность и многообразие этих нарушений и дал возможность подойти к вопросу о корковых механизмах, лежащих в основе различных форм нарушения речи.

Александр Романович увидел, что он должен пересмотреть основную стиль своих исследований. Обычно ученый-экспериментатор перед тем, как приступить к экспериментальной работе, определяет проблему, строит гипотезу и выбирает методы проверки этой гипотезы. В клинической работе отправным пунктом является не четко

сформулированная проблема, а неведанный комплекс проблем — сам больной. Исследователь, работающий в клинике, начинает с тщательного наблюдения больного с целью обнаружения решающих факторов; при этом он не имеет права игнорировать какие-либо данные, которые с первого взгляда кажутся ему незначительными, в дальнейшем они могут оказаться существенными. На каком-то этапе перед исследователем начинают вырисовываться туманные контуры первой гипотезы решения этой проблемы. Только после того, как он собрал достаточное количество сходных симптомов, которые образуют вместе единый «синдром», исследователь получает право считать, что его гипотеза относительно зоны поражения мозга доказана или отвергнута. Процедура и логика таких исследований сильно отличается от стиля экспериментальной работы, принятого среди психологов. Александр Романович любил сравнивать характер своих исследований с работой детектива.

О задачах, стоявших перед нейропсихологией при ее зарождении, и о ее насущной необходимости для медицины Александр Романович рассказывает:

«Почему эта область развилась? В науке идеи не возникают по желанию — надо, чтобы появились некоторые настоятельные потребности. Развитие хирургии, которое позволило ей стать нейрохирургией и делать операции на мозге потребовало быстро и точно сказать: в какой именно точке мозга больного требуется вмешательство. Если вы точно и своевременно направите руку хирурга, больного можно спасти. Если вы замешкаетесь со своим диагнозом или ошибетесь на два-три сантиметра, то больной умрет. Возникла такая практическая задача: ранняя и точная топическая, то есть локальная диагностика нарушений в мозге, а ими может быть воспалительный процесс, опухоль, аневризмы, травмы, которые не видны глазу врача.

Казалось бы, есть простой путь — пойдите к невропатологу, он вам все скажет... Вы приходите к невропатологу, что он с вами делает? Во-первых, он берет иголку и начинает вас ею укалывать — одинаковая или разная у вас чувствительность справа и слева, иногда он рисует у вас на руке какую-нибудь фигуру и просит угадать, что именно. Он исследует кожную чувствительность. Потом он дает вам два пальца — на большее обычно невропатолог не идет, — чтобы вы их сжимали изо всех сил, сперва одной рукой, потом другой. Если скажем, правая рука хуже чувствует да еще и хуже жмет — вероятно, пострадало левое полушарие — и наоборот. Невропатолог проверяет моторные и сенсорные области коры и их пути. И все рефлексы — коленный, брюшной, многие другие — они тоже говорят ему лишь о том, какое полушарие пострадало. А где — неизвестно — в коре, в подкорковых узлах или в проводящих путях — об этом про-

ба ничего еще не говорит. Потом невропатолог устанавливает, каково у вас поле зрения — где вы видите, а где — нет, анализирует зрительную зону. Вот и все, чем он располагает. Но ведь это одна четверть коры. А другие зоны — немые, они не умеют ответить на вопрос, который им предлагают, хотя они и связаны с гораздо более сложными функциями, выполняемыми мозгом.

Тогда, быть может, рентгенолог сумеет увидеть, все ли в них в порядке. К сожалению, и он часто бессилен, потому что консистенция опухоли такая же сметанообразная, как и вещества мозга»^{*}.

Эту лекцию Александр Романович читал шуточно и артистично, и в напечатанном виде она несколько проигрывает. Да поймут его правильно врачи, работающие в современной нейрохирургии! Сейчас у них на вооружении такое мощное средство исследования, как компьютерная томография, они используют электроэнцефалографию, ангиографию и другие современные методы диагностики, на помощь которых, идя на операцию, в первую очередь, ориентируется хирург. Александр Романович рассказывает о тридцатых годах, когда нейрохирургия располагала только неврологическим и рентгенологическим исследованием...

Послушаем, что говорит далее Александр Романович:

«Остается один путь — найти методы поведенческие, как у невропатолога, которые позволили бы уловить нарушения в остальных участках мозга. А что же это за зоны, которые никакой симптоматики не дают — ни сенсорной, ни двигательной, ни рефлекторной? Это как раз специфически человеческие образования мозга, те, которыми человек отличается даже от обезьяны, не говоря уже о кошках и крысах. В процессе эволюции над первичными зонами надстроились вторичные и третичные зоны... Лобные доли занимают у человека около тридцати процентов объема всех полушарий. Но никаких сенсорных, никаких моторных функций они не несут и, следовательно, невропатолог их «не чувствует». Долгое время вообще считалось, что без них можно обойтись, что это вообще роскошь природы...

Чтобы уловить неполадки в этих зонах, надо учесть не единицы рефлексов, а единицы поведения сложной организации деятельности. А этим занимается не физиология, а психология, ей и предстояло выработать приемы, чтобы уловить по изменившемуся поведению больного нарушения в ранее «немых» отделах коры. Тогда возникающая новая наука — нейропсихология станет помощницей неврологии и нейрохирургии, точно указывая место мозговых поражений, и наоборот — сами эти локальные поражения станут материалом, который поможет узнать как работает мозг.»

^{*} Запись лекции, прочитанной 19 октября 1973 года в Институте нейрохирургии.

В период с 1937 по 1941 год Александр Романович изучил три формы речевых расстройств — афазий. Он уточнил объяснения, которые давали Вернике и Брока открытым им формам афазий. От простого описания, как это делали ученые до него, он перешел к анализу факторов, которые лежат в основе каждой формы афазии. За исследования сенсорной афазии (афазии, описанной Вернике) он получил степень доктора медицинских наук.

* * *

Двадцать первого июня тридцать восьмого года в семье рождается долгожданный ребенок. Мама из суеверия не принесла заранее кроватку и коляску, которые купить нелегко, и девочку устраивают в большой и неглубокой бельевой корзине, сплетенной из прутьев. Александр Романович и дома остается исследователем; с первых дней он ведет психологические наблюдения, которые записывает в толстой тетради.

У девочки еще нет имени; на первом листе тетради написано «Записки о Бимке» <сокращение от «любимка»>, потом на обложке появляется новое название «Елка», но это было позже, когда ее по желанию Романа Альбертовича назвали Еленой.

Сначала записи в дневнике эмоционально не окрашены и носят спокойный характер наблюдения над посторонним объектом:

«...Ее принесли домой 29 июня, восьмью днями от роду.

1. 29. VI. Аффекты.

Ее аффекты совершенно необобщены. Ее плач может продолжаться несколько секунд и может замолкнуть без всяких видимых последствий. Удивительно, как диффузны и необобщены аффекты; трудно сказать, что они собой представляют. Создается впечатление, что аффекты должны как-то сложиться в систему, прежде чем достигнуть дифференцированного вида и что наши развитые и дифференцированные аффекты (в отличие от примитивных) также организованы какой-то предметной системой, как звуки организованы системой языка.

2. 30. VI-5. VII. Рот.

Она ищет ртом уже с первого дня приезда домой. Эти поиски ртом очень четки, движения вполне координированы и похожи на те движения носом, которые видны у ищущей собаки. Конечно — они еще совершенно не координированы предметом; она ищет, поводя ртом в стороны, скривив и раскрыв его.

Каждый предмет, прикоснувшийся к губам, захватывается, никакой дифференциации предметов еще нет; рот раскрывается на всякое раздражение. Это еще — полная непредметность, предельное аффективное обобщение.

Интересно, что движения головы целиком организуются ртом; рот ведет, за ним следуют движения головы. Остальное еще не координировано ртом; глаза не следуют за ним, они еще автономны.

Прикосновение к щеке ведет сразу к движению рта и головы в соответствующую сторону. (Наблюдения Пиаже * верны).

3. 30. VI-5. VII. Ситуация кормления.

Ее не приучали к рукам и не подходили к ней на крик. Однако, стало ее в первый раз взять на руки во время крика, и она тотчас же успокоилась и раскрыла рот.

Это средство оказалось даже сильнее, чем прикосновение каким-нибудь предметом ко рту.

Очевидно — именно потому, что ее обобщение — это еще обобщение не вещей, а ситуаций, — самым мощным способом вызвать «установку на кормление» и является воспроизведение части ситуации кормления, по которой сразу же воспроизводится все целое.

4. 1-5. VII. Руки.

Движение руками абсолютно не координированы предметом и совершенно не организованы. Если рот полностью организован, глаза еще не следуют за движениями рта, — то руки движутся совершенно диффузно, не отличаясь ничем от ног. Движения эти напряжены, отрывисты, часто производят впечатление рывков, разрядов. Чаше всего они напряженно поднимаются к голове и резко опускаются обратно к туловищу. Никакого намека на направленность движений нет.

Она еще совершенно не сосет своих пальцев; разве только случайно, когда они попадают ей в рот; но это продолжается только момент — некоординированные движения рук тотчас же удаляют кисти рук из рта и никаких попыток удержать руки во рту или вернуть их в рот не делается.

Здесь ярче чем где-либо виден тот конфликт между движением и действием, который гораздо позднее закончится полной победой действия, в котором движение займет подчиненную, осуществляю-

* Пиаже (Piaget) Жан (1896-1980) — всемирно известный швейцарский психолог.

щую роль. Сейчас движение полностью автономно, оно не только не подчинено действию, но мешает ему, затрудняет его.

5. 5.VII. Первичные формы интеграции действия.

Если я беру правую руку Бимки и вкладываю в нее палец — рука сжимается и охватывает его. Если я затем делаю то же с левой, она также охватывает мой палец, но первая в это время разжимается и тянется к левой, охватывая ее.

Так видно, что вызываемые в опыте фокусы возбуждения не создают распределенного движения; каждое предметное движение не только может распространяться лишь в одном направлении, но и создает ведущее направление, координирующее вокруг себя и остальные движения...

6. 1-5.VII. Глаза.

С самого начала обращает на себя внимание некоординированность ее глаз. Даже одновременности в открытии и закрытии глаз еще нет. Она может лежать с одним открытым глазом и открывать глаза порознь.

Движения глаз видно уже с первых дней наблюдения, но эти движения производят неясное впечатление: глаза движутся в стороны совершенно независимо от наличия каких-нибудь внешних предметов; они не привлекаются ими; они скорее построены по типу движений рта, когда ребенок водит им из стороны в сторону.

Впрочем — природа их остается совершенно неясной.

7. 7.VII. Руки как «чужое».

У взрослого нет, пожалуй, органа больше координированного личностью, чем рука. У Бимки — обратное. Ее руки еще ни в какой степени не являются ее «органами», они не координированы ни предметом, ни ртом (ведущей системой); их движения диффузны и мешают, а не помогают ее действиям. Когда ее кладут распеленутой с свободными руками — она начинает кричать — руки попадают ей в лицо, создают общий тонус беспокойства. Лана говорит, что Бимка пугается своих рук, как чего-то чужого, постороннего.

8. 8.VIII. Восприятие звуков.

В первые дни наблюдения никаких реакций на звуки не было. Даже стуки ее не пугали. Мне показалось, что она успокаивалась, если во время крика я начинал прищипывать губами, производя звуки сосания.

Это теоретически было бы вполне понятно; ведь при сознании, целиком координированном актом сосания, еще не предметом, как

раз не посторонние, а адекватные звуки должны бы стать впервые доступными (сравни наблюдения Jorner над лягушкой).

Однако — четкого подтверждения этим наблюдениям я не получила...

Я перелистываю страницы дневника: девочка растет и меняется отношение к ней автора заметок. Она начинает говорить.

«6. IX. 39

...Последние два месяца — бурный рост речи. Ведущее — бесспорно подражание. Она легко повторяет все слова, которые ей даются. Действительностью подражания она овладела полностью. Характерно, что подражание начинается с речи...

20. VIII. Значение слов.

Я научил ее слову «часы», показывая на браслет часов на руке; она стала называть этим словом просто запястье руки, всякие часы, очки.

Интересно, — (1) что значение очень быстро (сразу же) переносится на всякие часы; (2) что оно распространяется на всякий признак «круглого — стеклянного»; (3) что в нем предмет еще неотделим от жеста (постукивание по запястью вызывает сразу слово «часы!»)...

6. IX. 39. Функция речи.

Неверно говорить, что первое слово — это «Einwortsatz» <однословное предложение (нем.)>, что оно обозначает аффективные тенденции. Первые слова — у Ёлки они сейчас в расцвете — не несут никакой функции желания. Она никогда не показывает предмета, к которому тянется и который просит; в этом случае она говорит «дай» (не называя предмета).

Когда она называет предмет («кам»=камень, «вау»=собака и т.д.), она лишь указывает на него, называет его, — и ничего больше. В таком назывании проходит все ее время, она просто переживает целую эпоху называния. Совершенно бесспорно, что этой функцией констатации, выделения, называния исчерпывается вся переживаемая ей стадия речи...

3. X. 39.

«Ёлка начала самостоятельно ходить; сделала это без всякого затруднения, сразу перестав ориентироваться на поддержку»...

Я хорошо помню, как папа учил меня ходить: я держалась за концы натянутого им полотенца, а он, согнувшись, отступал назад, и я шла. Потом он отбросил полотенце, присел на корточки в дальнем конце комнаты и одной рукой манил меня к себе, а в другой держал ярко раскрашенного целлулоидного попугая: «Ну, Ёлонька! Иди-иди ко мне!» И я медленно и неуверенно, пошатываясь, пошла к нему. Идти было трудно, меня качнуло назад и, не дойдя до папы, я с размаху села на пол и заплакала. Папа улыбался и утешал меня, тряся моего попугая, в котором что-то гремело. На паркетном полу, где я упала, был яркий солнечный квадрат, а на стене висело сюзана с яркими переплетающимися цветами: красными, синими, желтыми. Так я начала ходить...

Записи от 5 и 12 октября 1939 года посвящены развитию речи:

«...Повторяет слова чисто фонетически, причем фонетика не согласована смысловыми основами слов. Поэтому: «Ты пошла за молоком?» — повторяет «ком» (т.е. не значащую, а звуковую часть).

На вопросы обычно отвечает повторением последнего слова:

Как тебя зовут, девочка? — Девочка.

Тебя, девочка, как зовут? — Зовут.

Тебя, девочка, зовут как? — Как...

Т<аким> о<бразом> 1-й ответ лишь создает впечатление верного ответа.

12. X.

Вчера Лана заметила первую «дву-словную фразу»:

«Дай водички»...

31. X.

Сегодня — комичный случай: в коляске на улице она обмочилась, — но сейчас же схватила Зайку, с которым каталась, задрала ему юбку и начала шлепать его и кричать: «стыдно, стыдно».

Днем такая же история повторилась снова. Она сама подтащила Зайца к лужице, начала тыкать его туда и говорить сердитым голосом: «стыдно».

Все это становится понятным только из прошлой ситуации: все это обращалось к ней, и т.о. является лишь воспроизведением ситуации, направленной на куку.



Я хорошо помню, как папа учил меня ходить: я держалась за концы натянутого им полотенца, а он, согнувшись, отступал назад, и я шла. Потом он отбросил полотенце, присел на корточки в дальнем конце комнаты и одной рукой манил меня к себе, а в другой держал ярко раскрашенного целлулоидного попугая: «Ну, Ёлонька! Иди-иди ко мне!» И я медленно и неуверенно, пошатываясь, пошла к нему. Идти было трудно, меня качнуло назад и, не дойдя до папы, я с размаху села на пол и заплакала. Папа улыбался и утешал меня, тряся моего попугая, в котором что-то гремело. На паркетном полу, где я упала, был яркий солнечный квадрат, а на стене висело сюзана с яркими переплетающимися цветами: красными, синими, желтыми. Так я начала ходить...

Записи от 5 и 12 октября 1939 года посвящены развитию речи:

«...Повторяет слова чисто фонетически, причем фонетика не согласована смысловыми основами слов. Поэтому: «Ты пошла за молоком?» — повторяет «ком» (т.е. не значащую, а звуковую часть).

На вопросы обычно отвечает повторением последнего слова:

Как тебя зовут, девочка? — Девочка.

Тебя, девочка, как зовут? — Зовут.

Тебя, девочка, зовут как? — Как...

Т<аким> о<бразом> 1-й ответ лишь создает впечатление верного ответа.

12. X.

Вчера Лана заметила первую «дву-словную фразу»:

«Дай водички»...

31. X.

Сегодня — комичный случай: в коляске на улице она обмочилась, — но сейчас же схватила Зайку, с которым каталась, задрала ему юбку и начала шлепать его и кричать: «стыдно, стыдно».

Днем такая же история повторилась снова. Она сама подтащила Зайца к лужице, начала тыкать его туда и говорить сердитым голосом: «стыдно».

Все это становится понятным только из прошлой ситуации: все это обращалось к ней, и т.о. является лишь воспроизведением ситуации, направленной на кукалу.

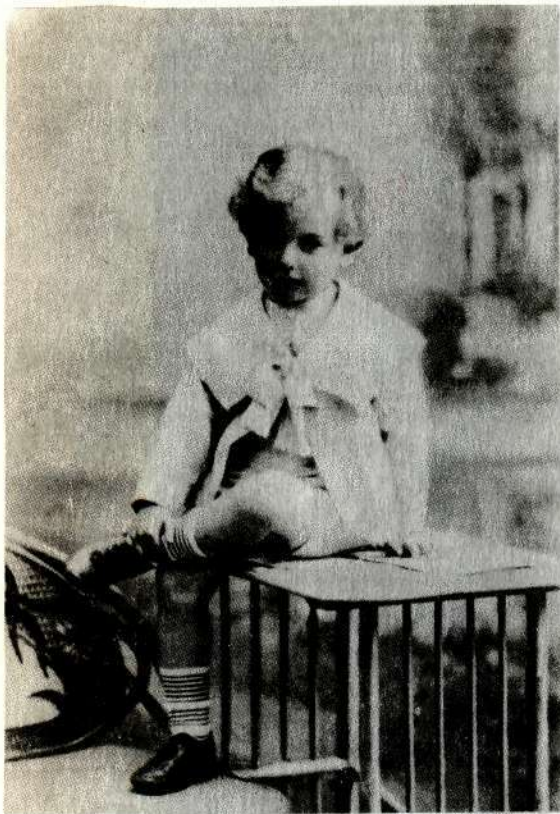




Евгения Викторовна Лурия — мать А.Р. Лурия



Роман Альбертович Лурия — отец А.Р. Лурия



Шурочка Лурия

Семья Лурия в Москве
(между родителями —
Лидия Романовна,
или Люся)

Рукопись одной из сказок
для В. Н. Благовидовой

А. Р. Лурия.
Фотография 30-х гг.



КТО ЖИВЕТ В НАШЕЙ КОМНАТЕ

ГЕОГРАФКА КАК ВЗАПРОДУ.

СЕРЬЕЗНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.

Звёри

Наша Комната очень многолюдная, и
ее население — самое разнообразное.

Вот кто живет в нашей...

Прежде всего —
но видеть, они
свой характер.

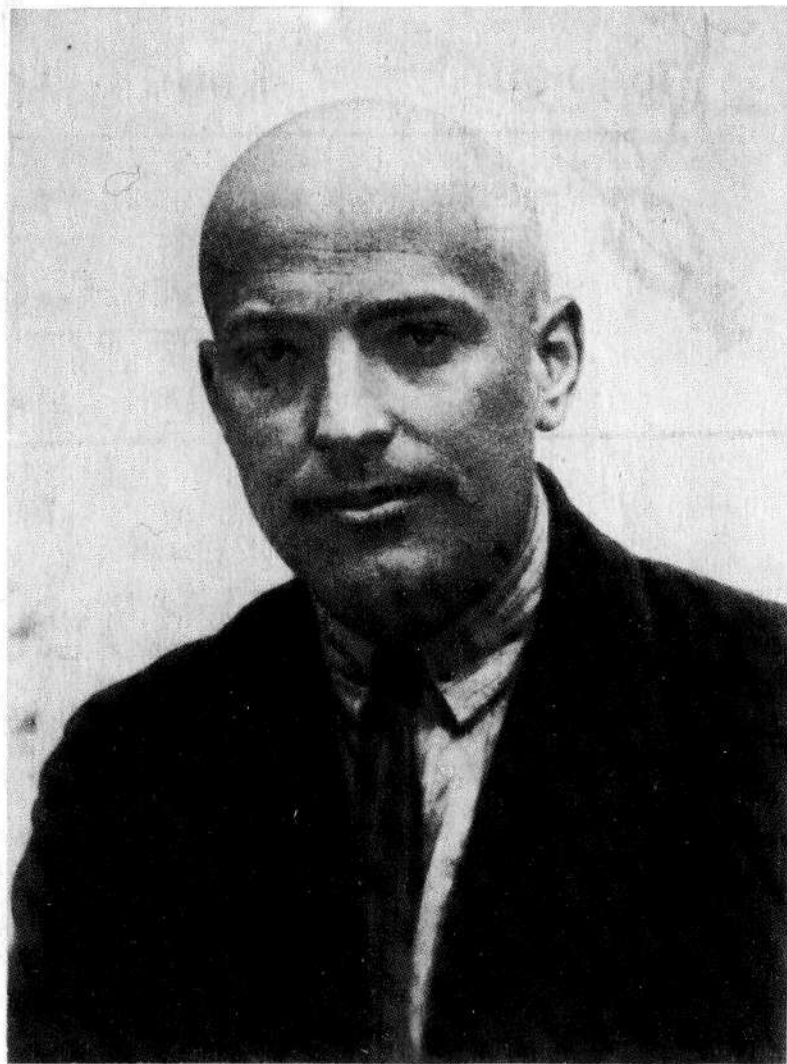
Матан — неон
Раньше был ра
вет в земной др
спирной; нико
назвет близ ко

Совенок — совсем
и тепле; Хупен и Залкинда, когда...



х мот
ли и

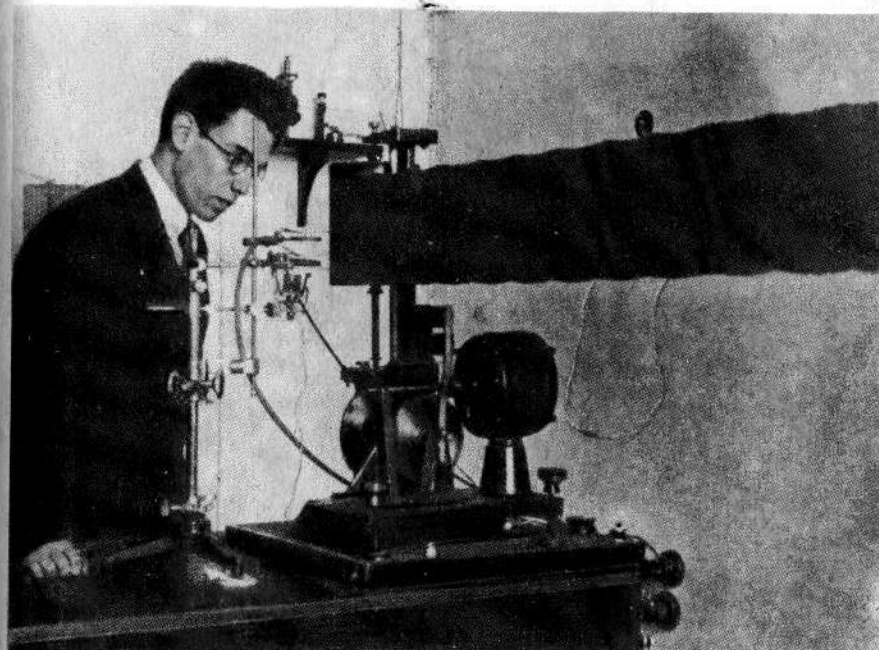
срна
и те
иде
и



Л. С. Выготский

А. Р. Лурия с аппаратом
для сопряженной моторной
методики

С. М. Эйзенштейн





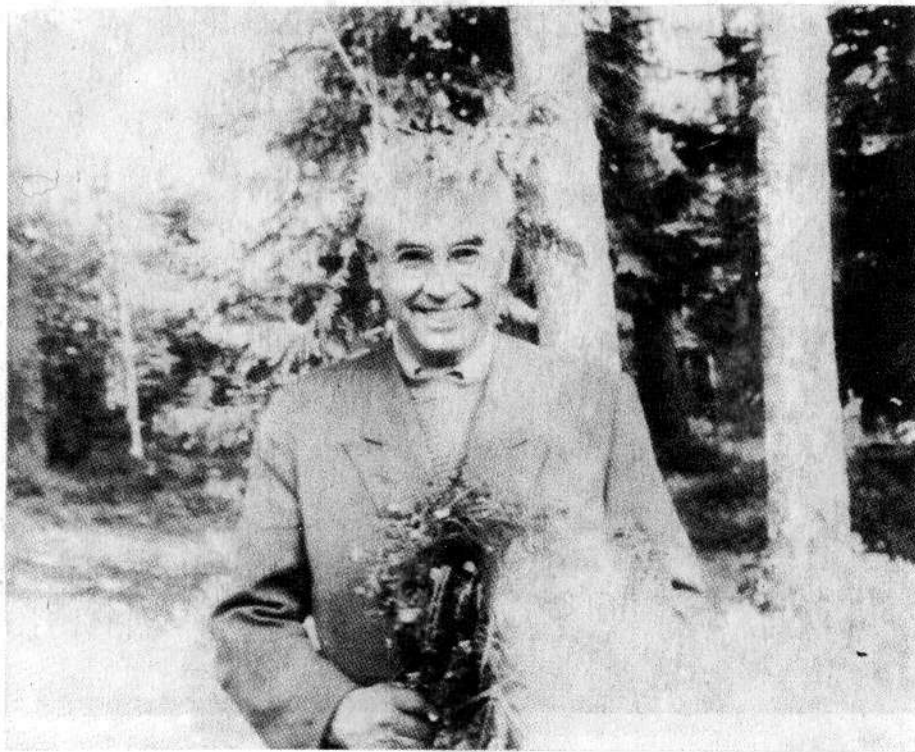
Лана Пименовна Линчина — вторая жена А.Р. Лурия



А.Р. Лурия с женой и дочерью 2 июля 1941 г.



Леночка Лурия в маминой лаборатории



Лена Лурия

А.Р. Лурия в лесу на даче

Л.П. Линчина на даче в Свистухе
(Фотография А.Р. Лурия)



Лена с «Олюшей», Ольгой Харитоновной Чугуновой
(Фотография А. Р. Лурия)

А. Р. Лурия с дочерью
(фотография А. Я. Фриденштейн)



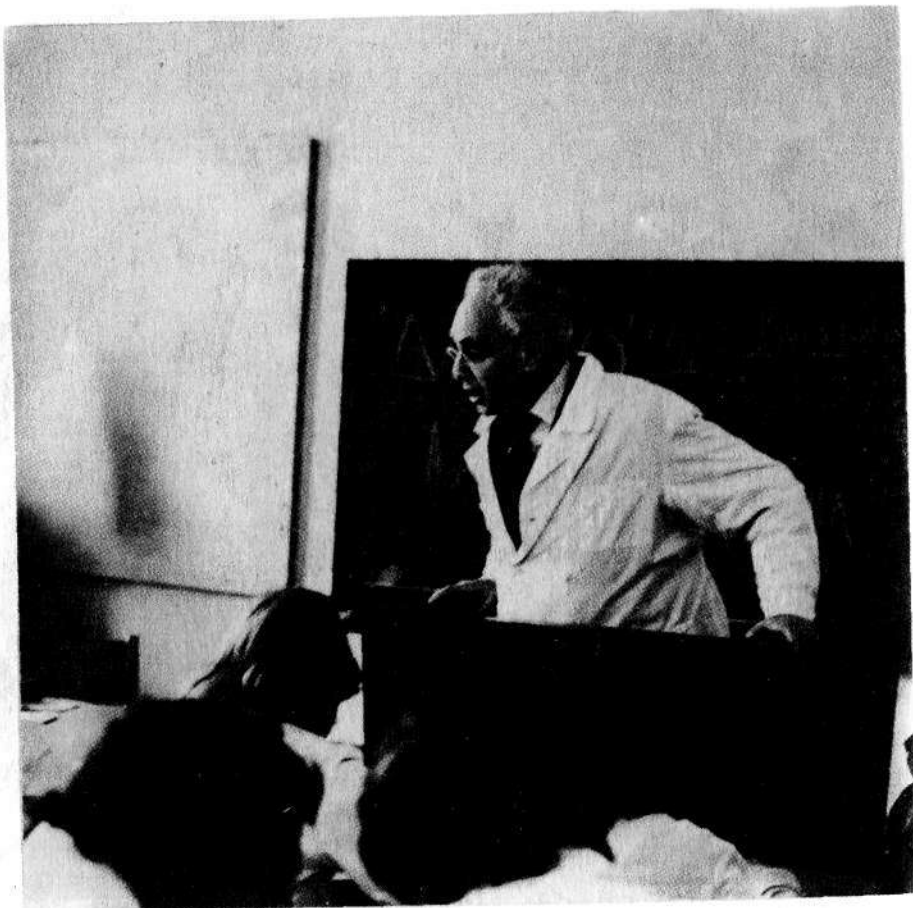


Разбор больного. Среди студентов
немецкий стажер П. Шёнле



А. Р. Лурия на прогулке с женой
и американским стажером Дж. Верчем
(фотография Линды Ленц)

А. Р. Лурия в мастерской М. С. Сарьяна



А. Р. Лурия на лекции

10. X-1939 — 5. I-1940 (1; 3 $\frac{1}{2}$ — 1; 6 $\frac{1}{2}$) *.

За это время — огромный, решающий сдвиг в речи и во всем поведении.

(а) Уже появились первые синтагмы **. Это примерно в самом начале описываемого периода. Вот типичное наблюдение. Она лежит в кровати и говорит: «Оля... хорошая ...Оля — хорошая...» Потом — «мама — хорошая, папа — хорошая...» Так из сближения слов — получилась первая связь.

Это был действительно *настоящий скачок*. Он выразился и в речи, и в поведении. Видно было, что речь теперь уже стала отходить от ее номинативной функции, начала отражать прошлое, какую-то мысль, а не простое указывание на предметы. Это выявилось в том, что:

Девочка начала бесконечно болтать фразами: сначала «папа — хорошая», «Ёлка хорошая» и т.п., «кушай — пожалуйста» и т.п.

К этому периоду относятся смешные случаи: Сидящему у нас знакомому она приносит свой горшочек: «Дядя, пидай — пожалуйста» <...>

6. XII. 39

<...> 1. Вопросы с «где» — требующие индивидуального места, всегда дают правильное указание на предмет. Если этого предмета нет — Ёлка повторяет названное слово. «Где Пузик?» *** — «Пузик... — или же говорит «Нету Пузик...» и разводит руками.

2. Вопросы «как», требующие показа действия, дают разные ответы: иногда — когда ей показывали действие предмета и разговаривали об этом — она легко воспроизводит соответствующее действие: «Как вороночка ходит?» — «Кик! Кик!» (и Ёлка начинает подпрыгивать); «Как красноармейцы гимнастику делают?» — Ёлка начинает приседать. Если же вопрос раньше не был предметом специального обсуждения и показа, — он не вызывает готового ответа, но ведет лишь к тому, что повторяется, либо упоминается в вопросе <...>

4. Вопросы «чем», «чей» — в которых требуется показать не предмет, который упоминается в вопросе — совершенно недоступны и вызывают ответ, воспроизводящий ситуацию упомянутого предмета.

«Чем Ёлонька цветочки нюхает?» — «Денежки... нету денежки...» (ее водят гулять мимо ларька с цветами и говорят: «Цветочков купить — нет денежки»).

* Один год три с половиной месяцев — один год шесть с половиной месяцев

** <словосочетания>.

*** Фокс-терьер, которого Оля во время дождя возила вместе со мной в коляске.

«Чем Елонька ходит?» — «До свидания» (машет ручкой). (Явное воспроизведение ситуации ухода на гулянье).

Прошло семь месяцев и девочке исполнилось два года; в это время семья жила на даче.

21 июня 1940 г. — *Елке 2 года.*

Вот как она встретила этот день (сплошная запись с утра).

Пузик, Пузик... Что тебе из города привезти? Пузика, Пузика... Пузик играет... была коробка мятных конфет, их съели, мне не дали... Куклу мне привести (кукла отдается ей). Какая кукла красивая (сажает перед собой на кровати). Шляпка у куклы (снимает, надевает). У Леночки нет шляпы. Дай шляпу Леночке (ей дают шляпу, она надевает ее).

(Оля дарит ей рубашечки с подвязками). Какие резиночки... (растягивает)... Резиночки веселые... (снова возвращается к кукле). У куклы попка голая (рассматривает, начинает снимать ботинки). Ботиночки... надену ботиночки (начинает одевать маленькие кулачки ботиночки себе)...

10.VII.40. *Разговор.*

Сегодня утром — разговор о собирании клубники с гряд. Папа, папочка, пойдем соберем ягодок... Ягодки сидят и глядят на Леночку... (срывает ягоду, берет ее в руки, несет, поет). Идет ягодка по дорожке! Ягодка! А я дедуся ягодку дам. И Пузику ягодку дам, у него животик не болит. Вымоем ягодку! Пойдем к умывальнику! Папа пойдем к умывальнику, умоем ягоду. Леночка, ягодка зеленая, незрелая! Она незрелая, бедная.

15.VII.40. *Из разговоров.*

Оля говорит: «Вот дождь идет, мама придет мокрая, сердитая...» Елка добавляет: «Мама скажет: я работаю, а Елка дома сидит».

31.X.40. *Из разговора:*

Мы идем с Елкой, я несу ее на плечах, веду Пузика; он рвется. Я говорю: «Пузик, рядом!» и обращаюсь к Елке: «Если Пузик будет рваться, что я ему сделаю?» Неожиданный ответ: «Поставишь клизму!...», потом через паузу: «Нет, накажешь его!»

Я не могу оторваться от дневника и боюсь, что привожу слишком много цитат. Перечитываю страницы и останавливаюсь на записи, сделанной через полгода, в апреле 1941 года.

Апрель 1941. «Воспоминание».

В прошлое воскресенье мы с Елкой гуляли по улицам; было много переживаний с купленной редиской, газетой, которую покупали на улице и т.п. Вчера (через 7 дней) я спрашиваю: «Елка, где мы были в прошлый выходной?» — Это, когда я была маленькой? Нет, в прошлое воскресенье. Гуляли... ходили на рождение (?) и т.п. (все это чисто словесно). Однако при другой формулировке («редиску покупали?») она восстанавливает без труда всю ситуацию. Видимо, невозможно лишь обращение к прошлому + нет еще понятия дней.

Сегодня спрашиваю: где мы были вчера? (Накануне были в зоопарке). Ответ: гуляли по улицам... на рождение ходили (чистые слова) и т.д.

Значит и в ситуации «вчера» — обращение к прошлому одинаково невозможно.

Последняя запись в дневнике сделана в мае 1941 года за месяц до начала войны...

В то лето мы жили на дедушкиной даче. И каждый вечер папа сажал меня на плечи, и мы шли к электричке встречать маму. Мне нравилось у папы на плечах, сначала, правда, я боялась, что упаду, очень уж высоко и не за что ухватиться, но потом освоилась и привыкла. А папа шел по деревянному мосту над путями и пел:

«Дорогая доченька, цветик мой родной,

Встретим нашу мамку и пойдем домой».

Я помню, как мы праздновали день моего рождения; Оля испекла круглый пирог, и все собирались сесть за стол. И вдруг что-то случилось: мама застыла посреди комнаты с пирогом в руках, пирог упал на пол и разлетелся на куски, а мама будто и не заметила. Все молчали и слушали радио. Я потянула маму за юбку, но мама даже не обернулась.

Потом вся жизнь переменялась, и началось то, о чем я никогда и не слышала раньше. Появились новые чужие слова: бомбоубежище, фугаска, сирена, затемнение, — и бумажные крест-на-крест полоски на окнах и черные шторы.

Когда начинала выть сирена — протяжный тревожный гудок, Оля тащила меня в бомбоубежище — в подвал за углом или в метро. Там на каких-то ящиках и на полу сидели люди: взрослые и дети. Папа и мама во время бомбежки дежурили на крыше — гасили зажигалки.

Глава 8

Работа А. Р. Лурия в военном госпитале на Урале

Когда началась Великая Отечественная война, Александр Романович хотел пойти добровольцем на фронт, но в военкомате сказали, что он нужен в тылу. В первые месяцы войны он вместе с Гращенковым организовал тыловой нейрохирургический госпиталь 3120 в бывшем санатории на четыреста мест в поселке Кисегач на Южном Урале. В госпитале Александр Романович создал группу, в которую входили ученые разных специальностей: психологи, физиологи и невропатологи. Подобрать кадры в первый тяжелый год войны было невероятно трудной задачей.

Перед Александром Романовичем и его сотрудниками стояли две основные задачи: во-первых, они должны были разработать методы диагностики локальных мозговых поражений, а также осложнений, вызванных ранениями, и во-вторых, разработать рациональные научно обоснованные методы восстановления психических функций. В этот трагический для страны период вследствие большого числа мозговых ранений психологи должны были и имели возможность углубить понимание мозговой организации психологических процессов. Именно во время войны и в ближайший послевоенный период нейропсихология превратилась в самостоятельную отрасль психологической науки.

Маленький поселок Кисегач лежал между двух озер. На берегу меньшего озера со спокойной водой, заросшей водяными растениями, стояли два двухэтажных корпуса санатория. В них, ничего не перестраивая, разместили госпиталь: устроили больничные палаты и операционные, где с утра до вечера хирурги оперировали и извлекали осколки. В госпитале работала грязе- и водолечебница, построенная для санатория. Через некоторое время открыли нейрофизиологическую и патоморфологическую лаборатории, оборудование которых было более чем скромным. В этих условиях Лурия и сотрудники ставили диагнозы и лечили самые разнообразные нарушения психических функций, начиная с дефектов ощущений, восприятия и движения до нарушения интеллектуальных процессов. Выручали общая преданность делу и тот опыт работы с мозговыми поражениями, который Александр Романович приобрел до войны.

В полуподвале, где раньше размещалась бильярдная, Александр Романович организовал восстановительные трудовые мастерские для раненых бойцов: столярную, слесарную, швейную, сапожную и курсы счетоводов. В мастерских работали выздоравливающие бойцы для

того, чтобы восстановить динамику движения; здесь же они получали новую специальность, если к прежней работе мешало вернуться ранение. Раненые, которые могли выходить из госпиталя, в серых больничных пижамах гуляли по поселку, по которому были разбросаны одноэтажные деревянные домики, построенные среди высоких сосен и огромных гладких камней, которые принес когда-то ледник. За поселком под высоким крутым берегом, заросшим деревьями, лежало огромное озеро с чистой прозрачной водой. Другой его берег почти не был виден. На озере в ветреную погоду поднимались волны, как на море. На берегу озера для санатория построили несколько белых каменных беседок. Из этого озера жители поселка носили питьевую воду; зимой ее брали из проруби, пробитой в толще льда. Госпиталь снабжала водой башня-водокачка, и в нем были водопровод и канализация.

Александр Романович никогда не ходил, а всегда бежал по территории госпиталя. Он вникал во все и для него не было несущественных деталей. Многие из тех, кто работал с ним в госпитале, рассказывали мне, как Александр Романович помогал им, причем делал это незаметно, на бегу. Александр Романович добился пайков для сотрудников, и поэтому они не голодали. Ему приходилось помогать людям в разных ситуациях. В госпитале работала врач-невропатолог Нора Карловна Фохт — немка, которая прожила всю жизнь в России. Встал вопрос о том, что она не должна работать в военном госпитале и ей угрожало не только увольнение, но и высылка. Александр Романович обращался в разные инстанции и отстоял ее, а это было совсем не просто.

В Кисегаче он начал проводить научные конференции и издавать труды и методические пособия, которые распространялись по другим госпиталям. «Это был удивительный человек — Лурия! — пишет в своих воспоминаниях Тамара Осиповна Гиневская. — Полное отсутствие чванства, себялюбия, готовность к самопожертвованию ради дела... Неделями он валялся на полу типографии в Челябинске, где печатались его труды. Не выходя оттуда он правил, редактировал рукописи, мотался в телеге, приезжая иногда домой на день-два, не больше. Измученный, голодный. Поесть немного и поспать, вот и весь его досуг. Пока он отдыхал, Лана чистила его костюм, удивляясь тому, как он вообще не распался до сих пор на части. Он был весь покрыт сеном, травой и грязью, как и сам Александр Романович».

Он участвовал и в «приемках» раненых и выносил бойцов из санитарного эшелона. Среди бойцов, которые поступали в госпиталь были узбеки и таджики, которые не говорили по-русски, и Александр Романович приходил в палату, где лежал боец из Средней Азии, садился к нему на постель и начинал говорить на его родном

языке. Это имело большое психотерапевтическое воздействие, и кроме своих обычных обходов, Александр Романович почти каждый день находил время, чтобы такого раненого посетить.

Он не только исследовал раненых и помогал им как специалист, но у него складывались с пациентами теплые неформальные отношения. Одним из таких раненых был младший лейтенант Лев Александрович Засецкий, двадцати трех лет, который получил пулевое проникающее ранение черепа левой теменно-затылочной области (история болезни № 3712.) Осколок разрушил мозговую ткань этой области. В результате ранения мир Засецкого разбился на тысячи осколков, он потерял память на прошлое, потерял способность ориентироваться в пространстве и разучился читать и писать, а ведь на фронт он пошел с четвертого курса института.

Александр Романович помог Засецкому снова научиться писать и наблюдал его не только в госпитале, но и в течение тридцати с лишним лет в Москве в Институте нейрохирургии или в Клинике нервных болезней Первого Медицинского института, куда Засецкий приезжал по его вызову. Он подружился с Львом Александровичем и глубоко ему сочувствовал.

Главное, что удалось восстановить у Засецкого, это письмо, читать он может с большим трудом, по складам, не в силах полностью удержать в памяти прочитанное. В мастерских госпиталя из-за нарушения зрительно-пространственных функций мозга он не смог овладеть трудовыми навыками, научиться даже элементарным вещам и после выписки из госпиталя он не мог заняться никакой работой. И вскоре после выписки из госпиталя он начал писать историю своего ранения и своей жизни. Он собирал свои воспоминания из мелких осколков, испытывая мучительные затруднения, вспоминая каждое слово и пытаясь уложить слова в фразы. Он писал мучительно и медленно: в удачные дни по одной-две страницы. Он писал потому, что это была единственная ниточка, связывающая его с жизнью, его единственная надежда вернуть что-нибудь из потерянного. Он героически боролся за жизнь. И так изо дня в день двадцать пять лет. За эти годы Засецкий написал около трех тысяч страниц. Записи Засецкого, в которых отражена внутренняя картина его болезни, дали бесценный материал для понимания работы мозга. Они легли в основу книги Лурия «Потерянный и возвращенный мир (История одного ранения)», написанной в 1970 и изданной в 1971 году, основным автором которой Александр Романович считал Засецкого: «Пишущий эти строки — не является в полной мере автором этой книги. Автором является ее герой».

Книга «Потерянный и возвращенный мир», кроме высокой научной ценности, представляет собой необыкновенно сильный, обжи-

гающий человеческий документ, невыдуманную историю о жизни, трагически разрушенной осколком снаряда. Эта книга о неравной борьбе с болезнью, книга о стойкости и мужестве...

Засецкий с удивительной яркостью описывает свой приезд в Кисегач, куда его направили через три месяца после ранения:

«Кругом расстилаются замечательные картины: то появится огромное озеро, окаймленное хвойными деревьями, то другое озеро, еще больших размеров, то третье озеро; а вокруг, куда ни кинешь взглядом простираются огромные массивы хвойного леса... и когда взглянешь вверх, небо кажется темнее и отдает какой-то синевой, а солнце наоборот кажется ярким-ярким.

Толчки грузовой машины меня раздражают, да и болит рана, где-то внутри головы... Мне почему-то кажется, что машина давно уже кружит на одном месте... Но вот появляется еще одно озеро, а потом я неожиданно вижу большое трехэтажное здание, потом еще одно... все они рассыпаны по лесу... Машина останавливается, мы на месте».

Александр Романович вспоминает о первой встрече с Засецким: «В мой кабинет в восстановительном госпитале вошел молодой человек, почти мальчик, с растерянной улыбкой он глядел на меня, как-то неловко наклонив голову, так, чтобы лучше видеть меня: позже я узнал, что правая сторона зрения выпала у него и чтобы рассмотреть что-то, он должен был повернуться, используя сохранный у него левую половину.

Я спросил его, как он живет, он помолчал и робко сказал: «Ничего». Я спросил его, когда он был ранен, и этот вопрос, по-видимому, поставил его в тупик: «... вот... ну... вот... как это... уже сколько... наверное два... или три». Откуда он родом? «Ну вот дома... я вот хочу написать... и никак...» Кто у него там? «...вот ... мама... и еще... ну как их обеих звать?..»

Он явно сразу не схватывал смысл моего вопроса и слова не приходили ему сразу в голову: каждый ответ вызывал у него мучительные поиски.

«Попробуйте прочитать эту страничку!» — «...Нет, что это?... не знаю... я не понимаю что это... Нет... какое это?» Он пытался рассматривать листок, ставя его боком перед левым глазом, переводил его в стороны, удивленно разглядывая слова и буквы: «Нет... не могу!...» «Ну, тогда напишите свое имя, откуда вы?» И снова мучительные попытки: рука как-то неловко берет карандаш, сначала не тем концом, потом карандаш начинает искать бумагу, снова безуспешные попытки — но буквы не получаются — он растерян, он ничего не может написать! Он действительно стал неграмотным...»

Он разучился считать, не может пересказать сюжет картинки, которую показал ему Александр Романович, не знает, где правая и где левая рука.

...Идет время. Он с логопедом начинает заниматься по букварю. Его учат узнавать, как выглядят буквы, ему трудно запомнить их, но наконец он начинает читать по слогам. С письмом было еще труднее, чем с чтением, и Александр Романович думал о том, каким способом восстановить его:

«Сначала он пытался писать, вспоминал образ каждой буквы, пытался найти каждое движение, нужное, чтобы его написать.

Но ведь так пишут только маленькие дети, которые только учатся письму. А ведь он писал всю жизнь, за спиной почти два десятка лет письма. Разве взрослый человек пишет так же, как ребенок? Разве ему нужно задумываться над каждым образом буквы, искать каждое движение, нужное, чтобы ее написать?!

Мы давно уже пишем автоматически, у нас давно сложились серии привычных движений письма, целые «кинетические мелодии». Ну разве мы думаем над тем, какие движения мы должны сделать, чтобы расписаться? Разве мы пытаемся при этом вспомнить, как расположены линии, составляющие каждую букву?!

Почему же не обратиться к этому пути, к пути, который должен остаться доступен ему? Ведь ранение, разрушившее зрительно-пространственные аппараты мозга, не затронуло его кинетических, двигательных аппаратов. Ведь слуховые функции и все двигательные навыки сохранились у него. Почему не использовать их и не восстановить письмо на этой новой основе».

Он хорошо помнит этот день и много раз возвращается к нему на страницах своего дневника; ведь этот день дал такую простую находку, которая перевернула его жизни!

«С письмом же дело вначале пошло точно так же, как и с чтением, т.е. я долго не мог вспомнить буквы, когда уже кажется знал их, проделывая ту же процедуру в порядке алфавитном. Но тут вдруг ко мне во время занятий подходит профессор, уже знакомый мне своей простотой обращения ко мне и к другим больным, и просит меня, чтобы я написал не по буквам, а сразу, не отрывая руки с карандашом от бумаги. И я несколько раз (переспросил, конечно, раза два) повторяю слово «кровь» и, наконец, беру карандаш и быстро пишу слово «кровь», хотя сам не помнил, что написал, потому что прочесть свое написанное я не мог».

И он стал писать! Теперь ему не нужно было мучительно вспоминать зрительный образ буквы, мучительно искать то движение, которое нужно сделать, чтобы провести линию. Он просто писал, писал сразу не думая. Он писал!!...»

В архиве Александра Романовича сохранилось много писем Засецкого. После папиной смерти он стал переписываться со мной: я получаю от него письма ко всем праздникам, он каждый год присылает мне письмо к папиному дню рождения и к годовщине его смерти. В них много теплых и благодарных слов о папе: Лев Александрович часто вспоминает, как папа занимался с ним. Александр Романович был для него не только врачом, но и другом, потерю которого он переживает до сих пор.

Один раз мне удалось повидаться с Засецким: он приехал на лечение в Москву в Клинику нервных болезней и позвонил мне. Когда я вошла в больничную палату, я увидела сероглазого человека, с гладко зачесанными над высоким лбом темными волосами, который о чем-то разговаривал с лежащим соседом, присев к нему на постель. Он очень обрадовался мне, и когда он встал, я увидела, что он невысок и широкоплеч. Он тут же раздал пирожные, которые я ему принесла, соседям по палате, пододвинул мне стул, сел напротив, и мы долго разговаривали. Идя в клинику я ожидала, что встречу угрюмого человека, измученного болезнью, но нашла доброжелательного и легкого собеседника. Мы вспоминали папу, и Лев Александрович смеясь рассказывал мне о «загадках», которые на занятиях задавал ему Александр Романович: «Что правильно: муха больше слона или слон больше мухи? Скажи Лева». Ему после ранения стало трудно понимать такие грамматические конструкции и прежде, чем ответить на вопрос, надо было подумать.

Нет, если бы я не прочитала книгу о нем и не знала бы его истории, то никогда бы не подумала, что он живет в мучительном раздробленном мире. Этот уютный и мягкий человек отнюдь не производил тягостного впечатления. Во время разговора с ним, я вспоминала папин рассказ о том, что гонорар за книгу, который перевел ему папа, Засецкий разделил пополам с логопедом, которая занималась с ним в Кисегаче.

Мне хочется в общих чертах рассказать о сути работы Александра Романовича, которую он начал в военном госпитале и продолжал всю жизнь. Вначале я думала, что смогу написать эту часть на основе его книг «Травматическая афазия», «Восстановление функций после военной травмы», «Высшие корковые функции» и «Основы нейропсихологии», но увидела, что получается громоздкий и совершенно не нужный моему читателю реферат. К сожалению, популярной лекции по нейропсихологии Александр Романович не прочитал, а его яркие и красиво построенные лекции на эту тему и доклады, записанные

на магнитофон, слишком специальны. На мое счастье журналист Карл Левитин сохранил запись рассказа Александра Романовича о нейропсихологическом подходе и некоторых его возможностях, и я могу привести здесь слова самого Лурия:

«Иван Петрович Павлов совершенно правильно в свое время говорил, что если раньше дыхательный центр представлялся с булавочную головку, то потом он расплылся по всему мозгу и уже никто не может точно очертить его границы. И не только дыхание, или, скажем, пищеварение — во всем, что делает организм, принимают участие целые функциональные системы. В равной степени это относится и к сложнейшим психологическим процессам. Ни одна функция не сидит в определенной группе клеток, нет, мы должны подходить к изучению психики с точки зрения распределения по мозгу различных функциональных систем.

Возьмем для примера, чтобы проще было понимать, о чем идет речь, дыхание, о котором говорил Павлов. Задача этой системы — довести воздух до альвеол легкого, ведь так? Можно ли думать, что задача эта выполняется прочно закрепленной рефлекторной дугой — сигнал о недостатке кислорода заставляет дыхательный центр командовать межреберным мышцам, чтобы они расширили грудную клетку, воздух входит внутрь ее, кислород проникает к альвеолам? Но давайте анестезируем межреберные мышцы, вприсынем в них новокаин. Умрет человек от удушья? Нет, в работу включится диафрагма, она станет расширять грудную клетку. А если мы анестезируем и диафрагму? Тогда человек будет заглатывать воздух.

Получается, стало быть, так. Задача одна — довести воздух до альвеол, но она может осуществляться целым рядом сменных звеньев. Принципиально именно так устроен любой акт поведения, и уж особенно высшие психические функции. В их осуществлении принимает всегда участие не одна зона коры, а целая система таких зон.

Хорошо, но не означает ли это, что природа приготовила тут для нас западню? Если понимание речи или счет пропадают при нарушении любого из слагающих их звеньев мозговой деятельности, то как же нам по симптомам заболевания установить, какие именно отделы мозга повреждены? Не увел ли нас новый подход к работе мозга еще дальше от решения задачи скорой и точной топической диагностики, чем мы были раньше?

Нет, не увел. Дело в том, что каждый участок мозговой коры вносит свой собственный, отличный от других, вклад, и если выпадает любой из них, то разваливаются сразу несколько функциональных систем, в которые этот участок входит как одно из звеньев. И распадается каждый раз по-своему, специфическим образом. Поэтому

нейропсихолог никогда не говорит: у человека нарушена та или иная функция, он обязательно выясняет как она нарушена и что еще, одновременно с этим, перестало нормально работать в организме, какие свои наступили во всех остальных психических процессах. Мы изучаем, таким образом, не симптом, а синдром — то есть совокупность всех наблюдаемых расстройств. Нам удалось расчленить все поведенческие акты на отдельные простейшие единицы и мы знаем, как из этих кирпичиков синтезируется любое действие. Поэтому, определив, что именно недоступно данному больному, всегда можно выявить, что за кирпичики разрушились — какие участки мозга вышли из строя.

Вот это и есть, в сжатом виде, философия нашей работы.

А теперь позвольте мне перейти к кое-каким важным частностям...

Давайте мысленно переключимся на сто лет назад. Как бы я тогда рассказывал вам о мозговой локализации письма? Я бы сразу показал на карте мозга вот этот центр, центр Экслера — видите, в среднем отделе левой премоторной области. По какой логике я считал бы именно этот участок мозга ответственным за письмо? По очень убедительной и простой логике. Писать — это значит совершать рукой тщательно рассчитанные движения. А центр руки — правой у правши — расположен как раз вот тут, в средних отделах премоторной зоны, правда ведь, и новейший сегодняшний учебник вам то же скажет. Ну, а тонкие движения связаны со вторичными, более развитыми отделами двигательной зоны руки. Вот вам и центр письма.

Теперь весь вопрос в том, хороша ли эта логика. Попробуем усомниться в исходном положении — что письмо является просто тонкими движениями руки. Быть может, оно включает в себя и еще какие-нибудь операции, и тогда один центр мозга не сможет им заведовать. Но тогда какие другие участки мозга «задействованы» при письме? На каких основаниях? Что каждый из них вносит в общее дело?

Мы пришли к необходимости проанализировать состав такой сложной психической функции, как письмо, узнать, какие компоненты в него входят. Это называется «психической квалификацией», то есть качественным анализом. А уж потом мы сможем соотнести эти компоненты с работой мозга.

Что нужно, чтобы написать «кошка» или «редактор»? Прежде всего, надо различить диктуемые звуки. Даже если вы пишете не с чьего-то, а с собственного внутреннего голоса, все равно необходимо услышать, что первый звук «К», а не «Г», второй — «О», а не «А», третий — «Ш», а не «Ж», и так далее. Вы должны уточнить звуковой состав речи. А это — само по себе дело очень сложное, целая

большая наука фонетика занимается звуками, которые мы произносим. Речь идет не о хорошем или плохом слухе — нет, собака слышит лучше, чем человек, но она не может отличить «б» от «п», «д» от «т», другие фонемы. Я вот натренировал свою собаку — как только я ей скажу «на место!» или «на кресло!», она сразу прыгает вот сюда, где вы теперь сидите. И все шло чудно. А потом я ей командовал «невеста!», и она не задумываясь прыгнула на кресло. У нее есть тонкий слух, но это вовсе не то, чтобы уметь различать фонемы человеческого языка. И самая лучшая собака отличается от самого никудышного человека тем, что у того слух организован объективной системой языка, с его сложным смыслообразительным аппаратом, а у собаки слух наивен, непосредствен, неорганизован. Правда, у животных, как сейчас устанавливает Гершуни^{*}, слух тоже организован, но не языковой системой. Скажем, такой вот скребушийся звук для кошки имеет огромное значение — слышите, это мышь скребется. А для овечки звук этот никакого смысла в себе не содержит. Животные выделяют важные с биологической точки зрения звуки, а человек — компоненты, связанные с фонематическим строем того или иного языка. Вот в русском языке большая смыслообразительная нагрузка ложится на гласные. Я скажу «мүл», «мол», «мал», «мил», «мел» — и все это будут разные слова. А есть языки, тюркские, например, где гласный звук может быть любой, а слово останется прежним — «ман», и «мин» и «мен» все равно значит «я». «Пыл», «пил», «пыль» — это все для русского уха слова совсем несхожие, но немец их не различает, потому что для него мягкость и твердость согласного значения не имеет. Для русского долгота гласного звука — это никакой не фонематический признак, для англичанина — один из важнейших. Высота тона во вьетнамском языке дает слову «ба» шесть разных значений, но европеец едва ли сумеет отличить одно от другого. Степень открытости гласного звука во французском, придыхание, с которым произносятся согласные в грузинском, масса иных признаков организуют слух человеческий той системой языка, в культуре которого человек вырос.

Все эти тонкости психолог, исследующий письмо обязан знать досконально, потому что первый шаг при письме — это и есть услышать не просто звуки, но звуки некоего языка, то есть преломить их через призму определенной звуковой системы, отнести к тому или иному типу языковых фонем. Начинать двигать рукой — до этого еще далеко. Раньше идет анализ звуков, а он осуществляется левой височной областью, которая управляет слухом, вторичными ее отде-

лами. Если они разрушены — и мы видели это на сотнях больных, то человек продолжает слышать, только он не может квалифицировать звуки, то есть ему не удастся отнести их к определенной языковой категории. Когда ложками гремят в столовой, он слышит прекрасно и понимает, что это означает, когда мышь скребется, он тоже знает, к чему это, но отличить «б» от «п» ему не под силу, у него произошел распад фонематического слуха. Особенно трудно отличить такому человеку фонемы, отличающиеся лишь одним каким-нибудь признаком — звонкостью или глухостью, как в нашем примере, скажем. Он не огаох, «б» от «р» он отличает, а вот более тонко — уже не может.

Тут вы меня, конечно, спросите: «А как вы убеждаетесь, что дело именно в фонематическом анализе? Ну пусть ваш больной говорит «кот», хотя вы просите его сказать «год». А вдруг он просто произнесет как надо не умеет? На слух различает, а сказать не может». Я вам сразу же отвечу, что каждый свой вывод мы подтверждаем многими способами. Я прошу больного на звук «б» поднимать правую руку, а на «п» сидеть спокойно, и по одному только этому простому опыту мне становится ясно, что у него нарушен именно фонематический слух, а не моторика речи. И я замечая для себя — надо проверить еще десятками других тестов верно ли мое предположение: что-то не в порядке в левой височной области, в ее вторичном отделе.

Итак, вот первый вклад мозга в письмо — роль височной его области при фонематическом анализе звуков.

Но пусть, по счастью, с этими отделами мозга у человека все хорошо. Будет ли он хорошо писать? Неизвестно, ведь пока у него есть к тому лишь одна из предпосылок. А вот вам другая, столь же необходимая. Когда ребенок учится говорить, или вы, уже взрослый, начинаете изучать иностранный язык, надо обязательно «прошупать» языком, губами, зубами, нёбом звуки речи. Войдите к первоклассникам в первые два-три месяца их школьной жизни на урок письма. Вы услышите бормотание — это все они проговаривают то, что пишут, звук за звуком. Половина учителей думают, что это плохо — шумно в классе. А другая половина, поумнее, говорит, что раз дети так делают, значит, им это зачем-то нужно — ну и пусть себе бормочут. Мы экспериментально решили этот вопрос — поделили класс на две части, одна писала с проговариванием, а других детей заставили открыть рот или прикусить язык и писать молча. В шесть раз больше ошибок было у «немых». Мы исключили проговаривание — и полетело письмо. Вы устали меня слушать? Нет? Отчего же тогда я не слышу возражения? А вдруг мы просто создали второй очаг возбуждения — отвлекли детей тем, что им надо держать свой собственный язык за-

^{*} Т.В. Гершуни — физиолог, специалист, в частности, по физиологической акустике.

чем-то прикушенным? Давайте проверим. Говорим ребенку так: «сожми левую руку в кулак и пиши». Пишет без ошибок. Зажмет зубы — тоже все хорошо, ведь проговаривать он и так может. А вот арестован язык — тут уж все, письмо совсем безграмотное.

Дело в том, что движения языка принимают участие в кинестетическом анализе звуков и если анализа этого нет, то письмо очень затруднено. Как, однако, узнать, что плохо у нашего больного — фонематический или кинестетический анализ? Очень просто! Анализируйте характер ошибок, и вы увидите интересную вещь. У меня был больной, который вместо «халат» написал «хадат». Почему так? Другой больной написал «слон», когда я диктовал ему «стол». Я не мог понять смысла подобных ошибок, пока не начал анализировать законы, по которым он их сделал. Прошу вас, скажите вслух «а», «н», «д». Вы чувствуете — звучит совершенно по-разному, а движение языка одно и то же. Потому что все звуки небно-язычные, то есть кончик языка прикасается к передней части неба, и лишь направление струи воздуха определяет разницу в звучании. Таких звуков много — скажите «б» и «м», например, чтобы различить их, надо уметь чувствовать артикулемы — а это и есть кинестетический, двигательный анализ речи. Нижние отделы постцентральной области — вот то место, разрушение которого делает подобный анализ невозможным.

Видите, какая точная наука психология? Если грамотно поставлен опыт, то объясняются вещи, которые сначала казались чудными.

Теперь мы уже знаем о двух вкладках, которые делают разные зоны мозга — височная и теменная, в организацию письма.

Но мало выделить звук и опереться на его кинестетический анализ. Необходимо еще перевести фонему и артикулему в графему — проще, букву. В этом переводе звука в букву принимают участие уже другие отделы коры — теменно-затылочные. Отчего так? Потому что в затылочной части расположен корковый конус зрительного анализа. Если эта область страдает, человек прекрасно слышит, прекрасно произносит, но он перестает ориентироваться в пространстве — не знает, где право, где лево, где верх, где низ, как у Засеуцкого, которого вы знаете. У того человека тоже возникнут трудности с письмом. Букву «о» он напишет правильно, а вот как надо писать — «р» или «q», «б» или «d», «г» или «t» — этого он не знает. У него письмо страдает в еще одном звене — нарушена пространственная организация.

Но и этого мало! Вы ведь никогда не пишете отдельные буквы, — а целые слова, правда? Надо написать вам «кот». значит, сперва пишете первую букву, потом необходимо перейти от нее ко второй, далее — к третьей, должна быть организована последователь-

ность действий, «серийная организация поведения», как говорил Лешли^{*}. Но с функцией переключения с одного действия на другое связаны специальные отделы коры — премоторные. Если они повреждены, то у человека не страдает ни слух, ни кинестетика, ни зрительный, ни пространственный анализ, но у него распадаются двигательные навыки. Если машинистка вдруг начинает печатать отрывисто, одну букву отделяя от другой долгой паузой, если пианист любую вещь играет стаккато — велика вероятность, что у них что-то произошло в премоторной области коры. А писать такой больной будет вот так: «миши». И сам знает, что надо бы перейти к другой букве, да не может! Так ему слова «мишка» самостоятельно и не написать...

И, наконец, последнее звено. Мы пишем не отдельные слова, а целые фразы, некоторые более или менее осмысленные тексты. Значит, мы подчиняем процесс писания программе. Эта функция принадлежит лобным долям коры. Если они повреждены, у человека не создается никакой замысел. Я помню у Бурденко была больная с обширным повреждением лобных долей. У нее все было в порядке — слух, движения, понимание, но только плана своей деятельности она никогда не имела. Она, к примеру, писала Бурденко письмо так: «Уважаемый профессор! Я хочу вам сказать, что я хочу вам сказать...» и так четыре страницы! Как видите, это еще один тип нарушения письма, и связан он с еще одной зоной мозга.

Вот так мы расчленяем на составные части все виды высшей нервной деятельности. Работа, поверьте, не из легких, она занимает долгие годы, но зато зная характер нарушения, скажем, письма, мы можем делать предположения о том, какая именно зона мозга поражена у больного».

Александр Романович и его сотрудники проводили восстановительное обучение раненых бойцов, у которых в результате военной травмы нарушались различные психические функции. Так как в основе высшей психической функции лежит координированная в единую функциональную систему работа различных участков мозга, то повреждение одного из участков разрушает всю функциональную систему. Идея восстановительного обучения состояла в том, чтобы построить новую функциональную систему, опираясь на неповрежденные участки мозга, т.е. найти обходной путь.

Фундаментом восстановительного обучения Александр Романович считал работу по организации движения у больных паркинсонизмом, проведенную с Выготским: «Эта ранняя работа дала толчок многим

^{*} Лешли (Lashley) Карл (1890-1958) — американский психолог. А.Р. урия имеет в виду посвященную этой теме статью Лешли «The problem of serial order in behavior», опубликованную в книге «Cerebral mechanisms in behavior». N.Y. — London, 1951.

исследованиям, и теперь у нас есть немало выверенных приемов, позволяющих проложить в мозгу новые «рельсы» — то есть, используя оставшиеся в распоряжении больного средства, восстановить распавшиеся функциональные системы.

Вот вам простейший пример. Бывает, что у человека нарушен механизм, позволяющий ему отличать глухие согласные от звонких. Для него «баба» и «папа» звучат одинаково. Вообразите, что с вами случилось такое несчастье. Вообразили? А теперь поставьте перед губами ладонь и скажите энергично «б», потом — «п». Чувствуете разницу? Вот так мы используем тактильный анализатор, способность чувствовать вибрацию, другие возможности, оставшиеся в нашем распоряжении, чтобы заменить разрушенный участок пути, по которому идет информация в мозг, проложить новые «рельсы»...

Путем перестройки функциональной системы в госпитале в Кисегаче восстанавливали в известных пределах такие процессы как речь, письмо, чтение, счет и интеллектуальные операции, которые казались необратимо разрушенными. При этом формирование новых функциональных систем идет по пути извне — внутрь, сначала опираясь на использование внешних средств, и лишь затем — при известных условиях переходя к перестроенной внутренней организации психической деятельности. Таким путем удалось восстановить и такие сложные процессы, как активное мышление, нарушенное после поражения передних отделов мозга.

В Кисегаче мы жили в маленьком деревянном доме на горе. Зима пришла снежная и холодная. Я сидела на кухне около печки и смотрела как Оля готовит обед из сушеной картошки: сморщенных серо-коричневых кружочков, нанизанных на нитку и похожих на сушеные грибы. В кастрюльке булькает вода, и когда Оля снимает крышку, оттуда поднимается пар. В доме есть немножко крупы, и суп получился очень вкусный. Я уже позабыла, что мы ели на обед в Москве, и все кажется вкусным...

...В тот год выпало много снега, занесло пригорки, полянки, Дом как будто врос в снег и стал ниже. Замело дороги, и люди протоптывали узкие тропки. Снега прибавлялось, и тропинки уходили все глубже и глубже. И получались длинные снежные коридоры в мой рост. Закутает меня Оля, крепко перевяжет двумя шарфами — одним под воротником, другим вокруг пояса: тесно и повернуться

трудно. И все равно долго не погуляешь: холодно, аж обжигает. Погуляю и скорее в дом к печке...

...У меня были две тряпичные куклы, которых я очень любила, за стол сажала, спать с собой укладывала и гулять водила.

Я взяла своих кукол и пошла по поселку: кругом никого, все на работу ушли в госпиталь, а детей здесь нет — или большие совсем или малыши. Вот и приходилось гулять одной. Да почему же одной? Не одной, а с куклами: с Зайей и Миней. Они у меня бойцы: Зая — боец и Миня — боец, храбрые и сильные. Три березы, которые стоят под горой, уже распустились. Ветки покрылись желто-зелеными листочками, совсем маленькими. А пахнет, пахнет-то как!

Я села у корней старой березы. Здесь так хорошо! Под ногами мягкая трава, а ствол у березы в прожилках и трещинах.

«Девочка! Что сидишь одна? — передо мной стоял дядя с синими глазами, с бритой головой и в сером халате. Раненый, наверное, из госпиталя.

«Давай знакомиться. Меня зовут Чернышов, а тебя как?»

«Меня — Ёлка... А моих бойцов зовут Зая и Миня.

Дядя Чернышов взял меня на руки и сказал: «Пойдем лучше на озеро, посидим на берегу».

Мы устроились на деревянных мостках у самой воды.

«Дядя Чернышов, а ты раненый?» — спросила я.

«Сейчас я уже выздоравливаю. А после той ночи, когда меня ранило в голову, я долго не помнил ничего. Потом меня сюда в Кисегач привезли. Был совсем как малое дитя: все позабыл — и имя свое, и откуда родом я. Будто провалилось все. И писать разучился и читать: вижу какие-то крючки, а прочитать не могу. Совсем память отшибло. Потом, когда я уже окреп и ходить начал, меня стали учить. Долго-долго со мной занимались, и я вспомнил, снова говорить и читать научился. Вот так дело было... Ну ладно, посидели и хватит. К ужину возвращаться пора. Тебя, наверное, тоже дома ждут. Пошли, Ёлка»...

...Оленька! Милая Оленька! Что с тобой? Почему у тебя все лицо распухло от слез, веки красные, а глаза побелели? Сидишь на скамье и мнешь в руках мокрое полотенце, которым иногда глаза утираешь... И ходишь, будто слепая, натыкаясь на стулья. Оленька! И что значат чужие ужасные слова: «без вести, пропал без вести»? И неужели ничего нельзя поправить? Гаврюша — твой младший брат никогда домой не вернется...

...В палисаднике около дома растут большие кусты смородины. Ну прямо заросли. И ягод уродилось видимо-невидимо. Все так и набросились на них. Круглые, как бусинки: коричневые и черные с засохшим маленьким воротничком на кончиках. Кисло-сладкие и хрустят. «Ешьте побольше. Это очень полезная ягода. Лучше лекарства не придума-

* Запись К. Левитина.

ешь и чирьи ваши пройдут», — сказал папа, — «В смородине много витамина. А Вам, Оля, и Елке сейчас очень нужны витамины».

Да, смородина поспела в самый раз. Будто нарочно, чтобы нас вылечить.

Начиная с весны, Оле и мне не давали покоя чирьи: то на ноге вскопичит, то под мышкой, а иногда и сразу несколько. В госпиталь ходили: врач сказал, от малокровия, назначил ходить в грязелечебницу, где специальной лечебной грязью лечат. В грязелечебнице было очень интересно и удивительно чисто: белые топчаны под простынями, стеклянные шкафчики с какими-то блестящими коробочками, ножницами, стаканчиками. Походили туда и, правда, лучше стало.

А теперь и смородина поспела: не лекарство, а объедение...

...Вот и осень на Урал пришла. И говорят зима опыть суровая будет.

«Ленура! Завтра встанем пораньше и по грибы пойдем, наберем груздей и посолим. Еды ведь мало, а грибы подспорье», — говорила Оля, укладывая меня спать.

А на утро взяли корзины и в лес пошли. Но груздей-то не видно, только старые сосновые иголки под ногами. А пахнет почему-то крепко и горько: самый грибной запах.

«Да вот они, под иголками!» — Оля подняла и отвернула как одеяло серые иголки и листья, а под ними на черной голой земле целая семья груздей, белые, крепкие. У больших шляпка как воронка — в середине уходит вниз в ножку, а края шляпки завернулись.

А маленькие до чего ж хороши! Крепкие, а внизу под шляпкой гармошка. Лизнешь — остро и горько.

И стали мы грибы по запаху искать: у валунов, под соснами, под осинками. Иногда и на виду находили, но все больше под темным войлоком. Срезали ножом и складывали в корзинки. Много набрали. Сели на лесную дорогу: старые колеи травой заросли — по дороге давно не ездит никто.

«Ну, вот теперь мы с грибами. Засолим и будем зимой лес вспоминать и благодарить, что накормил нас», — радуется Оля...

...В госпитале на большом столе разложили карту, прикрепили ее кнопками, а линию фронта отметили маленькими красными флажками на булавках. Слушали радио, и когда приходили сводки с фронта об освобождении новых сел и городов, флажки передвигали западнее — влево: «Смотрите, ребята, освобождается земля наша!»

Раненые бойцы, кто мог хоть как-то ходить, забинтованные, на костылях, долго простаивали около карты: переговаривались, спорили и верили, что уже скоро победа.

«Меня вот здесь ранило», — высокий худой боец с забинтованной головой показал место на карте, — «Ночью возле переправы. Мы должны были в темноте переправиться на другую сторону реки. И когда уже

все было готово и команда дана «Вперед!», на нас обрушился огонь... Помню только как впереди товарищ упал, нагнулся я к нему, а тут меня и ударило в голову... Вот и лежу здесь, а наши далеко уже ушли.

Мама закончила работу и собиралась домой: «Леночка, застегнись хорошенько, простудишься, — говорила она, накидывая на плечи серый платок. — Ну, готова? Пошли... Раненые наши все врачей торопят, чтобы быстрее лечили, на фронт вернуться хотят. И слушать не желают, что быстрее вылечить нельзя, и так ведь мы делаем все, что можем... А госпиталь наш переведут с Урала в Москву: фронт-то отошел на запад. Видела карту? Ну и госпиталь должен быть поближе к фронту. Так что в путь скоро».

Вот и начали в дорогу готовиться — укладываться и в госпитале, и дома. Оля бегала с корзинками, выдвигала ящики из шкафа, выбрасывала все на стол и никак не могла решить, что же все-таки нужней всего, а что можно оставить.

«Ой, Ленура, много-то брать с собой нельзя — места в машине и в поезде мало. Вот и не знаю, как сложить-то. И вроде бы нужное все. Лишнего-то у вас нету», — вздыхала она.

Наконец, собрались и несколько дней жили на уздах.

Вечером пришла грузовая машина: положили вещи, сами сверху сели, заехали за соседями, которые жили в домах рядом с нами, потом еще за кем-то на край поселка. Наконец, погрузились и поехали. Машина подпрыгивала на ухабах, и все узлы и люди валялись друг на дружку. «Ничего, утрясется-обомнется, — сказал кто-то, — садитесь потеснее, да поудобней, а то ехать-то долго.» Я смотрела по сторонам и ничего не узнавала — кругом темные высокие деревья и все. Машина поднималась на гору, надсаживался мотор, будто из последних сил. Вот и на горе. А сверху луна огромная желтая — такая привычная кисегачинская луна, которая нам светила почти каждую ночь на Урале... Что это блеснуло внизу, будто стекло? Да это же озеро! Наше озеро. С нами прощается. И машина помчалась дальше в темноту. И только луна нас провожала, выплывала из-за вершины горы и светила.

Возвращение в послевоенную Москву. Дружба с С. М. Эйзенштейном. Летние поездки с папой

Мы вернулись домой на улицу Фрунзе. Наша соседка по квартире тетя Даша все эти годы оставалась в Москве, и благодаря ей в нашем доме все сохранилось как было до отъезда: мебель, вещи, папина библиотека и рукописи. В квартире холодно, и в комнате поставили маленькую железную печку — «буржуйку», еще со времен революции, которая называлась так из-за большого расхода дров.

В обычные дни мы обедали на кухне за маленьким, заставленным клеенкой столом. Утром папа, почти не жуя, проглатывал кашу, запивал чашкой чая и убегал в клинику. Уходила в лабораторию и мама, и я оставалась с Олей и тетей Дашей, если она в тот день не работала.

Между ее комнатой и той, где живем мы с Олей, фанерная стенка, которой после революции разделили одну квадратную комнату на две вытянутые маленькие. На двери у тети Даши большой висячий замок, который она снимает, когда приходит из поликлиники, где она работает санитаркой и дежурит через день. У нее в комнате мне очень нравится: в углу у окна большой киот с иконами, перед которыми горит лампада, высокая кровать под белым покрывалом, с вязанным подзором и горой подушек, на стене ходики с гирькой на длинной цепочке. Тетя Даша отдыхает на маленьком неудобном сундуке — лежит, поджавши ноги и накрывшись ватником, а я сижу в маленьком кресле, на которое всегда надет чехол из сурового полотна. Тетя Даша встает, тянется, поправляет круглый гребень в жидких седых волосах, вынимает из комода старое деревянное веретено и серую, вкусно пахнущую шерсть. Я смотрю на веретено, которое будто живое крутится в ее худых, морщинистых руках, и слушаю ее рассказы про деревню: «Мы у папаши яблоки как картошку ели...!» Тикают старые ходики, и гирька опускается все ниже. Сейчас тетя Даша отложит веретено, потянет за конец цепочки и заведенные ходики пойдут веселей.

Папа целые дни проводит в клинике и в Университете, где он читает лекции студентам. По вечерам к нему приходят сотрудники и студенты, и он занимается с ними в своем тесно заставленном книжными шкафами кабинете, за большим письменным столом, над которым висит портрет Выготского. Дверь в кабинет плотно закрывается,

и я слышу из коридора только их голоса. Когда папа работает один, дверь остается открытой, и я вижу его склоненную голову, пресс-папье из серого мрамора и зеленую нефритовую подставку для ручки, слышу, как скрипит перо и терпеливо жаду, когда он кончит писать и поиграет со мной...

...В первый послевоенный год по карточкам давали желатину. Из желатины, конечно, готовили желе — клейкое, дрожащее и вкусное. Но самое интересное было другое: папа умел превращать желатину в расчески и линейки. И делалось это так: сначала я наливала из-под крана воду в глубокую с синей каемкой тарелку и ставила ее на стол, потом папа опускал туда лист желатины, разводил руками и повторял несколько раз «бурли-мурли» и затем вынимал из тарелки прозрачную гребенку или линейку. Это уж когда что получалось. Мы с папой извели пять листов желатины и получили три расчески и две линейки. Целое богатство! Потом папа ушел из кухни, а я все рассматривала тарелку, желатину, расчески и линейки. Конечно, теперь у меня всего много и всем хватит: мне, папе, маме, Оле и тете Даше, если раздать по одной, но ведь можно сделать еще и подарить девочкам во дворе. Вот обрадуются! Желатина еще есть и так все просто. Надо попробовать. Я взяла неровный лист желатины, лизнула его, опустила в тарелку и сказала: «Бурли-мурли» и развела как папа руками. Опустила пальцы в тарелку и стала медленно ощупывать дно, но... не нашла расчески. В тарелке лежал прозрачный и набухший лист желатины. Вот досада! — не получилось, надо попробовать еще раз. Я потратила много листов желатины, пролила воду на стол, но так ничего и не вышло: желатина не хотела ни во что превращаться — ни в линейку, ни в расческу. Я побежала к папе. Папа сидел за столом и что-то быстро писал. Работает, нельзя ему мешать. Постояла немножко и вернулась в кухню. Наверное, папа знает волшебное слово, вот и слушается его желатина. Да, много умеет папа, с ним так интересно играть. Скорее бы он кончил работу и пришел бы на кухню. Надо подождать. Хоть и трудно, но что ж поделаешь — подожду. Придет папа, обнимет меня за плечи, и сделаем мы из желатины красивые прозрачные игрушки...

Иногда к нам приходят в гости папины друзья. Из них я больше всех люблю Александра Владимировича Запорожца и Сергея Михайловича Эйзенштейна...

...Зимний вечер. В квартире тепло и уютно. В комнате родителей топится маленькая железная печка — «буржуйка». Трещат дрова и от ржаво-коричневой изогнутой трубы струится тепло. До трубы нельзя дотронуться — обожжешь пальцы. Я стою у печки, она дышит жаром, отбегаю к окну и прикладываю ладонь к холодному стеклу. Стекло будто покрасили белыми — это морозные узоры, и я

не вижу даже окон дома напротив. Я бегу в кухню и снова в большую комнату. Хочется прыгать и кувыркаться. Сейчас разбегусь и прыгну на тахту, будто в воду нырну. И загуляют-запоют старые пружины.

— Леночка! Не крутись под ногами. Не видишь разве, что я на стол накрываю, — возвращает меня Олюшин строгий голос. Она уже достала из буфета белую хрустящую скатерть, накинула на круглый стол, расправила, и я увидела, что на скатерти белые морозные узоры, как на окнах. И я понимаю, что сегодня праздник. Обычно мы обедаем в кухне за маленьким столиком, покрытым клеенкой со стершимся рисунком, а сегодня в комнате. Значит, будет что-то очень хорошее... будет праздник. Но какой?

— Сегодня к нам Сергей Михайлыч придет, — объясняет Олюша, — и обед у нас будет знаешь какой вкусный: бульон из кубиков, а на второе сосиски!

Теперь понятно, почему так весело гудит буржуйка, и в ней вспыхивают огненные брызги. Понятно, почему папа встал на стул и достает книги и папки с верхней полки шкафа в кабинете. И мама переодевается у меня в комнате. быстро срывает с вешалки синее платье в белый горох, набрасывает его через голову, расправляет складки и бежит к зеркалу причесываться. Заплетает косу и укладывает ее в узел на затылке. Закалывает шпильки. Ух! Успела. И наконец, звонок в дверь. Один длинный-длинный. Дзиннь! И я мчусь к дверям. Но открывать массивную дубовую дверь я не умею и не могу дотянуться до замка. Папа спрыгивает с табуретки, летит к двери, отстраняет меня. И вместе с морозным воздухом из дверного проема навстречу нам, высоко надо мной улыбка. Сергей Михайлович в высокой меховой шапке, в шубе, огромный, шумный, веселый топает ногами, стряхивает с ботинок снег, снимает шапку, разворачивает шарф. И я вижу его непослушные, чуть рыжеватые волосы над высоким лбом и смеющиеся глаза и ровные блестящие зубы. Квартира наполняется шумом. Это они оба Сергей Михайлович и папа говорят громко и смеются и голоса их сливаются. Неужели папа уведет его в кабинет и закроет дверь? Нет! Мама зовет нас в большую комнату. Я мчусь впереди всех, быстрее, быстрее! Мимо буржуйки, в которой гудит огонь, вытягиваю руки и ныряю в мягкое. И пружины принимают и чуть подбрасывают меня. Я скатываюсь с тахты и отхожу в сторону. А Сергей Михайлович стоит у двери, он переступает с ноги на ногу, будто к чему-то примеривается, поправляет, чуть поднимая вверх рукава, разбегается, такой огромный и легкий, и с разбегу вытянув руки летит на тахту. Тахта глубоко проминается под ним, а пружины громко и торжественно гудят и поют. Он легко и быстро встает на ноги: «Ну теперь ты!» И я снова мчусь и ныряю, а потом

он, и так по очереди. А на столе уже хлеб и супница с синей каймой и нас ждут обедать...

Через неделю или две в воскресенье мы с папой идем в гости к Сергею Михайловичу. Папа часто ходит к нему один, но иногда берет и меня с собой. Мне очень нравится у Сергея Михайловича и я взрослым не мешаю. У него три комнаты: маленькая спальня, столовая и кабинет. Белые полы и белые стены. Папа и Сергей Михайлович садятся на диван у низкого столика, читают, смотрят фотографии, что-то записывают и объясняют друг другу, а я устраиваюсь в углу дивана среди мягких разноцветных подушек. Мне удобно и я, если захочу, могу вместе с ними рассматривать фотографии и наблюдать за большой белой рукой, когда Сергей Михайлович рисует. А рисует он удивительно, одним плавным движением, не отрывая карандаша, и фигуры под его рукой оживают.

Сегодня они разговаривают о царе Иване Грозном. Папа замолчал, он слушает, а Сергей Михайлович что-то ему объясняет и рисует на обороте рукописи. И я вслушиваюсь в его голос. Иногда мне кажется, что говорит не один, а два человека. У одного густой неторопливый уверенный голос, у другого — высокий взволнованный голос юноши. Он стремительно поднимается ввысь, будто освобождаясь, торопится и боится, что не успеет сказать, голос ломкий и тонкий. Юноша и взрослый говорят попеременно. Юноша перебивает взрослого и пытается что-то доказать, а большая пухлая рука взяла карандаш и будет рисовать. Сейчас рука заодно с юношей, она помогает ему убедить взрослого, она делает слова ясными, она движется плавно и быстро, будто живет сама по себе. Карандаш оставляет на бумаге след — плавную закругленную линию, волну, падающую и вздымающуюся — вверх, вниз. И через несколько секунд, когда линии смыкаются, а карандаш замирает, я вижу на желтоватом листе напряженные плечи, упавшую на грудь голову и руку, откинутую в каком-то напряженном изломе. Этому человеку очень плохо, очень тяжело, и его протянутая рука, его ладонь принимает на себя давящую тяжесть и опускается. Страдание — говорит тонкий голос, взлетая вверх и замирая на секунду. Выразительность! И снова карандаш плавно и закругленно летит по бумаге и рождается другой человек. Нет! Это тот же самый, но в следующую минуту человек, который страдает. Разговор продолжается, но я уже не слушаю его. Меня тянет большой круглый стол, заваленный толстыми книгами. Книги в разноцветных глянцевых обложках, одни закрыты, другие развернуты. Глянцевая бумага с ровными рядами слов, составленных из непонятных букв — книги на разных языках. Листы, скользящие и прохладные. Мне разрешено смотреть книги и я тихо прохожу к столу. Меня интересует книга с картинками, которую я смотрела в прош-

лый раз. Вот эта! И в нее вложен лист розовой прозрачной слюды с неровными краями. Сейчас я буду смотреть картинки-перевертыши!..

Тетя Паша, которая ведет хозяйство у Сергея Михайловича, уже приготовила обед и зовет нас на кухню. Сергей Михайлович, как и наша семья, обедает на кухне, а круглый стол в столовой всегда завален книгами. Тетя Паша, низенькая грузная старушка с роговым гребнем в стриженных волосах, наливает нам борщ в большие красные пиалы, которые Сергей Михайлович привез из Алма-Аты, где он был в эвакуации. Борщ обжигающе горячий, красный, с капельками жира. Сергей Михайлович и папа разговаривают, тетя Паша гремит крышками у плиты и подает нам второе и чай. После обеда Сергей Михайлович укладывает меня отдыхать в своей спальне на широкую, покрытую ковром тахту, и уходит заниматься с папой. Я не сплю, а разглядываю яркий, радостный рисунок на мексиканском ковре, который висит над тахтой, огромный, в рост человека, подсвечник с семью свечами, стоящий на полу, деревянного ангела, мексиканские и негритянские маски и японские картины...

Лето. Мы живем на дедушкиной даче в Отдыхе, в дачном поселке, где нет леса, где один участок переходит в другой, где дачи за дощатыми заборами выстроились в ряды улиц и переулков. На участках сосны. На дорогах мелкий, как пыль, белый песок. Солнце, синее небо и запах сосен. Мы с папой идем в Кратово в гости к Сергею Михайловичу. Идем долго по новым незнакомым улицам.

Дача Сергея Михайловича похожа на пароход, особенно второй этаж с маленькими под низкой крышей комнатами и идущей вдоль дома длинной террасой, выкрашенной в синий цвет. Тонкие синие поручни — перила ограждают террасу, узкие столбики поддерживают крышу.

Папа с Сергеем Михайловичем разбирают книги, я брожу по палубе. Здесь много интересного. Длинный гамак из разноцветной ткани в широкую полоску совсем не похож на наш плетеный гамак. Около гамака, прислонясь к стене, стоит высокая и тонкая золотая труба с горном на конце. Папа говорил, что гамак Сергей Михайлович привез из Мексики, и я вспоминаю маленькую застекленную фотографию, которая висит в папином кабинете. На фотографии Сергей Михайлович в белом костюме, улыбающийся и молодой, сидит среди огромных кактусов и рядом с кактусами-гигантами он кажется очень маленьким.

Я спускаюсь вниз и после солнца попадаю в полутьму. Тикают часы. В мягком кресле полулежит седая подстриженная старушка с книгой на коленях. Юлия Ивановна — мать Сергея Михайловича. Внизу живет она, а Сергей Михайлович наверху. Нижние комнаты совсем не похожи на пароход. В них старая мебель, громоздкая и

спокойная, наверное, столетняя. А такого кресла, как у Юлии Ивановны, я нигде не видала. Мягкая с подлокотниками спинка и длинная овальная подушка, на которой Юлия Ивановна сидит с ногами. Она не слышит меня, не отрывается от книги, и я знаю, что ей нельзя мешать, и, заглянув в комнату, выхожу из дома. На участке зачем-то вырыли канаву, вдоль нее — насыпь из белого сухого песка. Я спрыгиваю в траншею и рассматриваю тонкие переплетающиеся корни растений, свисающие со стен...

* * *

Сергей Михайлович Эйзенштейн и Александр Романович Лурия познакомились в двадцать пятом или двадцать шестом году, вскоре после выхода на экран эйзенштейновского фильма «Броненосец Потемкин», совершившего переворот в мировом кино. «Я встретился с Эйзенштейном в его квартире на Чистых прудах не на почве киноискусства, а на почве психологических проблем, — вспоминает Лурия <цит. по конспекту лекции о С.М. Эйзенштейне, прочитанной в МГУ 19 февраля 1962 года (Архив А.Р. Лурия)>. — Его интересовала теория и психология выразительности, задача понять законы собственного творчества.

Он понимал, каким удивительным даром превращать самые отвлеченные понятия в наглядные образы он обладал, и какой мощью начинает обладать идея, выраженная в осязаемых чувственных формах. Уже после он писал: «Мы переводим каждую логическую тезу на язык чувственной речи, чувственного мышления, — и в результате обретаем чувственный эффект...» Это естественно привело его к изучению психологических законов чувственного мышления, к анализу того, каким правилам подчиняется не только сознательное, но и неосознанное...

Основной жизненной задачей Эйзенштейна было создание общей теории выразительности, основанной на достижениях современной науки, и для этого он пытался привлечь невероятный по объему и многообразию материал: психологию, лингвистику (анализ семантики и способов выражения смысла в языке), историю живописи, эмбриологию и генетическую психологию (прослеживание, как складываются и формируются движения эмбриона и как они замечаются более сложными формами организации движения)».

С Александром Романовичем Эйзенштейн изучал развитие движений эмбриона, анализировал способ наглядного мышления выдающегося мнемониста Шерешевского.

Совместно с Лурия Эйзенштейн проводит эксперименты по изучению движения человека в состоянии гипноза. В Архиве Лурия сох-

ранились наброски, сделанные рукой Эйзенштейна тринадцатого декабря двадцать восьмого года:

«1) Круг

(1) Идите по кругу.

(2) Что вы делаете или чувствуете?

2) Эллипс:

(1) Идите по эллипсу.

(т.е. на расстоянии от двух точек в таких условиях, что сумма этих расстояний все время одна и та же)...»

На этом же листе портреты Лурия и гипнотизеров: Виноградова и Каннабиха.

Одновременно запись вел и Лурия:

«Протокол опыта 13. XII. 28

Испыт. М.И.

Внушается движение по кругу слева направо; движение должно напоминать прогулку по кругу в Алушкинском парке. Круговые движения должны быть сделаны два раза; глаза должны быть полуоткрыты, но окружающее не должно восприниматься.

Испытуемый на сигнал встает, выходит в соседнюю комнату и начинает двигаться по кругу.

Экспериментатор: Посреди площадки стоит колонка, на ней что-то лежит.

Испытуемый глядит в центр круга, замедляет движение и непосредственно устремляется к центру, двигаясь по направлению сворачивающейся к центру спирали.

Экспериментатор: Вы замечаете, что на колонке лежит красная груша. Вам очень хочется пить и вы хотите взять грушу.

Вы колеблетесь брать ли Вам ее, ведь Вы боитесь, что вас укусит оса... Но вот желание пересиливает... Вы решаетесь взять грушу... Вы берете ее и идете в другую комнату. Оса улетела...»

Лурия знакомит Эйзенштейна с выдающимся немецким гештальт психологом Куртом Левиным. В своем письме к Эйзенштейну, от начала октября двадцать девятого года из Америки он пишет:

«Дорогой Сергей Михайлович,

Пишу Вам наудачу: надеюсь, что это письмо Вас застанет в Берлине. Его передаст Вам мой приятель — Prof. Lewin из Берлинского Психологического Института. Мы много говорили с ним здесь в Америке и он чрезвычайно заинтересовался Вашей «спиралью»; он специально работает над вопросом о движении человека под влиянием сил, исходящих от него и от среды, и ему удалось экспериментально нащупать кое-что подтверждающее Ваши предположения. Я уверен,

что он будет Вам чрезвычайно интересен (так же — как и Вы ему). Попросите его, чтоб он показал Вам отрывки из своих фильмов*, где он заснял экспериментально вызванное движение ребенка по кругу (!!).

Я надеюсь, что еще застану Вас в Берлине, и очень жду этой встречи. Я буду там 25 октября — 5 ноября.

Сейчас я делаю «a round trip» по Америке и пишу вам из Worcester'a (завтра отправляюсь в Бостон. Надо ли говорить, что я видел дико много интересного? Америка будет Вам очень занята!

Я говорил с многими американцами. Из русских фильм знают только Потемкина, и... Волжских бунтарей (!!)»

В январе 1929 года Эйзенштейн встретился в Берлине с Левином, Келером, Заксом. Эйзенштейна приглашают прочитать лекции по теории выразительности.

Лурия узнает об этом и пишет Эйзенштейну:

«Мой дорогой Сергей Михайлович,

Я очень был обрадован, получив Ваше письмо. Ну, конечно, очень хорошо, что с приглашением в Берлинский Университет так хорошо вышло. Вы обязательно должны прочитать там лекции, во-первых, потому, что они очень интересные люди и Вам будет с ними приятно, а во-вторых, — потому что это почти небывалая честь для русского ученого. Я рад за Вас и жалею, что не смогу быть на Ваших докладах.

Вы очень здорово путешествуете, а я — «в это время...» уже успеваю забывать мало-помалу мои заграничные впечатления. Сейчас сижу над большой книгой, которую пишу для Америки — свожу все свои работы о преступниках, экзаменах, внушенных неврозах и прочей нечисти. Думаю, что может получиться интересно.

Мне не хватает Вас здесь — есть очень интересные эксперименты — я теперь работаю все время в клинике — и мне хотелось многое Вам показать, есть замечательные больные и много нового материала по роли слова в организации движения. Ну, надеюсь, что все расскажу к приезду.

Штраух** застать дома невозможно. Он уходит в 10 и возвращается в час ночи. Звонил ему миллион раз и только на прошлой неделе добился.

Крепко жму Вашу руку!

Пишите!

Ваш А. Лурия

* В те годы было принято говорить не фильм, а фильма.
** Штраух — помощник режиссера у Эйзенштейна.

Я шлю Вам маленькую bagatelle <безделка (франц.)> о происхождении письма у ребенка. Быть может прочтаете в metro!> (письмо от 17 февраля 1930 г.).

Сергей Михайлович не только в курсе психологических экспериментов Лурия, но и привлекает самого Александра Романовича к созданию фильмов. Из писем Лурия к Левину мы узнаем, что Лурия проводил съемки о детском счете, внимании и памяти при счетных операциях. Александр Романович приложил усилия к тому, чтобы организовать Международную ассоциацию научных фильмов, создал в киноинституте психологическую лабораторию, где его ассистенты руководили дипломными работами студентов режиссерского факультета.

В начале тридцатых годов Эйзенштейн и Лурия разрабатывают программу семинара по психологии искусства, в нем должны были участвовать Выготский и Марр*, Запорожец и др. «Мы это даже начинали, — вспоминает Эйзенштейн, — но преждевременная смерть унесла двоих» (Выготского и Марра).

Лурия и Эйзенштейн приходят друг к другу домой, чтобы обсудить вдвоем интересующие их проблемы психологии искусства.

Из Средней Азии Александр Романович посылает Эйзенштейну рисунок узбекской крестьянки «Всадник на лошади» со своими пояснениями, который мог представлять интерес для Сергея Михайловича.

Он пишет Эйзенштейну в июне тридцать второго года:

«Дорогой Сергей Михайлович,

Сердечный Вам привет из Алтайских гор. В этом месяце я бродил по площадям Самарканда, по еврейскому кварталу старого города, сидел в кохозных чайханах маленьких узбекских кишлаков, пил жумыс с потрясающими киргизами — и вспоминал Вас, жалея тысячи раз, что Вы не с нами!...»

Они поддерживают друг друга в тяжелые времена. После разгрома среднеазиатских экспедиций и во время жестокой травли, которой подвергся Александр Романович, Эйзенштейн посылает ему сочувственное письмо и получает ответ, написанный в мажорных тонах:

«Я шлю престарелому рабби Леву мою искреннюю признательность за трогательную обо мне память, поистине — память, простирающаяся за могилкой, трогательна!

Я искал два дня по Харькову кошек, кошек, которые вращали бы глазами (что я могу еще послать из этого города?!) и ужас: даже кошек не мог здесь найти.

Я надеюсь быть на днях в Москве и лично выразить престарелому рабби, который «своими руками создал живого голема» — всю полноту своей признательности.

А. А.

9.XII.33

Харьков, город, где нет даже кошек».

Они переписываются и во время войны, находясь в разных концах страны.

«Москва, 11.V.42

Дорогой мэтр,

Почти как целый год потерял Вас из вида и вот сейчас — на краткое время вернувшись в Москву, узнал от Анохина**, что Вы в Алма-Ате. Поэтому пишу на авось — быть может, Вы получите эту открытку.

Я с семьей с октября живу в организованном мною Нейрохирургическом госпитале — он же филиал ВИЭМ — на Южном Урале. Наш Киссегач — это хороший санаторий, стоящий на берегу озер, в лесу, в 90 км от Челябинска. Там мы оборудовали прекрасный филиал ВИЭМ'а со всей современной техникой. Со мной много сотрудников и работа идет хорошо и продуктивно; даже книжки начали выпускать.

Пишите о себе, дорогой Сергей Михайлович, буду ждать писем. Сейчас возвращаюсь из Москвы домой.

Ваш А. Лурия.»

К этому времени относятся строки рукописи** Эйзенштейна: «Сейчас я ставлю фильмы в Алма-Ата, А.Р. Лурия с громадным успехом вылечивает речевых афазиков в лечебнице где-то под Челябинском».

После возвращения Мосфильма из эвакуации Эйзенштейн и Лурия часто встречаются, работают, обмениваются рукописями и книгами.

Весной сорок шестого года Эйзенштейн после первого инфаркта лежит в терапевтическом отделении клиники, он продолжает работать, а Лурия приносит ему книги.

«Дорогой Сергей Михайлович,

Леночкина болезнь*** перевернула все мои планы, — и я еще недели полторы не смогу с Вами видаться.

* П.К. Анохин — крупный физиолог, ученик И.П. Павлова.

** ЦГАЛИ. Архив Эйзенштейна, фонд 1923, Опись. 2, ед.хр.247.

*** Скарлатина.

* Марр Н.Я. — крупный советский лингвист.

Посылаю Вам Kohler'a *Physische Gestalten*. В ней Вы найдете общие законы структуры, — и может быть она даст Вам некоторые нити — до пчелиных сот включительно.

О пчелиных сотах есть кое-что у Дарвина и в 300-психологиях типа Nettelmann'a. Все это — как и Kohler'a, Вы, конечно, знаете, но если они пригодятся Вам — я занесу их (все они — вне Леночкиной комнаты, а отсюда — безопасны).

Пожалуйста, перешлите мне вниз письмецо, я зайду за ним часа через 2-3.

Кстати: написали ли Вы уже «Выразительное движение»? Меня спрашивали об этом в редакции «Педагогической энциклопедии» и я не знал, что ответить.

Ваш А.А.»

И другое письмо:

«Дорогой Сергей Михайлович,

На днях кончается карантин у Концертной и я снова буду у Вас. Чувствует она себя сейчас не плохо, и осложнения пока (тьфу, чтоб не сглазить!) не появлялись. Она тоскует и шлет Вам приветы.

Как Вы чувствуете себя? Не нужно ли еще каких-нибудь книг? Черкните мне по Вашей внутренней почте, я зайду за ответом!

Жму руку!

Ваш А. Лурия

9.IV.46»

Сергей Михайлович выходит из больницы, и возобновляются его встречи с Александром Романовичем.

На одной из таких встреч присутствовал друг Александра Романовича физиолог Гершуни. В материалах к монографии «Метод» Эйзенштейн пишет: «5.VII-47. Александр Романович Лурия имеет обыкновение неизвестно почему, но всегда очень кстати знакомить меня с какими-то интересными людьми, которых считает, что я должен знать.

Вот и сейчас завел он ко мне ученого мужа Гершуни, который занимается исследованием субсенсорных наших реакций.

...в этом виде, как он этим занимается, для меня эта область мало интересна. Но само понятие о субсенсорности включает у меня целый рой мыслей из моих областей, о явлениях, протекающих без регистрации сознанием. Сюда ведь относится вся основная сфера этого, что интересует меня в искусстве»^{*}.

В двух случаях Александр Романович индуцировал Эйзенштейна к написанию теоретических работ по психологии, а именно: статьи «Психология искусства» 1940 года и «Конспекта лекций по психологии искусства» 1947 года.

В конце сорок седьмого года из-за ухудшающегося здоровья Эйзенштейн не мог работать над фильмами. Поэтому он принял предложение Александра Романовича прочитать курс лекций в Московском Университете и стал готовиться к нему.

Начиная «Конспект», Эйзенштейн пишет:

« 19.XI.47

Вчера звонил А.Р. Лурия, приглашал прочесть в Психологическом институте Московского Университета цикл лекций (для студентов V курса) о психологии искусства.

Вовсе не собираясь это делать и не решив вопроса, конечно, сегодня утром в постели стал обдумывать, как бы я прочел такой цикл».

Но преждевременная смерть не дала возможность Эйзенштейну прочитать этот уникальный курс лекций.

Сергей Михайлович умер в ночь с 10 на 11 февраля 1948 года. На столе с разложенными книгами лежала страница последней рукописи. Одна строка ее была изломана и переходила в записку: «Здесь случилась сердечная спазма. Вот ее след в почерке»...

Смерть Сергея Михайловича была горем и нашей семьи. Я помню, как папа позвал меня в кабинет, усадил рядом с собой на диван и необычным для него ровным голосом медленно сказал: «Сегодня ночью умер Сергей Михайлович»... За окном был серый зимний день, в папином кабинете — полутемно. У меня перед глазами замелькали снопы светлосиних искр, и я почувствовала, что через тело прошел электрический ток, как было в раннем детстве, когда я засунула ножницы в штепсельную розетку.

Папа казался сосредоточенно спокойным. Как я поняла потом, он никогда по-другому и не проявлял своего горя: никогда я не слышала от него в тяжелые минуты громких слов, горе было внутри него, когда три десятилетия спустя была неизлечимо больна мама, и папа узнал страшный диагноз, он сказал мне во время нашей послед-

^{*} Цитируется по: «С.М. Эйзенштейн. Психология искусства». — В сб. «Психология процессов художественного творчества». М., 1980.

ней прогулки: «Вот, Ела, у нас такие неприятности, и ты наше единственное светлое пятнышко», — сказал так спокойно и просто, а ведь мамина болезнь стала полным крушением всей его жизни...

Сергей Михайлович был папиным другом; их связывало многое и прежде всего радость интеллектуального общения. Они пережили вместе много тяжелых лет, лет, когда люди боялись откровенно говорить даже с собственными женами. Дамоклов меч ареста висел над их головами. В эти страшные годы (где-то после окончания войны) Эйзенштейн показывал папе рукописи великого режиссера Мейерхольда, арестованного в 1939 году. Архив Мейерхольда после его ареста был спрятан у Эйзенштейна на даче, на втором этаже в деревянном стенном шкафу и я видела, как папа и Сергей Михайлович вдвоем разбирали эти папки.

После смерти Сергея Михайловича папа настоял на том, чтобы после вскрытия был сохранен мозг Эйзенштейна. Его поместили в большой стеклянный сосуд с формалином. Этот сосуд папа принес домой и поставил в холодный стол, который зимой служил нам как холодильник. Разумеется, я ничего не знала об этом. Я только видела, что Оля сердита и чем-то недовольна. Вечером я случайно заглянула в холодный стол и увидела очень широкую стеклянную банку, в которой лежало что-то похожее на ядро гигантского грецкого ореха. Я заинтересовалась и приподняла крышку и почувствовала резкий запах, от которого стало сухо в носу и перехватило дыхание. Я закрыла крышку и побежала к Олюше: «Оля, что там такое?» Она не ответила на мой вопрос, только сердито говорила будто бы сама с собой: «Говорила я ему, нельзя такое дома держать!»

Позже в этот вечер я узнала от папы, что это мозг Сергея Михайловича. Папа говорил мне, что мозг тения должен быть сохранен для науки. Но я плакала и кричала, чтобы его скорее унесли из дома...

Мозг Эйзенштейна хранится в Москве в «Институте мозга», а фотографии лежат в нашем архиве вместе с другими материалами о Сергее Михайловиче: его рукописями, рисунками, записями бесед, текстами папиных докладов об Эйзенштейне.

* * *

Деревня Кривоносов, в которой мы с папой провели август сорок шестого года, стояла ровно и незаметно — два ряда деревянных изб под посеребренными соломенными крышами среди полей, перелесков и леса. За деревней между старых ракич петляла река с песчаными отмелями. Около дома был пруд, в котором отражались деревья и небо — каждый день разное. По берегу пруда через поле шла тропин-

ка в молодой березовый лес, а затем в сосновый бор, куда каждый день с утра мы отправлялись. Ночевали на сеновале, поднимались туда по длинной приставной лестнице, ступали по горам пряного сена, которое подымалось почти до крыши. Настелишь одеяло ровно на мягкую сенную перину. Лежишь и тонешь в сене, в его тепле, в запахе сухих трав и сумерках сеновала. Темно. Ложились затемно, разговаривали, ждали завтрашнего дня, который придет с солнцем. Вставали рано.

Первой вставала хозяйка — тетка Клавдия. Рвала крапиву и рубила ее сечкой в деревянном корыте — для поросенка. Иногда этим делом занимался ее сын — Гарька, выгоревший на солнце мальчишка лет десяти. Он важничал, но бывало, что разрешал и мне рубить крапиву, а сам отходил в сторону и командовал.

Наскоро попив чаю, мы с папой уходили в лес. Молодые березы стигались над дорогой, образуя арки. В этот год была снежная зима, их пригнуло к земле и они никак не могут расправиться, — говорил папа. Мне было жалко деревья, но уж очень красиво они стигались над дорогой. Мы собирали грибы, в тот год их уродилось много, ели бруснику, но больше всего просто смотрели по сторонам, разговаривали и рассказывали друг другу истории, которые на ходу сочиняли, выдавая их за слышанные или прочитанные.

— Папа, а ты знаешь историю про чудесные приключения двух мальчиков — Джона Амиройса и Джеймса Аииса? — спросила как-то я. Конечно, он не знал, и я стала рассказывать... Папа слушал, слушал, а потом стал записывать. Каждый день, устав ходить по лесу, мы садились на опушке и писали продолжение истории. Мы увлеклись этой игрой, словно оба были детьми, которые хотят отправиться в путешествие и пережить чудесные приключения.

А то, что было вокруг, шелест листьев, растрескавшаяся кора деревьев, запах хвои, мягкий мох и небо, воспринималось, как что-то само собой разумеющееся, не удивляло, а было как бы частью нас самих или же мы были частью этого.

Однажды вечером, когда уже солнце стояло низко за верхушками сосен, и мы возвращались домой, папа спросил меня: «Что бы ты сейчас хотела?» Я ответила: «Конфету».

— Какую?

— «Мишку» (это было, пожалуй, даже слишком дерзким желанием по тем временам).

— Хорошо. Видишь ту сосну, иди и рой у корней справа, может, найдешь.

Меня обидела шутка, но я все-таки подошла к сосне и стала поднимать слой мха... и вдруг среди корней на обнажившейся земле увидела «Мишку». Это было в мои восемь лет настоящим чудом, но

незамысловатые чудеса тогда случались выдуманные и настоящие каждый день, поэтому я удивилась и скоро забыла. И только спустя много лет, я узнала, как было дело, но это не так интересно...

«Из вереска напиток
Забыт давным-давно...»

Папа читал, а я слушала. Мы сидели на теплых серых камнях на берегу, почти у самой воды. Над нами шумели березы, маленькие деревца отделяли берег от шоссе, которое лежало выше, на насыпи. Машины проезжали редко, да их и не было видно. Прошуршат шинками, и опять тихо. А иногда по шоссе шли люди: рыболовы или ребята с купанья, и мы слышали их смех, голоса и шлепанье босых ног по асфальту. От мокрых ног на теплом шоссе остаются следы — темные на сером. А ступням так приятно после холодной воды и острых камней, которыми берег усеян, идешь как по мягкому, легко пружиня, и улыбается высокое синее небо, шумят березы, что растут узкой лентой вдоль берега, и блестит вода, а на воде как чешуя — синяя, стальная, серая.

А мы пришли сюда в нашу маленькую рощу с самого утра, когда роса еще на траве лежала. И пробудем здесь целый день до обеда. Сначала мы грелись на солнце, спускались по замшелым зеленым камням и трогали воду. Вода холодная, пусть еще прогреется. А дно уходит так резко, будто проваливается и сквозь воду ничего не видно: только у самого берега зеленые длинные бороды — тонкие и мягкие водоросли. Под березами в траве мы собираем грибы: рыжие с плотной шапочкой и красивыми полосками. Очень веселые и крепкие грибы! И растут они семейками. Некоторые такие маленькие — будто пуговки. А как они пахнут! И остро и горько и ни на что не похоже. Папа говорит, что это не рыжики, а волжанки. Но я не знаю, правильно ли их так называть. И почему, собственно, волжанки? Может быть, ему так захотелось их назвать, а, может, и правда, это их настоящее имя.

Папа, когда был маленьким, жил на Волге. Вот и сейчас любит часами сидеть со мной на берегу. Мы читаем, рассказываем друг другу разные истории и ждем, когда приплывут пароходы.

«Вот, смотри! Какой красавец. Волжский пароход «Илья Муромец». Белый пароход с двумя палубами и круглыми окнами кают ровно и быстро, как большая сильная рыба, разрезает воду, и от него расходятся волны. Вот мостки захлестнуло: раз, два, три, и к ногам на камни плеснуло. А белый пароход уплывает вперед и вода успокаивает-

ся. Двенадцатичасовой прошел, теперь будем ждать баржу. Если нам повезет, то опять увидим плоты. Как-то раз мимо нас проплыл большой плот, а на бревнах у шалаша сидел парень в синей рубашке, он что-то варил на костре, наверное готовил завтрак, а рядом спала собака. Подумать только! Костер на воде. Плот подтакивал сзади маленький и какой-то сердитый закопченный пароходик. Вот бы нам на плот! Плыть, плыть, смотреть на берега, есть рыбу с картошкой и пить чай.

Потом мы купаемся. Осторожно нащупываем ногами скользкие камни, дно уходит. Оттакиваешься и плывешь. Сначала вода кажется ужасно холодной, даже обжигает и хочется скорее на берег, потом согреваешься и мягко покачиваешься, а вода обнимает и поддерживает. Плавать я научилась уже давно — в позапрошлом лето, а лежать на спине только на днях. Мама привезла мне синюю резиновую шапочку и теперь я могу лежать на воде: и это очень просто — надо вдохнуть глубоко, лечь на спину, вытянуться и лежать спокойно. Можно закрыть глаза, но приятнее их чуть прикрыть и смотреть на небо. И кажется тогда, что кроме синего неба и воды ничего больше нет. Солнце заглядывает в глаза, я отворачиваюсь, вдруг соскальзываю, ухожу под воду, выныриваю из мутно-бутылочной водяной толщи и плыву к берегу. Папа уже искупался и ждет меня. Сейчас мы насухо разотремся полотенцами и будем читать.

Читать я научилась поздно и очень любила слушать, когда папа читал мне вслух. Читали больше всего летом, в лесу, на берегу реки или на опушке. Летом 1946 года, когда мы с папой поехали погостить в Кисегач, в те места, где раньше был наш госпиталь, мы садились в лодку, папа выгребал на середину озера, бросал весла и лодка слегка покачивалась среди белых лилий, и кувшинок. Папа начинал читать, а потом передавал мне книгу: «Ну, Ела, теперь твоя очередь». Папа смотрел на часы, отмечал время. Я должна была читать целых десять минут. А хотелось не читать, а вытащить из воды белую лилию, оборвать ее розовый длинный стебель и сделать ожерелье...

Книга снова переходила к папе, и я уже не замечала ничего вокруг, нас подхватывали и уносили простые и чудесные слова, сливавшиеся в музыку:

«У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом...»

В деревне Кривоносов, недалеко от городка Малый Ярославец, куда мы с папой и Олей ездили летом 1946 года к папину еще казанскому другу дяде Володе, мы читали много из восточной поэзии: красивую и грустную историю Фархата и Ширин, Омара Хаяма, Низами.

Но, пожалуй, больше всего книг мы прочитали на даче и ее окрестностях во время летних школьных каникул. После завтрака мы уходили на весь день на канал, где устраивались в зарослях молодых берез, подступавших к самой воде. Расстилали полотенце, читали, купались, загорали на камнях и отдыхали в тени. Встречали и провожали пароходы и баржи, проплывающие мимо нас. И всегда в корзинке была книга, которую папа по-прежнему читал мне вслух. Здесь мы читали стихи в переводах Маршака, рассказы В. Сарояна и новеллы Проспера Меримэ. На красной кожаной обложке Меримэ были черные тисненые силуэты кавалеров со шпагами, монахов в длинных сутанах и нарядных дам в платьях с криолинами и маленькими черными розами в руках. У нас были любимые новеллы, которые мы перечитывали много раз: «Этресская ваза», «Венера Ильская». О, я чуть не забыла «Песню о Гайявате» Лонгфелло в переводе И.А. Бунина! Папа часто читал мне отрывки наизусть. В раннем детстве я засыпала под мелодию ее строф. И сейчас, много лет спустя, открывая последний том Бунина, я встречаюсь с ней, как с самым дорогим, словно пришедшим из моего далекого детства:

«Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом диким и стозвучным
Как в горах раскаты грома?
Я скажу вам, я отвечу...»

Я переворачиваю страницу и мне кажется, что если я подниму голову и прислушаюсь, то услышу в нашем тихом доме смех и приближающиеся голоса, в комнату вбежит десятилетняя девочка с синими глазами, за ней рыжая собака, потом дверь захлопнется и снова отворится, и пружинистой чуть подпрыгивающей стремительной походкой влетит папа: «Ланушка! Встречай, мы с Елкой тебе ягод принесли!» И снова шаги, смех и радостная суета, хлопанье дверей и скрип ступенек лестницы, ведущей наверх.

Нет! Никого нет в нашем старом и тихом доме. Просто ветер хлопнул ставней и заскрипели-заныли дощатые стены верха. Я под-

нимаю глаза и вижу девочку с косичками... на неоконченном портрете над дверью...

Много японских вещей вплеталось в жизнь нашей семьи. Старинные десертные тарелки тонкого фарфора мой дед привез из Японии в 1903 году. Красивые гейши в разноцветных кимоно прогуливались под ветками цветущих яблонь. На каждой тарелке был свой рисунок и их доставали по праздникам, чтобы разложить Олошин сладкий пирог. На столе они стояли в странном соседстве с самоваром и кузнецовскими чашками.

Мамино японское кимоно тоже обитало на даче. Синее с бежевым с вышитыми бутонами и цветами, мягкое и скользящее, с едва уловимым горьковатым запахом... Мама на реке полощет белье. Я сбегая с горы и вижу, как она, наклонившись к воде, быстро и плавно водит руками, а длинные рукава кимоно расправились на ветру как большие крылья.

Кусок японской золотистой парчи закрывал дощатую стену над папиной тахтой. И мы часто рассматривали яркие веера, вытканые золотыми, красными и серебряными нитями. И даже в пасмурный день казалось, что светит солнце. Здесь возле японских вееров папа читал мне японские трехстишия:

«За ночь вьюнок обвился
Вкруг бадьи моего колодца...
У соседа воды возьму!»

Папа читал, а я смотрела на старого японского крестьянина, вырезанного из слоновой кости, держащего на ладони маленькую лягушку и улыбающегося ей беззубым ртом. Конечно, добрый старик не сорвет цветок, обвившийся за ночь вокруг бадьи его колодца. Нет, он не погубит юное и живое, потому, что любит жизнь.

«Осенняя луна
Сосну рисует тушью
На синих небесах»,

— читал папа.

Да-да, это тут у нас! Старые сосны над заливом...

Глава 10

Моя мама и отношения в семье

Мама была главным стержнем семьи, основной опорой. Не знаю, сумел ли папа столько успеть в жизни, если б не мама, думаю, что нет. Мама не только взяла на себя все трудности быта: папа никогда дома и гвоздя не забил, но и поддерживала его морально. Когда у него случались неприятности, от крупных до самых маленьких, он тут же делился с мамой и перекладывал на ее плечи большую часть тяжести. В молодости в трудные тридцатые годы папа часто переживал периоды подавленного состояния: «Я неудачник, ничего в жизни не сделал и не сделаю», — повторял он ей, и мама пыталась вернуть ему веру в себя. По-моему, она была сильнее папы и всегда старалась взять на себя его боль. Ранимая и эмоциональная, она могла вспылить и накричать, но быстро забывала обиду и отходила. Папа никогда не повышал голоса, не давал бурных реакций на происходящее. Один раз он показался мне даже черствым: я тяжело заболела, лежала в клинике, а он уехал в туристскую поездку, а ведь папа очень любил меня. Потом я поняла, что моя болезнь была для него тяжелым ударом и он уехал, чтобы вернуть себе равновесие: его поездка стала способом самозащиты. Он как бы создал себе панцирь, многое не допускал до сердца и вместе с тем очень много помогал людям: делал все быстро и четко, не говоря лишних слов и будто бы не расстраиваясь чужими бедами.

Я никогда не встречала такого теплого и щедрого человека, как мама. Ее доброта выходила за обычные рамки. В молодости, когда она училась в Университете и зарабатывала на жизнь лекциями по биологии, которые читала в маленьких городках Подмосковья, ей жилось очень трудно: одни сношенные туфли, два платья. Но она готова была поделиться и последним с теми, кому было еще труднее. «Отдам, а потом самой ходить не в чем, — вспоминала мама. Кто же меня за язык тянул?» Но потом повторялось все сначала: мама не могла пройти мимо чужой нужды, и я помню, как в детстве я обиделась на нее, когда она подарила кому-то мои книги.

Я перебираю старые фотографии, и передо мной проходит мамина жизнь. Мама с букетом весенних цветов, она смотрит в объектив и улыбается, на ее светлое платье и лицо падает тень от распускающейся листвы молодого деревца, под которым она стоит; фотография тридцать третьего года. Летом они с папой отдыхали в Тарусе, жили в доме посреди веселого и светлого соснового леса недалеко от

реки. Сосны росли на белом песке и в лесу всегда было сухо. Следующим летом они ездили на Алтай: на фотографиях мама в брюках и белой рубашке верхом на лошади, алтайские горы, река Катунь, пастухи и жители алтайских селений. И фотографии Кавказа: мама в шляпе с большими полями на фоне снежных гор, это было до моего рождения, они вдвоем ходили по горным дорогам, останавливаясь на ночлег в горных хижинах. Папа рассказывал, что, когда они спускались с гор, в маленьком селении зашли в столовую, официант подал карточку и спросил, что они хотят заказать. «Шашлык», — ответил папа, официант закричал кому-то за перегородкой «Элико, две порции шашлык», — ушел на кухню и через несколько минут вернулся с пустым подносом: «Простите, нет шашлык! Вина хотите?» Папа попросил цыпленка, официант повторил заказ: «Элико, две порции цыпленка», — ушел и снова вернулся с пустым подносом: «Простите, нет цыпленка! Вина хотите?» Так повторилось несколько раз, а потом папа спросил: «Ну а что же у вас есть?» «Хлеб есть», — сказал официант, принес им тарелку свежего хлеба и бутылку сухого виноградного вина... Несколько фотографий сняты под Тбилиси в местечке Кикеты на даче папиного друга грузинского психолога Дмитрия Николаевича Узнадзею. С ним, его женой и дочерьми Этери и Медеей мои родители дружили многие годы, и семья Узнадзе часто останавливалась в нашем доме на улице Фрунзе.

Фотографии тридцать девятого-сорокового годов сняты на дедушкиной даче: мама купает меня в железной ванночке, мама в саду со мной и люсиной дочкой Ириной, мы сделали пирамиду: внизу сидит мама, затем Ирина, а сверху я.

Ирина уже большая девочка — она старше меня на шесть лет. А на другой фотографии мы всей семьей вокруг круглого стола на террасе, залитой солнечным светом. На столе пирог и кипящий самовар и мама разливает чай... Когда началась война и папа собирался пойти добровольцем на фронт, мои родители решили сфотографироваться всей семьей; мы пришли в квартиру бабушки и дедушки в Серебряный переулок и фотограф сделал несколько фотографий: на одной семья за столом на фоне узбекского сюзана, которое папа когда-то подарил своим родителям, на другой — папа, мама и я. У взрослых серьезные, осунувшиеся лица. И мама и папа на этих фотографиях выглядят старше своих лет, папе исполнилось тогда тридцать девять, а маме тридцать семь... Следующие фотографии сняты в срок втором году в Кисегаче: лето, мама, Оля и я около нашего дома, мама чистит большую рыбу, которую кто-то поймал в озере; первую зиму было очень трудно с продуктами, а потом как-то устроились, нам дали огород и мама с Олей сажали картошку и большим подспорьем стали грибы, которые мы солили на зиму... Мама на дере-

вянной скамейке возле дома перебирает грибы; на этой фотографии она очень худая и у нее измученный вид. Когда госпиталю для родонных ванн понадобился родон, мама, которая в первое время работала санитаркой, а потом организовала гистологическую лабораторию, поехала в Москву, где получила ампулу с радиоизотопом и везла ее за пазухой. Поезд шел долго, часто останавливался и мама добиралась до Кисечага почти неделю. После возвращения из Москвы она сильно похудела и очень плохо себя чувствовала. Спустя несколько лет она поняла, что облучилась и перенесла лучевую болезнь, и только благодаря крепкому организму и выносливости она продолжала работать в госпитале.

Послевоенные годы: мама с букетом горных маков в Крыму, она снова веселая и молодая; мы отдыхали тогда в санатории, и рано утром, когда я еще спала, родители ушли в горы собирать маки. Они вернулись и мама в открытом платье и с букетом цветов вышла на балкон, огражденный узорчатой решеткой, а папа сфотографировал ее на фоне моря. Я проснулась и босиком, в полотняной ночной рубашке с вышитым воротом, выбежала из комнаты и мама протянула мне цветы...

Мама никогда не была строгой со мной, разрешала мне делать все, что я хочу, и, когда я пошла в первый класс, она потихоньку от папы помогала мне выводить корявые ряды крючков и букв в моих первых тетрадах. Мои родители жили очень дружно, и я помню их единственную ссору из-за моего воспитания. «Ты совсем избаловала ее, — выговаривал папа, — своим воспитанием ты портишь ребенка», а мама в ответ что-то кричала и плакала. Папа пытался воспитывать меня и, когда я выдернула кран из кипящего самовара и только чудом не ошпарилась, запер меня в темной комнате, я плакала, и мама освободила меня. Папа махнул рукой на мое воспитание: «Не знаю, что из нее получится, Лана совсем распустила ее», — жаловался он друзьям.

Кроме тяжелой работы в лаборатории, мама много делала по дому, и со мной больше занимался папа: мы гуляли, читали книги и путешествовали. Хотя я была «папиной дочкой», в трудную минуту я бежала не к нему, а к маме, и она всегда помогала мне. В детстве и юности мне казалось, что мама может все. Когда у моих подруг случались неприятности, на помощь приходила мама...

* * *

Зиму сорок восьмого года мы с Олей провели на даче: я заболела туберкулезом, и врачи посоветовали увести меня из города. Мама возила нам продукты из Москвы: по глубокому снегу она четыре кило-

метра везла на санках сумки со станции. В потертой коричневой шубе, перешитой из дедушкиной дохи, в белом шерстяном платке и валенках, мама приезжала на дачу даже в сильные морозы. Один раз она везла очень много вещей и у нее от напряжения пошла носом кровь.

В эту зиму папа сделал много наших с мамой фотографий: в занесенном снегом саду, в лесу и в утонувшей в сугробах деревне с дымом, поднимающимся над белыми крышами. Зима стояла морозная, зато как хорошо было дома! Оля ставила на круглый стол медную, еще с казанских времен сохранившуюся керосиновую лампу: электричества тогда у нас не было. И мы приступали к обеду. Потом папа ложился поспать на часок в маленькой комнате у печки. А вечером мы втроем выходили гулять. Шли гуськом по узкой тропинке. Над нами шумели, покачивая ветвями, огромные черные деревья, и с них падала колющая снежная пыль. В небе сверкали звезды, и папа говорил нам их названия. Мы заходили в гости к соседям. В бывшей ивановской усадьбе в маленькой утепленной пристройке жила тогда очень старая женщина Татьяна Петровна; дворянского рода, когда-то красавица, она превратилась в сторбленную старушку, которая дожила свой век в одинокой избушке. Татьяна Петровна радовалась нам, она усаживала папу и маму на диван и начинался разговор, а я рассматривала фотографии в старинных темных рамках. Мы заходили и к другой нашей соседке Татьяне Федоровне, бывшей учительнице, необыкновенно доброй старушке с неожиданно молодыми синими глазами. Или шли в гости в деревню к художнику-самоучке Антону Семеновичу Ломтеву. Стены его дома от пола до потолка были увешаны видами нашей Свистухи во все времена года. Кроме того, Антон Семенович был портным, и мама отдавала ему в перелицовку папины старые пальто и костюмы.

Утром мы снова уходили из дома. Кататься на санках и на лыжах папа не любил, и мы, закутанные и в валенках, отправлялись пешком. В этот год река стала очень поздно и, хотя берега ее были занесены снегом, вся поверхность реки представляла огромный коток. Светило солнце, и прозрачный толстый лед блестел и отливал зеленым. Мы разбегались и катились по нему, продвигаясь все дальше в верховье реки. Вдоль берега тянулись заросли сухих коричневых водорослей, вмерзших в лед и поднимающихся над ним густым кустарником. Водоросли с треском ломались. Мы собирали их в букеты и рассматривали узоры в зеленой толще льда и застывшие пузырьки воздуха, которые поднимались со дна реки.

Летом из окрестных деревень к папе приходили больные, которым хотелось проконсультироваться у профессора. Они садились на маленькой, увитой виноградом террасе и долго рассказывали папе о

своих жалобах. Папа давал осторожные советы и многих устраивал в клиники. Сам он не был, конечно, хорошим врачом, ведь он никогда не работал в терапевтической клинике. Но беседа с ним часто помогала больным, которым хотелось выговориться. Настоящим врачом по призванию была мама, не имевшая медицинского диплома. Она ходила делать уколы и ставить банки в деревню, а иногда лечила и скотину, и ее вызывали, когда заболевали люди и коровы. Благодарные пациенты приносили в наш дом кто что мог: десяток свежих яиц, огурцы, рыбу, ягоды. Наш сосед-охотник, которому папа помог когда-то, многие годы на Новый год приносил зайца. Оля не верила в папины медицинские познания: «Да много ли он понимает: Вот Роман Альбертович умел лечить: со всей Волги к нему приезжали». И сама, если заболевала, советовалась с мамой, а не с папой. «Он не врач, а психолог», — презрительно говорила она.

Мама во время летнего отпуска успевала все и много времени проводила в саду. Она посадила махровую сирень, много сортов роз, пионы, флоксы и георгины. Она занималась и огородом, и папа, отрываясь на несколько минут от рукописи бежал к грядкам и хрустя свежим огурцом поднимался к себе наверх. Он любил показывать гостям и соседям наш сад и цветник, но сам никогда не делал никакой работы в них. Он выходил в сад с фотоаппаратом и фотографировал маму возле кустов цветущей сирени, пионов и жасмина.

На дачу мы переезжали в середине июня, когда все в природе было свежим, молодым, радостным. Здесь мы отмечали мамин, а через неделю и мой день рождения.

День моего рождения всегда был праздником в нашей семье. Я очень чутко спала в эту ночь, часто просыпалась, смотрела на круглый стол возле кровати наверху в маленькой комнате второго этажа, где мы жили с Олей, но подарков еще не было. Неужели родители и Олюша забыли, что у меня сегодня день рождения и стол, покрытый вышитой скатертью, останется пустым? Я снова засыпала и просыпалась от яркого солнца, которое во всю светило в мое окно. На столе не было пустого места: он весь заставлен чем-то ярким, разноцветным, сияющим. Я даже глаза зажмуривала. А потом вставала в одной рубашке и начинала рассматривать подарки.

Чего там только не было! Красивое платье с красными ягодами и зелеными листьями по желтому полю свешивало со стола свои рукава-фонарики, синие широкие ленты для кос, букет белых только что расцветших пионов с нежными фиолетовыми сердцевинками и тугими бутонами. Книжка с глянцевыми картинками. Да-да! Мои любимые сказки Андерсена. Вот на картинке фарфоровая пастушка с пунцовой розой, подколотой на платье, и трубочист в черном костюме и шляпе со своей лесенкой, а вот — старый уличный фонарь, которому

ветер и звезды сделали чудесный подарок и он может видеть и показывать все, о чем слышит: правда, если в него вставят свечку...

Мама приносила тарелку только что собранной первой клубники, а Оля поздравляла меня с пирогом. Приходил папа, улыбался и с порога говорил: «Открой рот и закрой глаза», и шоколадная конфета таяла у меня во рту.

В этот день мама ставила ведерный самовар и мы пили чай на большой террасе с Олюшиными пирогами. Она пекла их накануне: укладывала на круглые сковородки сладкое песочное тесто, потом слой прошлогоднего варенья и сверху покрывала узорчатыми переподками, сделанными из теста и похожими на елочки. Вкусные получались пироги! Правда, много не съешь — слишком сладкие.

Вечером приходили к нам гости — наши друзья и соседи по поселку, иногда приезжала из города тетя Люся — красивая, оживленная. Она долго не сидела на террасе, а уходила на реку, где устроившись на берегу, читала книжку.

День был долгим-долгим и наполненным какой-то звенящей радостью.

Мама была ярким и талантливым научным работником; всю жизнь она работала с максимальной отдачей. В 1937 году она защитила кандидатскую диссертацию, а после моего рождения в декабре 1938 года перешла в Институт нейрохирургии, в котором папа работал ординатором. В институте она организовала группу по культивированию вне организма опухолей мозга. Мама налаживала работу на пустом месте, в крошечной, темной комнате. Только благодаря своему энтузиазму она смогла наладить эту сложную в то время методику. Я знаю, насколько трудна работа с тканевыми культурами: в ней требуется соблюдение строжайшей асептики и как изнурительно проводить целые дни в маленьком без вентиляции боксе и дышать через трехслойную марлевую повязку, ведь мама начинала свои исследования еще до появления антибиотиков.

После возвращения из Кисегача в Москву, мама смогла снова заняться в Институте нейрохирургии своим любимым делом — тканевыми культурами.

У тканевых культур долгая и трудная история, вместившая в себя много человеческих судеб нескольких поколений исследователей. С самого начала своего существования в 1910 году, культуры вызвали оживление в научном мире и привлекали к себе большое внимание. Но занимались культурами только энтузиасты, которые не боялись ежедневного скрупулезного труда в борьбе за самостоятельную жизнь

изолированных клеток. Постановка и поддержание культур клеток требовали от ученого не только большого терпения, но и искусства. Клетки капризны и ранимы и трудности начинались с первого момента — с выделения их из организма. Культуры требуют постоянной подкормки, пересадки, наблюдения и хорошо налаженного лабораторного хозяйства. Поначалу они многих привлекали, а затем отпугнули трудностями. Однако нашлись и их горячие приверженцы, которые продолжали свою скрупулезную работу.

Мне повезло: моя первая встреча с культурами состоялась в раннем детстве, в сорок четвертом или сорок пятом году. И хотя с тех пор прошла целая жизнь, тот день ярко проступает в памяти. И я снова чувствую себя замерзшей шестилетней девочкой, которая пришла в мамину лабораторию...

После метели в зимний день цветы казались особенно яркими и теплыми и каждый раз удивляли меня своей красотой. Да неужели они настоящие? Не склеенные из желто-оранжевой прозрачной бумаги, а самые настоящие, выросшие летом цветы.

— Нравятся? — спросила меня Софья Михайловна. — подойди сюда, ты мне не помешаешь. Вот садись, — говорила она и освобождала белый стул-вертушку, а сама что-то быстро и ловко делала с ровными квадратными стеклышками, расположенными на столе. Открывала пузырек и наносила палочкой на стекла желтые тягучие капли. И пахло чем-то особенным: летом, смолой, кедровыми шишками.

Лаборатория! Я люблю сюда приходить. В лаборатории все такое блестящее, красивое. А сколько самых разных стеклянных вещей: палочки, баночки, бутылки большие и маленькие, стаканы, огромные полоскательницы с водой и даже стеклянная комната. Вот туда-то мне больше всего хотелось войти. Там за стеклянной стеной работала мама, и я могла только смотреть на нее через стекло. Первый раз я даже не узнала ее. Да, немудрено! Как узнать, если она вся завернута в белое: длинный халат, косынка, а рот и нос закрыты марлей и открыты только руки и глаза. Но она не смотрит на меня, глаза опущены вниз на коричневый блестящий стол, где около голубого огня толпятся разные стеклянные пузырьки. Раз! Мама открывает пробку и набирает раствор в тонкую стеклянную трубочку. Два! И горлышко бутылки мелькает над огнем и пробка на месте.

— Леночка, не отвлекай маму, — говорит Софья Михайловна, — видишь, она работает — подкармливает культуры. У нее во флаконах культуры растут, и мы с мамой о них заботимся. Делают хирурги операцию, больные кусочки мозга вырезают и нам сюда приносят. Мы эти кусочки мелко бритвой режем и во флаконы сажаем. И они у нас живут там и растут много-много дней, а мы за ними ухаживаем, и в микроскоп смотрим. Вдвоем с мамой все дела-

ем, а потом на наши культуры врачи смотрят, ведь это им помогает больных лечить.

И пока мы разговаривали с Софьей Михайловной, мама кончила подкармливать культуры, сняла марлевую маску и косынку и вышла из бокса, провела рукой по моим волосам и спросила: «Сильно замерзла, Елка? Мы тебе сейчас чаю дадим с сухарями, а потом будешь с нами работать.»

А потом мы убрали со стола, и Софья Михайловна откуда-то принесла большого белого петуха.

— Сейчас у него кровь возьмем — культуры подкармливать, и перевернула петуха на спину. — Видишь он заснул. Все готово, Лана. Можете начинать.

Мне стало страшно, и я зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела ровный ряд пробирок, наполненных чем-то красным, и петуха, который выглядывал из белой холщевой сумки и норовил клонуть стекло.

Вечером мы возвращались с мамой домой, и в кармане у меня лежали подарки: пузырек для культур, две стеклянные палочки и воронка...

В конце сороковых — начале пятидесятых годов в тяжелое для всей советской биологии время культурам предъявляли тяжкие обвинения: «Культуры не нужны ни для теоретической, ни для практической медицины; культуры представляют собой искусственную упрощенную систему, которая наносит вред науке о целостном организме. Культуры — лженаука, а результаты, полученные в них — артефакт». Многие лаборатории тканевых культур были закрыты и ученые остались без любимой работы... Я помню, как в нашем доме поселилась тоска: недомолвки, отрывки разговоров и мамыны заплаканные глаза...

Идеологическому и административному разгрому подверглись те самые области биологии и медицины, в которых работали оба моих родителя.

Разгром советской медико-биологической науки в конце 40-х — начале 50-х годов

Летом пятидесятого года происходила совместная сессия Академии Наук и Академии Медицинских Наук. Эта, так называемая «Павловская сессия» стала трагическим событием для советской психологии, физиологии, неврологии и психиатрии и на многие годы отбросила их далеко назад. Это был следующий этап разгрома биологической и медицинской науки, который начался в 1948 г. на пресловутой августовской сессии Академии Сельскохозяйственных Наук им. Ленина (ВАСХНИЛ). Сессию ВАСХНИЛ проводил Лысенко и его приспешники при прямой поддержке Сталина. Ее целью было директивное запрещение генетики и дарвинизма и замена их на «мичуринскую биологию».

Павловская сессия была подготовлена и организована мрачной фигурой в истории советской науки — физиологом А.Г. Ивановым-Смоленским. Еще в 1929 году Иванов-Смоленский опубликовал книгу «Естествознание и наука о поведении человека» (подзаголовок ее «Учение об условных рефлексах и психология»). В ней он, пересмотрев большую литературу по физиологии и биологии, приводит найденные им уничтожающие психологию высказывания. В заключение Иванов-Смоленский противопоставляет науку о высшей нервной деятельности психологии и выражает сожаление о том, что приходится считаться с существованием психологии. Идеи Иванова-Смоленского оказались миной замедленного действия — они сработали через двадцать лет. В 1949 г. Иванов-Смоленский получает Сталинскую премию за книгу «Очерки патофизиологии высшей нервной деятельности (По данным И.П. Павлова и его школы)» и в 1950 г. идет в наступление — готовит сессию. Сессия открылась в духе того времени с приветственной телеграммы Сталину, которую зачитал Иванов-Смоленский. На сессии под лозунгом критики и самокритики были грубо ошельмованы ведущие физиологи Л.А. Орбели, И.С. Бериташвили, П.К. Анохин и многие другие, в работах которых действительно углублялось учение Павлова. Психологи вообще не были приглашены на эту сессию.

Сессия имела тяжкие последствия. Она повлекла «оргвыводы», прочно затормозившие развитие отечественной медико-биологической науки: закрытие научных направлений, изменение учебных про-

грамм в вузах и резко ухудшила общий климат в науке, повседневный научный быт.

«В одном научном институте, в котором «консультантом» была ученица и сотрудница Иванова-Смоленского Середина, — вспоминает психолог Сусанна Яковлевна Рубинштейн, — все психиатры — научные сотрудники должны были при утверждении планов указывать, с помощью каких методов они планируют разрешать свои проблемы. И вот все те, кто среди прочих «вспомогательных» методов упомянул «психологический эксперимент» — получили свои планы назад с пометкой консультанта «идеализм».

Психологам, работающим в медицинских учреждениях, учинялись униженные экзамены-допросы по высшей нервной деятельности. Их проводили преподаватели кафедр физиологии, имевшие весьма смутные представления о современной генетике и биохимии, да и о современных проблемах самой физиологии. Так, например, мало известный сотрудник Иванова-Смоленского Миловидов экзаменовал профессора Зейгарник. Задал ей вопрос: «От каких мозговых систем зависит личность?» Правильный ответ предполагался таким: «От соотношения коры и подкорки». Едва ли сохранение ее на работе зависело от этого экзамена, но трепка нервов была обеспечена».

Павловская сессия сильно повлияла на научную судьбу Александра Романовича: в пятьдесят первом году закрыли его лабораторию в Институте нейрохирургии. Для него это было сильным потрясением. Мама потом рассказывала мне, что, вернувшись домой, он плакал; дело его жизни оказалось перечеркнутым. Его приютил Институт дефектологии, где он получил возможность работать. Ему снова пришлось менять направление и начинать работать в новой области. Мне хочется сравнить его научную жизнь с деревом, которому несколько раз обрубали ствол и каждый раз из корня пробивался новый зеленый росток и вырастала новая крона.

В Институте дефектологии он начал проводить исследования по организующей роли речи в поведении. Он стал изучать вопрос о том, каким образом развивается у детей словесная регуляция поведения в норме и при различных формах умственной отсталости. В выборе метода исследования Александр Романович сделал поистине гениальный ход. Ведущий теоретик павловской школы Иванов-Смоленский широко применял сопряженно-двигательную методику и требовал ее использования в лабораториях; и Александр Романович возвращается к своей сопряженной моторной методике, которую он разработал и столь успешно использовал в двадцатые годы.

Александр Романович остается профессором Университета и продолжает читать лекции. Его ученица — Ольга Виноградова начала слушать лекции незадолго до павловской сессии.

«Он нам начал читать нейропсихологию, и мы ездили на лекции с демонстрацией больных в институт Бурденко, — вспоминает Виноградова. — Александр Романович производил совершенно потрясающее впечатление: красивый, обаятельный и прекрасно говорящий, он подчинял своему обаянию любую аудиторию... Наступил пятидесятый год, Павловская сессия, и в результате мы — психологи узнаем, что науки психологии нет, что нет души, а есть одни условные рефлексы. По существу на лекционном курсе, который читал нам Александр Романович, это не отразилось. Александр Романович прекрасно знал Павловское учение, и в его лекциях изменилась лексика и красоты прямого психологического языка были заменены, но тем не менее знания, которые он нам давал, оставались на уровне настоящей науки.

В пятьдесят первом году лаборатория нейропсихологии закрывается, Александра Романовича выгоняют из института нейрохирургии, принесся в жертву интересы больных: ведь ни один хирург не шел на операцию больного без заключения нейропсихолога. Александр Романович находит убежище в Институте дефектологии. Я училась тогда на четвертом курсе, и решался вопрос о том, где мне делать диплом: в Институте дефектологии или в Институте нейрохирургии в отделе физиологии. Александр Романович ответил: безусловно в Институте нейрохирургии — это торная дорога для нейропсихологии, а Институт дефектологии — боковой тупик. И на год мы с Александром Романовичем расстались. Я окончила Университет со сверхкрасным дипломом и была рекомендована в две аспирантуры: на кафедру психологии философского факультета и на кафедру высшей нервной деятельности на биофаке. Я сдала на философском факультете экзамены, начала учиться, но через месяц выяснилось, что меня нет в списках...

Я сижу дома с новорожденной Марией и у меня наступила полная апатия. В шесть тридцать Александр Романович звонит мне: «Олечка! Доброе утро! К восьми часам приезжай ко мне на разбор в спецшколу Института дефектологии». Он вытаскивал меня на разборы, и я только потом поняла, какое благо он для меня сделал. Меня никто не брал на работу с маленьким ребенком. У Александра Романовича страшно ограниченные возможности, и он мне ничего не может предложить, но продолжает держать меня в научном тонусе.

Умственно-отсталые дети с разными формами патологии для Александра Романовича — совершенно новый материал, но у него идеальное научное чутье и огромный опыт. Свои методики, разработанные совершенно для других форм патологии, он модифицировал и создал совершенно новые тесты исследования умственно-отсталых детей. При этом он диагностировал и формы патологии и давал прогноз: при помощи специальных тестов определял, в каких случаях

можно ожидать улучшение и намечал, как проводить восстановительное обучение. Как Вы знаете, на развитии речи сделаны основные работы Александра Романовича и он сумел их применить и в дефектологии.

Я никогда не видела Александра Романовича в плохом настроении, но иногда у него вырывалось: «Ну все-таки, Олечка, это не локальная патология, не чувствуешь материал, не чувствуешь мозга за этим делом!» И это было для него душевной травмой».

Павловская сессия, а также сессия ВАСХНИЛ, на которой была разгромлена советская генетика, вызвала близкие им по духу мероприятия в виде конференций, пленумов, собраний и соответствующих оргвыводов, которые касались широкого круга биологов и медиков, включая морфологов, патологов, физиологов, психологов и психиатров. Об одном таком мероприятии физиолог Наталия Николаевна Трауготт рассказывает:

«В пятьдесят втором году проходил объединенный пленум Общества психиатров и Общества физиологов. Это было в университете в зале, в том отделении, где физиология, и хотя столько лет прошло, когда я вспоминаю это собрание, мне всегда кажется, что оно проходило где-то в подполье, в темноте.

Сидели люди, страшно напряженные, испуганные, а в президиуме — трое судей: Баншиков и двое других. Иванов-Смоленский сидел в зале, но иногда появлялся в президиуме и что-то шептал председателю. На этом судилище выступали и каялись. Каялись в том, что недостаточно понимали Павлова, слишком много внимания уделяли мозгу, вот в таком духе. Причем, когда кончали каяться, то президиум объявлял: достаточно покаяться или недостаточно. И, если считали, что недостаточно, то заставляли выходить второй раз. И вот Шмарьян, например, выходил три раза, потому что каждый раз после того, как он говорил: «Ну да, я виноват в том-то и том-то, но все-таки нужно учитывать мозговые факторы...» Ему говорили: недостаточно покаяться, не понял своих ошибок. Он выходил снова и буквально на глазах, как воздушный шарик, из которого выпускают воздух, таял. Первый раз он вышел человеком, уверенным в себе, но с каждым разом, когда ему приходилось выходить снова и снова, он терял человеческий облик и превращался в какого-то загнанного старика.

Естественно, Александр Романович тоже каялся. Но суд над ним завершился очень быстро: сказали, что он нанес ущерб развитию учения об афазии и что это надо занести в протокол и Александр Романович особенно не спорил...

Для характеристики этого пленума я расскажу, как вел себя профессор Гуревич, единственный человек, который сумел в этой ситуации над всеми посмеяться. Он вышел с таким поникшим, даже

трагическим видом, и сказал: «Да я очень виноват, я конечно всю жизнь ошибался, я ищу корни своих ошибок и нашел их! Когда я был студентом, я интересовался анатомией мозга. Зачем я это делал? Когда я стал врачом, и у меня умирал больной, я шел в прозекторскую и смотрел, что у него в мозгу. Зачем я это делал? Теперь я понял, какой ошибочной была целая жизнь!» Я сидела и думала, что же сейчас будет? Ведь он издевается! Но, представьте себе, встал председатель и сказал: «Вот профессор Гуревич действительно кается по-настоящему, он ищет источники своих ошибок».

После пленума мы с Александром Романовичем ходили взад и вперед по улице Грановского, и он был в депрессии и говорил: «Если я все неправильно делал, скольких же людей я неправильно вел!» Я говорила: «Что Вы, Александр Романович, ведь это же врут! Неужели Вы не видите, что все это врут». Но я его, конечно, убедить не могла. Мы пришли домой, и Лана Пименовна сумела его убедить. Я не встречала в жизни, такого сильного, такого цельного, доброго и стойкого человека, как Лана Пименовна. И она сказала: «Ну пусть сейчас могут арестовать, пусть могут снять с работы...» «Но, я не того боюсь, что меня арестуют, лишат работы, — говорил Александр Романович, — я думаю о том, сколько я вреда принес, вся моя жизнь была бесполезной». Но она говорила: «Не верь, не верь — это темное время. Не верь!» — может быть совсем не эти слова были сказаны, но сумела его подбодрить».

В январе пятьдесят третьего года началось дело «врачей-отравителей». О нем передавали по радио, писали в газетах, говорили на собраниях. Дело врачей носило открыто антисемитский характер: по бредовым обвинениям были арестованы крупнейшие советские терапевты, в основном евреи. Александр Романович со дня на день ждал ареста: у него был собран маленький чемодан с вещами. К счастью, Роман Альбертович не дождал до этого времени.

У дела врачей были предвестники: «В пятьдесят втором году Александру Романовичу указывают, что у него в лаборатории слишком много евреев, — рассказывает Ольга Виноградова. — Он обращается с личной просьбой к Жене Хомской и Нелли Зислиной, чтобы они нашли другое место работы. Ситуация трагическая, и он ничем не может помочь. Женя безоговорочно для спасения Александра Романовича подает заявление об уходе, и он устраивает ее на работу в специальный детский дом для олигофренов в Сокольниках. Александр Романович ездит туда на разборы и консультации. Он считает, что Женя поступила благородно, не вступая в конфликт с властями, и всю жизнь он подчеркнуто говорит, что Жене он обязан и сделает для нее все.

В начале пятьдесят третьего года я поступаю лаборантом в Институт дефектологии в лабораторию тугоухих. Время «врачей-отравителей», и мне поручено вымарывать из докторской диссертации заведующей лабораторией нежелательные фамилии и заменять их другими. Вот с чего началась моя работа! От сотрудников Александра Романовича В.И. Лубовского и Мещерякова я потом узнала, что в это время Александр Романович не уходил в одиночку из лаборатории. Если идти было не с кем — у мужчин опыт, он садился с книгой и дожидаясь кого-нибудь из них с тем, чтобы идти к дому вдвоем, чтобы оставшийся сотрудник мог сообщить домой, если его арестуют.

А в это время лаборатория разрабатывала и вводила новые методы исследования».

Смерть Сталина. Оттепель. Нормализация обстановки в науке

Многое менялось в окружающей жизни.

На берегу «Московского моря» — большого водохранилища, через которое проходил канал «Москва-Волга», стояла гигантская каменная фигура Сталина, построенная из огромных блоков гранита. Ее взорвали. Несколько раз мы с папой ездили смотреть на развалины, ходили между расколотых глыб. В одной из них мы узнали пуговицу от кителя. Обломки долго лежали на берегу, пока их не увезли... Для папы, как и для многих людей его поколения, смерть Сталина являлась решающим событием в жизни. Многие из его товарищей были репрессированы в тридцатые-сороковые годы и находились в лагерях. Еще в конце сороковых годов в жизнь стали входить новые слова: бдительность, космополитизм, преклонение перед Западом. Цитировать иностранных ученых делалось опасным. Папин друг и коллега по институту нейрохирургии С.М. Блинков, который редактировал его книгу «Восстановление функций после военной травмы», заново переписал введение, в котором разбирались работы Шеррингтона, изъял их и вставил Павлова, чем отвел большие неприятности, которые могли обрушиться на папу.

С января пятьдесят третьего года, когда началось дело «врачей-отравителей» обстановка в науке, литературе и искусстве, да и вообще в стране, стала особенно напряженной, и только смерть Сталина пятого марта пятьдесят третьего года положила конец этому кошмару. «Врачей-отравителей» вскоре реабилитировали... В пятьдесят шестом году стали возвращаться из сталинских лагерей люди, которые провели там долгие годы. Люди перестали жить под гнетом постоянного страха и напряжения. Пора Оттепели, как образно назвал это время писатель Эренбург, сказала во всем: в изменении жизненного уклада, в науке, в литературе и искусстве. Общество становилось более открытым, начали приезжать артисты и ученые из-за рубежа. Казалось, что общество просыпается после тяжелого мрачного сна.

Мне снилась бухта Радости...

Зеленая прозрачная вода, горько-соленая на вкус, серые скалы,

облепленные ракушками. Я плаваю и ныряю с открытыми глазами, рассматриваю освещенное солнцем дно, по которому движется моя тень. Маленькие рыбки проплывают подо мной, застывают на месте будто прислушиваются и поворачивают в другую сторону. Папа уже искупался и лежит на плоской, разогретой солнцем скале. Сейчас я подплыву к скале, заберусь наверх по ее шершавому от ракушек краю и сяду возле папы.

Морская вода щиплет мне глаза, першит в горле, и набегают слезы... Я просыпаюсь и чувствую горький вкус моря.

Летом пятьдесят пятого года мы путешествовали на машине и остановились на несколько дней в маленьком селе Восточного Крыма. Жили в домике, который стоял на вершине холма поодаль от других домов. Папа называл наш побеленный глиняный дом — виллой Зайцевых. В доме мы только ночевали: завтракали и обедали за столом, вынесенным на утрюбованную площадку под окнами. Мы смотрели на море и старую крепость, которая казалась продолжением большой горы, на которой ее когда-то построили: крепость будто вырастала из горы.

Утром гора с крепостью и скалы становились темно-синими; из-за солнца, которое пряталось за ними; вечером скалы розовели.

Мы много бродили вокруг: поднимались в старую крепость, ходили по узким переходам и стершимся ступеням, и папа рассказывал мне историю крепости: много лет назад генуэзские купцы построили ее, и крепость защищала торговые корабли, приплывавшие сюда. Мы купались под крепостью, лежали на белом песке и уходили по безлюдному берегу, поднимались на гору и осторожно шли по узкой тропинке, выбитой в отвесной каменной стене высоко над морем. Под нами шумело и бурлило море, волны разбивались о камень в белую пену. И когда ноги уставали и нам казалось, что этой тропинке не будет конца, совершенно неожиданно за поворотом открывалась бухта Радости...

Путешествия были настоящими каникулами для папы. На даче он много времени проводил за письменным столом, но в поездках полностью отключался от работы. Мы ездили на машине в Прибалтику, в Закарпатье, в Крым и на Кавказ, ночевали в деревенских школах или на сеновале, обедали в придорожных чайных, смотрели достопримечательности старых городов. Папа на редкость легко сходилась с людьми, и нас всюду радушно принимали; папа фотографировал хозяев, чтобы прислать им фотографии, оставлял свой адрес и многие потом приезжали к нам в Москву.

В начале лета сорок шестого года мы ездили в Ленинград, чтобы погулять по городу во время белых ночей. Белые ночи для меня были неожиданным чудом. До позднего вечера мы гуляли по тихим и безлюдным улицам Ленинграда. Я первый раз увидела этот прекрасный город: Исаакиевский собор, Петра Первого на коне, стоящем на огромной каменной глыбе, Адмиралтейство, Зимний дворец, Петропавловскую крепость, Неву. Стояла белая ночь, прозрачная, безлюдная и пустынная, но город спал: спали каменные дворцы и дома, дремала Невва, и медленно сонно били о каменные берега ее волны. Мы видели, как разводят мосты и по реке плывут груженные баржи и пароходы.

Утром мы пошли в старый антикварный магазин недалеко от гостиницы «Астория», и родители купили мне в подарок старинное гранатовое ожерелье. Маленькие гранатовые слезки, похожие на капельки темного гранатового сока, оправленные в строгую сплошную оправу. Потом мы решили подняться на Исаакиевский собор. Мы долго взбирались по винтовой лестнице на самый верх собора и там с маленькой, огражденной тонкими перилами площадки нам открылся Ленинград. Под нами лежали красивые прямые улицы и площади, каре Адмиралтейства, Невва. Дома, дворцы и улицы казались отсюда такими маленькими, а шпиль Адмиралтейства не больше швейной иголки. Потом мы долго-долго гуляли по городу и папа рассказывал нам историю дворцов и соборов...

Мы часто возвращались в Ленинград. Во время нашей поездки весной пятьдесят пятого года папа вел подробный путевой дневник:

«Марта 25-го дня, во второй день школьных каникул, участники сего путешествия, сели в вагон скорого поезда и в 9 ч.30 мин. вечера отбыли из Москвы с надеждой утром следующего дня прибыть в Ленинград, достопримечательные места коего подвергнуть тщательному и нелицеприятному осмотру.

Предложено было после завершения оного плана в течение первых 5-ти дней каникул пересечь границу славной Эстонской республики и посетить славный город Тарту, в коем Университет является целью данного путешествия.

Будет ли участникам данного путешествия дано свершить задуманное — об этом будет судить дальнейшая история, коя в нижеследующих записях отразиться должна.

25 марта, в 9-30 вечера мы сели в поезд. В купе кроме нас оказались: бабушка, дочка и внук 4 1/2 месяцев. Против ожидания внук не орал и мы спали всю ночь, а 26 марта в 9-50 утра прибыли благополучно в город Ленинград.

Вышедши на станции, путешественники сели на троллейбус, который довез их до Астории, где, как и следовало ожидать, номера не оказалось, и бедные путешественники принуждены были, сдав чемо-

даны, накинуться на свиные биточки с яичницей. Насытившись ими путешественники направились медленным задумчивым шагом в Эрмитаж. Для записей всех происшествий и впечатлений по дороге был куплен сей блокнот, страницы которого обречены на то, чтобы выдерживать весь груз полученных в дальнейшем переживаний.

При входе в Эрмитаж Лена уткнулась в книжный киоск и внимательно рассматривая репродукции и открытки, изрекла: «А ведь в Эрмитаж можно было бы и не ездить, хватит посмотреть открытки», после чего начала высчитывать, как бы подешевле купить подарки ребятам (включая и девчонок). Размышляла на эту тему долго, но купить все же и не решилась, отложив сие важное дело напоследок.

Все-таки рассудив, что из-за открыток в Ленинград ездить не стоило, путешественники поднялись по грандиозной белой, мраморной с позолотой лестнице — главной лестнице Зимнего Дворца.

Путешественники видели сидящего Петра, гробницу Александра Невского (Примечание Лены: 90 пудов серебра), станки и оружие 17-го века (точное назначение станков осталось неясным: я думал, что это токарный, а Лена решила, что это усовершенствованная мясорубка, где рубили царей и помещиков 18-го века).

Мы метеором пролетели музей Пушкина (даже не оставив в нем яркого как у кометы следа), постояли около часов Кулибина, осмотрели портрет купца Билибина, решили, что сходные по фамилиям они также сходны и по виду, и тихо приземлились в зале фарфора, который потряс нас до глубины существа. Насладившись саксонским фарфором и окончательно расстроившись, что у нас нет и не будет таких чудных вещей, мы снова экспрессом пробежали через залы войны 1812 года и в полном изнеможении плюхнулись на мягкий диван Александровского зала, где мы и записываем эти строки, взирая на серебряные чеканки 18-го века.

Осматривать дальше достопримечательности Эрмитажа сил у нас не было, даже головки Греза не прельстили нас, — и обессиленные мы вяло поплелись из Эрмитажа.

Бодрый весенний воздух оживил путешественников. Они вышли из Зимнего дворца, пошли по Дворцовому мосту, перешли на ту сторону Невы, осмотрели здания Академии наук и Университета, — и... перейдя Неву по льду... (увидев у берега хлопающие проруби и чуть не утонув от страха) — они снялись на набережной, конечно, у памятника Петра, засняли Лену с Исаакием и медленно направились в Асторию.

Дальше — диалог:

Я (робко): «Вы мне ничего не скажите о номере?» (душа в пятках!)

Портье: «Номер Вас ждет уже с 12 часов дня!»
Мы с Леной: Ура!..

Номер есть! Отсюда — все вытекающие последствия:

№ 1. Можно отдохнуть после обеда.

№ 2. Можно вымыться.

№ 3. Можно еще раз вымыться.

№ 4. Можно снова вымыться и лечь спать.

5-00. Мы занимаем номер (чтоб не забыть: в нем две комнаты + уборная + ванная) и спускаемся вниз в ресторан, куда Лена чуть-чуть не принесла сверху остатки хлеба и два вареных яйца.

Обед заказан и мы ждем.

5-10... мы страдаем.

5-20... мы умираем!

5-30... мы уже умерли!

и вдруг появляется суп!

6-00 На обеде было съедено: (1) солянка рыбная — 1, (2) почки — 1, (3) хлеба — много, (4) ситро, нарзан — много, (5) пломбир — 1.

После этого Лена изрекла: «Пояс еле сходится, а сытости еще нет!»

Обед закончился, началась ванная полоса.

«У меня такой характер, — заявила Лена, — нужно мне или не нужно, раз в полгода я должна принять ванну». Это было сделано, а после Ленки в ванну (конечно, предварительно наполнив ее снова) полез и второй участник путешествия. Вечер ушел в роздых после ванны. Все!

27-го марта утром путешественники встали, отоспавшись всласть за всю ночь. Ленка выспала полные 12 часов (от 9-30 до 9-30) и заявила, что умирает от недосыпа.

В качестве запоздалой реакции на вчерашнее усиленное питание у нее появилось чувство сытости. Она заявила, что переела и есть больше ничего не может. Поэтому она съела только яйцо, булочку, выпила две чашки кофе, и ничего другого есть не могла.

В 10-30 путешественники отбыли в музей.

В Ленинграде — не в пример Москве — дует холодный ветер, сыплет снег, на улицах тают и снова замерзают лужи. Путешественникам холодно, и поэтому они, ткнувшись в Эрмитаж, где стояли воскресные толпы, решили попасть туда, где потеплее... и попали в Индонезию!

Музей Этнографии и Антропологии АН СССР.

Начало осмотра — Китай.

Тарелки и вазы из перегородчатой эмали, красный лак, изделия из слоновой кости, статуи рикши и поздравительные картинки с пожеланиями.

Решили: Федюшину — послать пожелание многочисленного мужского потомства, которое должно достигнуть высоких чинов;

Франкенбергу — богатства и славы, Фальковичу — благополучия в наступающем году (потому, что этот уже безнадежен), остальным — каждому, что ему хочется.

Из Китая перекочевали в Индию; видели бога Вишну, Шиву и Брамму. Узнали, что бог Шива был женат на богине Кали, танцующей на трупе убитого дервиша, и решили, что она очень похожа на Наташу Лашевич, танцующую на трупах растерзанных ею мальчишек. Другие богини также похожи на девочек из 9-А класса, но из-за многочисленности как богинь, так и девочек, точного соответствия установить не удалось.

Дальше дело пошло нарастающим темпом. Посидев на окнетонды с экспонатами Индонезии, где Лена почувствовала первые голодные спазмы в животе, путешественники попали не туда, куда надо, а в Африку... В Африке Лена испугалась фигуры голого африканского вождя и удивилась, что в такой холод он остается не одетым. Австралийский бумеранг заставил ее вспомнить русскую пословицу: «Не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы тебе делали» (она так и не вспомнила подлинную пословицу, и мы передаем лишь смысл ее), и досыта насытившись Мелонезийским, Полинезийским, Микронезийским и Мокронезийским Архипелагом, путешественники очутились перед надписью: «Кунсткамера Петра I. Детям до 16 лет вход воспрещен».

Увидев эту надпись, они решили, что туда-то идти необходимо и, поднявшись на лестницу, они увидели коллекцию таких замаринованных уродов, что душа у них ушла в пятки и они пулей пролетели мимо группы сушеных младенцев, двухголового теленка и скелета великана, за которое в сумме Петр заплатил 30 000 гульденов — сумма достойная лучшего применения.

На обратном пути они поднялись по винтовой лестнице в музей Ломоносова. Видели круглый стол, за которым в его время размещалась вся Академия наук, пожалели, что теперь такого круглого стола для нее явно не хватит. Посмотрели подозрные трубы и мозаичные разработки Ломоносова и направили свои стопы в Асторию..., где и пообедали.»

Я училась уже в старших классах и в наш дом на Фрунзе часто приходили мои школьные друзья. Оля на кухне кормила нас обедом, а вечером мы допоздна разговаривали в моей комнате.

К экзаменам мы готовились за круглым столом в комнате родителей. Папа заглядывал сюда, на ходу смешил нас и убежал в Университет на лекцию. Как-то раз я строго сказала ему, что мы заняты важным делом — готовимся к сочинению, и он нам не должен мешать всякими глупостями. Мы уже считали себя серьезными и взрослыми, и папины шутки казались нам детскими и неуместными.

— На какую тему? — спросил папа.

— «Печорин — лишний человек!» — ответили мы хором.

Папа не уходил.

— И сколько же вы готовитесь? — заинтересовался он.

— Целый день и еще не кончили, — сказала я.

— Дайте мне на подготовку десять минут и я напишу сочинение, — папа присел к столу, взял томик Лермонтова, пролистал «Героя нашего времени» и быстро начал писать. Через пятнадцать минут сочинение было готово.

Мы с недоверием смотрели на два листа, исписанные без помарок красивыми ровными строчками, потом стали читать вслух, но придаться было не к чему: и цитаты подобраны правильно и написано гладко. Но все-таки чувствовалось, что папа написал блестящую пародию на типичное школьное сочинение нашего времени.

— Ну ладно, готовьтесь, — папа вышел из комнаты, и мы с облегчением принялись выписывать цитаты и читать критический разбор повести Лермонтова...

В папе не было и тени лицемерия в отношениях с людьми: он либо любил и принимал человека, либо не замечал и уходил от общения с ним. Теплый с мамой и со мной, он на удивление равнодушно относился к родственникам и не давал себе труда скрыть это отношение, чем незаслуженно обижал их. В квартире на Фрунзе в длинном темном коридоре днем не зажигали света. Как-то пришла близкая родственница, мама открыла ей дверь, папа выбежал из кабинета, улыбающийся с протянутой рукой. Он думал, что это сотрудница, которую он ждал. Увидев, что ошибся, папа опустил руку, улыбка сошла с лица: «А, это ты», — разочарованно сказал он, постоял немного и ушел в кабинет.

Папа любил давать людям прозвища и иногда в рассказах безжалостно и остроумно высмеивал кого-то, но делал это беззлобно. Любил розыгрыш, но не все понимали его шутки, и случалось, что он наживал себе врагов. Но в целом он относился к окружающим с большой доброжелательностью и стремился им помочь.

В нашем доме не было и следа чопорности. Папа, несмотря на воспитание, полученное в доме его родителей, часто пренебрегал в быту общепринятыми условностями: ему ничего не стоило взять кусок с чужой тарелки, переложить еду со своей тарелки на мамину или мою, поужинать не садясь за стол со стоящей на плите сковородки, или есть с общего блюда. А один раз в темном чулане на даче он чуть не съел дождевых червей, которые заготовил наш гость для рыбалки.

Готовили у нас дома вкусно, но просто — без разносолов. Мы никогда долго не сидели за едой, стол не был тем местом, где собирается семья, чтобы поговорить, обед не был серьезным ритуалом,

как в доме Романа Альбертовича. Папа всегда торопился, даже если спешить было особенно некуда, быстро есть вошло у него в привычку. Ел он немного. Работал за письменным столом и, чтобы найти повод передохнуть несколько минут, шел на кухню к плите или к холодильнику что-то перехватить, продолжая думать о работе.

Иногда мы шли обедать на поплавок — ресторан на пришвартованном старом пароходе, где никогда не собиралось много народу. Заказывали по тарелке рыбной солянки, папиного любимого блюда еще с казанских времен. Папа не любил ресторанов; во время наших летних поездок на машине мы обедали в ресторанах считанные разы, и в основном останавливались перекусить в придорожных чайных или у костра в лесу. Гуляя по Москве, мы часто заходили в булочную, чтобы купить калачи, бублики и конфеты, которые тут же съедали на улице. «Давай в магазин зайдём и купим что-нибудь смешное», — предлагал папа, и мы покупали всякой всячины: сметков — мелкой копченой рыбы, селедки, сухарей и в бумажных кулках приносили домой к маминemu ужасу: «Алинька, опять ты всякой дряни принес!» — укоряла его мама и оттирала с ворота папиного пальто прилипшие крошки сухарей и пятна...

У мамы всю жизнь болела печень и ей приходилось соблюдать строгую диету, которую она иногда нарушала: не выдерживала и съедала кусок сала или селедки и после этого страдала от печеночных приступов. Весной пятьдесят шестого года она ездила лечиться на курорт Ессентуки на Северном Кавказе, и папа каждый день писал ей письма. Мама сохранила все его письма, и я их нашла разбирая мамины бумаги. Я перечитываю эти письма, передо мной оживают все нехитрые события нашей жизни и я чувствую ритм жизни нашей семьи.

«Дорогая Ланушка,

Мы с Леночкой сегодня провели очень хороший день. Утром пришла Этери с Дудочкой, и мы все поехали на машине. Сначала мы поехали в Университет и осматривали его. Видели аудитории, поднимались на 21-й этаж, были в спортивном зале и смотрели бассейн, где плавали студенты. После этого смотрели общежития, а потом поехали на Николину гору, ездили по очень хорошей дороге и получили очень большое удовольствие. Приехав в Москву, мы были в гостях у тети Даши. Она устроила званый обед и чудно нас кормила. После этого мы отоспались и опять пошли к тете Даше пить чай, так что

весь день был отдыхом. Сейчас Этери и Дудочка ушли, а мы с Ленкой идем погулять...» (из письма от 1 апреля 1956 года).

Этери — дочь папиного друга грузинского психолога Дмитрия Николаевича Узнадзе. Она часто приезжала в Москву на стажировку и работала в химической лаборатории. Когда трудно было получить номер в гостинице, она останавливалась у нас и вносила в наш дом праздничное оживление, водила нас в театры и на концерты. В тот раз она приехала с сыном Дмитрием, который, как и я, учился в старших классах. Новое здание московского университета на Ленинских горах тогда только построили и мы ездили его смотреть.

Письмо от десятого апреля пятьдесят шестого года:

«Дорогая Ланушенька,

только что вернулись от Федорова-Давыдова, провели у него с Леночкой весь вечер. Он написал новую книгу о Левитане и подарил ее Ленке. Весь вечер он рассказывал ей, как работает над историей искусства, показывал ей свои картотеки, весь процесс работы, Ленка ушла от него огушенная. Сейчас около 12-ти ночи, а она уткнулась в книгу и не может оторваться от нее, впечатление от этой беседы у нее такое, что на обратном пути она даже ничего не могла сказать...

Оля была у Дайковского; ничего не нашел у нее, кроме подагры. Оля счастлива: «щупал подробно — и говорит, ничего нет»... Я проверял у него, действительно — все в порядке.

К нам на два дня приехал Гершуни.

Целую тебя крепко.

Твой Ал.»

Я училась тогда в десятом классе, увлекалась живописью, хотела поступить в Университет на отделение искусствоведения. Вместе с папой мы ходили в гости к папиному еще с казанских времен другу Алексею Александровичу Федорову-Давыдову, с которым однажды мы вместе ездили на машине по старым русским городам и смотрели старинные церкви. Он подарил мне в этот вечер свою книгу, в которой собраны письма замечательного художника-пейзажиста Левитана, воспоминания его современников с комментариями, которые составил Алексей Александрович.

В те дни в нашем доме часто останавливался папин друг Григорий Викторович Гершуни, крупный физиолог из Ленинграда. Рассеянный, как и подобает быть настоящему профессору, Гершуни постоянно что-то терял и начинал искать, а папа потом рассказывал про него смешные истории, похожие на анекдоты: «Где моя шляпа? Куда девалась моя шляпа? Аа-а! На мне моя шляпа!», на что Григорий Викторович никогда не обижался.

Оля тогда жаловалась на здоровье, папа устроил ее на консультацию к дедушкиному ученику профессору Дайковскому, и после встречи с ним стала чувствовать себя значительно лучше, хотя он не назначил никакого лекарства, и на кухне возобновились ее дебаты с тетей Дашей на разнообразные темы...

«Дорогая Ланушенька,

два дня не было от тебя писем. Почему? Мы очень скучаем по тебе, и... ходим в концерты. В Москву приехали английские музыканты и мы вчера с Леночкой и Этери были на концерте, где выступала очень хорошая английская певица — вроде Мэри Андерсен. Получили большое удовольствие.

Даша ждет пенсии и в кухне все время идут оживленные дискуссии на политические и внешнеполитические темы с участием Оли...» (из письма от 19 апреля 1956 года).

«В журнале «Коммунист» № 4 появилась статья о психологии. Прочитай ее — этот журнал всюду есть...

Вчера весь вечер провел на заседании у Гращенкова* — с вопросом о восстановлении психологии. Была масса докладов, очень благоприятных для этого дела. Сам Николай Иванович выступил с указанием о необходимости ликвидации перегибов** и т.д., сегодня заседание продолжается, и будет принята соответствующая резолюция...» (из письма от 24 апреля 1956 года).

Оттепель начиналась и в психологии: ей предстояли перемены к лучшему...

В пятьдесят шестом году я кончила школу и мне надо было решать, куда идти учиться дальше. Папа отговорил меня поступать на искусствоведческое отделение Университета: «Нечего тебе туда поступать! Что это за наука! Искусствоведы пишут не то, что думают, а то что нужно». Он не хотел, чтобы я стала психологом: «Психология — не наука, — говорил папа, — и вообще, чтобы заниматься ей, надо окончить медицинский институт, а не Университет. Поступай лучше на биофак. Будешь биологом, как наша мамка, биология — серьезная наука». И я поступила на биофак. После окончания первого курса я проходила летнюю практику на биостанции под Москвой. Родители, как всегда, много работали, а на выходные дни ездили на дачу, где в тот год жила Люсиная внучка Аленка.

* Н.И.Гращенков — известный физиолог.

** Имеются в виду последствия Павловской сессии.

Родители скучали по мне и писали письма.

«Дорогая доченька,

мы были очень рады получить твои первые открытки. Оля приехала с ними на дачу и читала их вслух всем, включая Аленку (она уже третий день переехала на дачу!).

Очень хорошо, что твои занятия идут столь успешно; я уверен, что второй ступенью будут упражнения по тому, как отличить дуб от крапивы, а затем дело уже перейдет к высотам науки, и вы сможете быстро отличать барана от свеклы. Ну это всегда так: поверь, что три четверти наук посвящены решению именно таких высоких проблем, и если овладевший высотами научного знания приучится успешно делать то, что он умел делать и без того, но теперь называя все это научными терминами и делая это лишь немногим хуже, чем он это делал раньше, — считается, что он достиг высот научного знания.

Мы с мамкой уже третий день живем на даче, а мамка занимается культурой тканей на грядке. Погода настала теплая и солнечная, и, вероятно, и вы все ожили после нудных дождей. Аленка ловит бронзовых жуков, держит их в кулаке и спрашивает: «а они не укусят? а они не накакают?», и очень довольна, когда не случается ни того, ни другого.

В четверг Нелли* защитила диссертацию и ей подарили игрушечного зайца с вживленным электродом. Большая Лена** защищает 18-ю и не знаю, что ей подарить: неужели маленького недоумка?

Пиши подробнее обо всем, что у Вас происходит, это ведь интересно.

Твой А.А.»

В этом конверте и мамино письмо:

«Дорогая доченька, сегодня Оля привезла на дачу твои открытки. Мы очень им обрадовались. Тетя Люся едет сейчас в город и опустит наши письма. Мы останемся до завтра. Я на дачу приехала в четверг вечером и все эти дни отдыхаю. Аленку вчера перевезли на дачу, ее очень укачало на машине, больше ее таскать в город не будут...

На даче очень хорошо. Я радуюсь вдвойне хорошей погоде, за тебя особенно. Как только идет дождь, мы с Оленькой охаем: «Как там наша девочка?»

Дочура, можно ли к тебе как-нибудь вечером (часиков в восемь-девять) заехать по дороге с дачи? Если что нужно привезти тебе или Марине, напиши.

Дочура, можно ли к тебе как-нибудь вечером (часиков в восемь-девять) заехать по дороге с дачи? Если что нужно привезти тебе или Марине, напиши.

Видела Нинку. Она очень без тебя и Марины скучает и просит, если мы поедем, захватить ее. В частности, ей хочется поехать 21-го вечером. Оленьке вчера удалили последние два зуба. Она крепко тебя целует. Все наши шлют приветы. Аленка все спрашивает, где тетя Лена и кошка Мурочка.

Целую крепко. Жаду писем.

Твоя мама».

А это письмо я получила в день моего рождения:

«Дорогая доченька,

поздравляем тебя с днем рождения. Празднование рождения мы откладываем до встречи.

Желаем тебе всего, всего хорошего, и на этот раз — в виде исключения — как можно больше клопов, тараканов и разных блох, которые тебе так нужны.

Увидимся с тобой 23-го!

Твои { отец
мать
Оля
Даша, Мурка + котята и т.д. и т.п.

Летом того же года я со студентами Университета ездила работать в совхоз Кустанайской области — на целину и папа писал мне:

«26. VII. 57.

Дорогая Чушенька (не подумай, что это из животноводства, это сокращенное от Дочушенька).

Сижу последние часы в Москве и изнываю от жары; жара все растет и кажется уж некуда — а она все круче и круче. Вот только сейчас собираются тучи и начал прохотать гром. Что-то будет? Хоть бы полегче — то ли я уже стал старый, то ли действительно совсем дико завернуло!

Пробовали мы с мамкой и Ниной выходить вчера вечером на улицу — фестивальщиков* не видали, зато наших стилиг на улице Горького хоть отбавляй. Вот когда нам надо было — в такую жару — быть на Усть-Нарве, или на Пирите, или на Валдае...

Как то ты работаешь? Здесь сведения о ваших делах самые про-

* В этот время в Москве проходил первый международный фестиваль молодежи и студентов.

* Сотрудница Александра Романовича Н.Непомнящая.
** Сотрудница Александра Романовича Е.Артемова.

тиворечивые: «от «необычный урожай» до «все сожжено». Что же правильно?!

Последнее письмо от тебя было из-под Свердловска, а ведь ты уже по всем расчетам третий день на месте. Как у вас там?

Оля получив телеграмму с адресом, сказала: вот-то наконец приехали, теперь и в уборную могут ходить, ведь небось с самой Москвы не ходили. И каждый раз, садясь за стол, все думаем, что ты там делаешь.

Нина все еще у нас и завтра — после моего отъезда поедет с мамкой на дачу, а 29-го они идут на фестивальное представление.

А вот и дождь полил, не успел я докончить письма, теперь может быть легче станет.

Завтра утром мы вылетаем, возможно, что на Ту-104, и, вероятно, завтра вечером — или послезавтра — напишу тебе из Бельгии.

Очень крепко тебя целую, пиши всем почаще, а я буду получать сведения о тебе через мамку по телефону.

Целую тебя. Привет Маринке и другим.

А.А.»

Александр Романович, переживший тяжелые времена в Институте дефектологии, продолжал работать в нем. Он выпускает сборники, несколько книг и становится первым человеком в издательстве Академии Педагогических наук. Издательство на пятом этаже, лифта нет; Александр Романович бегом поднимается по лестнице и за ним не могут угнаться его молодые сотрудники.

«Чуть-чуть приоткрывается железный занавес и в нашу лабораторию едут иностранцы, — вспоминает Ольга Виноградова. — Имя Александра Романовича очень хорошо известно за границей. Когда иностранцы приезжали в Советский Союз, они его разыскивали, спрашивали, где Лурия, и оказывалось, что он, неизвестно почему, в Институте дефектологии, и приходили в наш полуподвал, в доме с мизанином на Погодинку 8, где у нас было две комнаты на всех. Александр Романович никогда не стеснялся обстановки. В 1955-56 году приезжает Пиаже и много американцев. Один раз, когда приехал Хорсли Гент, который возглавлял отдел физиологии и нервной деятельности в Балтиморе, и с ним два психиатра, Александр Романович обратился ко мне: «Олечка, у меня срочное заседание редакционно-издательского совета, оно продлится полтора часа, а ты, будь любезна, займи гостей и расскажи им, чем мы занимаемся в лаборатории». Это мог себе позволить только Александр Романович! Он нам доверял и лучше нас знал наши скрытые возможности. До этого момента я только читала по-английски, а за эти полтора часа я рассказала все работы лаборатории. Пришел Александр Романович и все засверкало...»

В 1956 году после двадцатидевятилетнего перерыва Александр Романович начинает выезжать за границу. Он начинает участвовать в международных конференциях и симпозиумах и широко публиковать свои работы. А сколько лет он не имел этой возможности! С середины тридцатых годов и до середины пятидесятых он не только не встречался, но и практически не переписывался с иностранными учеными. Все эти годы была пережата основная артерия, питающая ученого, и работать приходилось в отрыве от мировой науки.

Первой страной, в которую он поехал, была Норвегия. Летом 1956 года, когда он отдыхал в Крыму, пришло с факультета письмо, в котором сообщалось, что ему разрешили ехать в Норвегию. Поездка в Норвегию стала для него крупным событием. Из Норвегии он писал подробные письма и по ним мы чувствовали, в каком он находился приподнятом настроении, как радовался всему, что видел вокруг. Как всегда он хотел поделиться с нами своими впечатлениями, своей радостью.

«Дорогая Ланушка и доченька.

Представьте себе: видел я сегодня Кон-Тики. Посылаю Вам в этом письме одну из открыток, которую я купил на месте.

Сегодня утром за мной заехал муж Ник Вол и повез меня осмотреть Осло; поехали (под проливным дождем!) за город, показали мне огромный трамплин для прыжков на лыжах, а затем — на тот самый полуостров, о котором я вам говорил: слезть с машины и осмотреть архитектуру мы не могли, так как дождь промочил бы нас до нитки, — но там я видел *три изумительных вещи, которые забыть нельзя*:

(1) *Кон-Тики*. Это большущий плот из огромных, толстенных бревен, с большим бамбуковым домиком на нем, с квадратным парусом, бревна связаны канатом — но даже подумать страшно, что на нем пересекали Атлантический океан! Посылаю карточку — трое на Кон-Тики с какими-то рыбами.

(2) «*Фрам*» Нансена. Это сравнительно небольшой, даже очень небольшой, бедный корабль, он весь уместился в домик с острокопечной крышей, который над ним построен; людей пускают даже внутрь. Я был на палубе, видел маленькие каюты Нансена, Амудсена, был в трюме; страшно бедно и примитивно, а ведь корабль был на Северном и Южном полюсах.

(3) *Корабли викингов*, им больше тысячи лет. Их недавно раскопали и восстановили, а ведь на них викинги пересекали Атлантику...» (из письма от 19 августа 1956 года).

Александр Романович интересно все, что он видит в Осло, он гуляет по городу и пишет об его архитектуре. Для него нет мелочей: он рассказывает нам и о меню в ресторане и о своем номере в гостинице.

«От моей гостиницы — пять минут до фиорда, до залива вернее, там гавань, стоят большие корабли. Напротив гостиницы — Стортинг (парламент), здание мало интересное, — направо на горке — королевский дворец, таких ампирических зданий всюду много, они везде одинаковы, а на подороге к гавани — ратуша. Такое здание мог воздвигнуть только острый сумасшедший, это что-то вроде фабрики из красного кирпича, сделанное с предельной безвкусицей. В путеводителе по городу сказано, что это... самое уродливое здание во всей истории архитектуры, и это верно...»

...Сейчас вернулся с лекции, походил по городу; пообедал в ресторане. Заказал свиную отбивную, и дали мне... о боже: два больших лаптя, каждый с натуральной лапоть + отдельно соус + отдельно салат + отдельно картошку. На всю семью хватило бы с лихвой, а стоит это все 1,3 доллара. Так и не съел всего!..

У меня маленький номер, ночной столик с двумя ящиками; в нижнем — сами понимаете что, а в верхнем — Библия; пробовал ее читать — не идет, написано по-норвежски, но приложены обстоятельные карты путешествий апостола Павла и войн с филистимлянами...» (из письма от 21 августа 1956 года).

Его зарисовки уличных сцен и характеров напоминают мне американский дневник и новеллы в тетради «Rocks», которые он писал в 1929 году.

«Вчера я ждал машины, чтоб поехать вместе с англичанином — директором Maxwell Jones, моим напарником по семинару, к профессору Устведу. И вот десять минут ожидания у подъезда гостиницы:

— Швейцар выталкивает пьяного джентельмена за шиворот, а он снова возвращается, и так много раз.

— Подъезжает машина выпуска 1956 года — стекло и роскошь, из нее вылезает юноша в узеньких брюках и... старик в потертом пиджаке, котелке и с зонтиком: это английский лорд (!!!), к старику все подходят с почтением, а он еле двигает подагрические ноги.

— Идут девушки в узеньких, узеньких штанишках в обтяжку до щиколоток, даже не понятно, как они одевают их...

— Старая американка выходит из гостиницы, наверное едет в театр: сидя, на плечах — меховой магазин, из которого вылезает голова ящерицы, а сама поддерживает обоими руками метров пятнадцать атласной материи белого платья, которая волнами выпирает из-под пальто.»

Александр Романович рассказывает о встречах с норвежскими учеными и об укладе их жизни. Профессор Оле Мунк пригласил его к себе на уикэнд: «Он живет за городом — километров в пятнадцати от Осло: там же детская психиатрическая больница, где он директор, а у него прекрасный коттедж, деревянный с открытой террасой, с садом, с карликовыми яблонями, с ягодником. Черная и красная смородина — необычайного размера, я таких не видел, чудная собака, седой пудель и т.п. Они устроили обед — со свечами на столе, это считается здесь признаком хорошего тона, ты обедаешь, а свечи горят (не то свадьба, не то похороны, пожалуй, второе, так как за обедом тихо), было несколько человек настоящих исследователей и все было очень приятно. Поместили меня внизу (комната вроде полуподвала), там же душ и т.д. На утро осматривал больницу, потом возили меня в разные учреждения, день был посвящен осмотру детских учреждений, школ и т.п.» (из письма от 25 августа 1956 года).

В июле 1957 года Александр Романович вместе с Алексеем Николаевичем Леонтьевым участвует в международном психологическом конгрессе в Брюсселе. Здесь он встречает ученых, с которыми познакомился еще в 1925 году в Германии и в 1929 году в Америке, договаривается об издании Выготского на английском языке и о публикации своих книг.

«Конгресс очень напряженный, так что и в первый день я слышал кое-что (не очень интересное), а второй в научном отношении пропал: мелькание докладов, которые трудно освоить, но зато масса встреч; особенно теплые встречи с теми, которых я видел в 25 и 29 годах — с американцами, с немцами, да еще и очень теплые отношения с французами. Сегодня буду видеть англичан, поговорю насчет Лондона, до сих пор говорил только с секретарем психологического отделения, которое меня приглашает...

...Решен вопрос о публикации наших книг за рубежом, о переводе и издании Выготского и т.д. и т.п.

Леонтьев в своей стихии — устраивает, выпендривается и т.д., мне это надоедает. В первый день я разыграл его: позвонил и по-французски сказал: «Это говорит президент конгресса». Слышала бы ты, что было дальше, пока я не сказал: «Ну, а теперь брось трепаться!... Сцена!» (из письма от 31 июля 1957 года).

Эта шутка обидела Алексея Николаевича, с которым Александр Романович работал вместе в течение многих лет. Они были ровесниками, но так сложилось, что Леонтьев вначале был студентом Александра Романовича, затем работал в Институте психологии и входил в знаменитую тройку Выготского; вместе они уехали и в Харьков. В сорок пятом году, когда Александр Романович стал профессором Университе-

та, Леонтьев возглавлял кафедру психологии (факультета психологии тогда не было), а затем стал деканом психологического факультета. Александр Романович организовал для факультета встречи с иностранными учеными, публикации работ сотрудников за границей, проводил семинары для иностранных студентов. Поэтому Леонтьев называл его министром иностранных дел и со своей стороны обеспечивал Александру Романовичу защиту в те совсем непростые времена...

В октябре пятьдесят седьмого года Александр Романович читает лекции в Лондонском Университете.

«Вот уже четвертый день я в Лондоне и уже отработал две лекции из трех. На обоих много народа, и среди них — индийские студенты, негры, только наших чайников нет. Аудитория большая, много профессоров, и встречали очень хорошо, внимательно слушали. Текст я, конечно, выбросил, и пришлось шпарить так, — так лучше. Не обошлось и без комических недоразумений: техника в Лондонском Университете так высока, что... у них не оказалось рамок для диапозитивов 9x12 и все диапозитивы пришлось предварительно резать. Был в лабораториях и много встречался с молодежью — она здесь очень хорошая — много с ней говорю, и думать приходится по-английски». (из письма от 10 октября 1957 года).

А каким обновленным, счастливым, полным впечатлений он приезжал домой! Мы с мамой встречали его на международном аэродроме. По дороге домой в машине папа не умолкая рассказывал о своей поездке, а дома сразу же кидался к чемодану, чтобы показать нам подарки, которые привез, и получал от этого даже большее удовольствие чем мы. Он тут же заставлял нас примерять кофточки, блузки и радовался, что они хорошо сидят, и подробно рассказывал, где что купил. Мама пыталась остановить его: «Пообедай сначала, Алинька!», но папа не успокаивался пока чемодан не оказывался пустым. Ему хотелось привести подарки не только нам, но и сотрудникам, и, когда у него были деньги, привозил с собой целый галантерейный магазин.

Папа любил хорошо одеваться и всегда был элегантным и подтянутым. Во время поездок за границу он покупал себе красивые вещи высшего качества в дорогих магазинах и получал от этого большое удовольствие. Покупки делал он продуманно и с большим вкусом. Перед отъездом он просил нас составить список нужных нам вещей, переписывал его на последней странице своего путевого блокнота и здесь же записывал, что он должен купить себе. Конечно, на магазины у папы было очень мало времени, и я удивляюсь тому, что он всегда выполнял все наши просьбы. Папа часто сердился на меня, что я прошу привезти очень мало вещей и буквально силой вытягивал из меня заказы.

После поездки он несколько дней отсыпался дома или на даче. Приезжая на дачу он каждый раз говорил: «А у нас в Свистухе лучше!» — и устраивал себе маленькие каникулы: много спал днем, читал лежа английский детектив, немного гулял. Поездки давали ему много научных и ненаучных впечатлений. Просматривая папины путевые заметки, которые он делал в виде короткого конспекта в маленьком блокноте, я понимаю, как насыщены встречами, научными дискуссиями, посещениями лабораторий, институтов, музеев были дни, которые он проводил за границей. Он успевал за неделю столько, сколько другой не сделал бы и за месяц. И хотя в поездках он был в состоянии подъема, темп его выматывал. Через несколько дней отдыха папа возвращался к прежнему образу жизни: в Москве снова впрягался в работу, его день был строго расписан и заполнен клинкой, лекциями, заседаниями, рукописями до предела; на даче он снова садился за письменный стол и быстро, почти без правки писал лист за листом.

Но впечатления от поездок оставались надолго. Встречи с иностранными коллегами стимулировали его, много ему давали и заставляли работать еще больше.

В 1958 году восстанавливают лабораторию нейропсихологии в Институте нейрохирургии имени Бурденко. У Александра Романовича всего четверо сотрудников, его бывших студентов: Филиппычева, Хомская, Правдаина и Цветкова, — и только одна комната, в которой поначалу не было столов и приходилось работать на подоконниках. Но разве это помеха?! Александр Романович счастлив, что снова после вынужденного шестилетнего перерыва он вернулся в клинику, и продолжает изучать мозговую организацию психических процессов. Лаборатория включается в практическую работу института. Нейропсихологическое исследование устанавливает локализацию мозгового поражения (опухоли, кровоизлияния, аневризмы) и определяет, через какие области мозга во время операции подходить к пораженному участку, чтобы вызвать наименьшее травмирующее воздействие, и таким образом влияет на тактику хирурга. Лаборатория разрабатывает также пути и методы восстановительного обучения.

На разборы больных, которые проводил Александр Романович приходили психологи, логопеды и невропатологи из разных клиник Москвы и студенты. На этих разборах они учились нейропсихологии. Во время разбора Александр Романович не только определял, где находится пораженный участок мозга, но давал научное обоснование каждому симптому, проводил факторный анализ, т.е. выделял ведущий фактор или механизм, лежащий в основе той или иной формы патологии, в основе ее синдрома. На этих разборах рождались новые методы нейропсихологического исследования.

Так развивалась нейропсихология — «высшая математика» психологической науки.

Позволю себе привести несколько простых примеров, иллюстрирующих возможности этой науки.

Наблюдения по нарушению письма у полуглохих при мозговых поражениях выявила следующую закономерность. Если очаг поражения находится в левой височной области, которая отвечает за фонематический слух, страдает способность писать. Но не на всех языках! Слоговое письмо становится недоступным, а иероглифическое остается.

В беседе с К. Левитиным Александр Романович рассказывал, как может повлиять ранение на сохранение письма у разных народов: «У двух человек повреждены совершенно одни и те же участки. Одинаково ли у них нарушится письмо? Все зависит от того, что это за люди и что за участки. Если, скажем, один из них русский, а другой китаец и у обоих пуля разрушила левую височную долю коры, то первый писать не сможет, а второй будет писать, как и до ранения. Дело здесь в том, что китайцы пишут иероглифами — значками, обозначающими слово и никак не связаны со звучанием этого слова... В Китае более полусотни разных языков, и если кто-то говорит по-кантонски, то его никто из знающих пекинский понять не может. Но значки во всех китайских языках одинаковы, в любом из них вот такой иероглиф означает «стол», а такой — «мир». Следовательно, при поражении слухового анализатора китаец продолжает писать как ни в чем не бывало...

Усложняем задание: теперь один из этих людей — японец. И тут все зависит от места поражения. Ведь японская письменность необычная — часть китайского, иероглифического типа, а другая — слоговой алфавит. «Кана» и «канзи» — так называют эти две системы. Так вот, если японцу пуля попадает в левую височную область, то половина письма у него нарушается, а другая остается сохранной. Слоговое письмо становится ему недоступным, потому что тут надо анализировать на слух, а иероглифическое остается. Если пуля попала в теменную область, то все происходит наоборот».

Нейропсихологический подход позволил показать, что музыкальный и речевой слух имеют разную психологическую организацию. Александр Романович, наблюдал одного известного советского композитора, который после кровоизлияния в мозг не мог различать фонемы («б» и «п» для него звучали одинаково), и в те же годы он сочинил одну из лучших своих вещей...

Нейропсихология приходит на помощь и в таких сложных случаях:

«Я имел возможность наблюдать одного известного советского физика*, который получил черепно-мозговую травму и который не

мог слышать и говорить, — рассказывал Александр Романович». — Хирурги, обследовавшие его, считали отсутствие речи афазией и предполагали у него наличие гематомы, которую следовало удалить. Я решительно возражал против этого и был рад, когда получил поддержку У. Пенфила**, ибо нам обоим казалось, что здесь мы имеем дело не с афазией (основной характерный признак заключался в том, что больной даже не пытался говорить), а с функциональным торможением речи, ее временной блокадой. Мы взяли на себя смелость утверждать, что больной станет говорить через короткий промежуток времени без всякой специальной помощи, и наши ожидания блестяще оправдались, когда через две недели я смог говорить с ним сразу на нескольких языках, равно сохранных у него»...

«На протяжении почти сорока лет Лурия можно было видеть в Институте нейрохирургии имени Бурденко — вспоминает нейрохирург Э. Кандель. — Направляясь в свою лабораторию, он шел по коридору своеобразной, энергичной походкой в сопровождении нескольких учеников. Обычное рабочее утро. Одновременно в пяти операционных идет подготовка к операциям. Из разных отделений привозят больных, которых Александр Романович уже знает — до операции он провел немало часов у их постели. Лурия часто приходил на операции обычно на полчаса или на час. Жестко распределенное рабочее время не давало ему возможности следить за многочасовыми операциями на мозге от начала и до конца. Однако в конце дня, когда они заканчивались, Александр Романович обязательно подзывал к себе участников операции — обычно ассистентов помоложе — и задавал им несколько четких вопросов: «Вот здесь на схеме покажите, где была опухоль... Нарисуйте ее границы. А этот участок мозга она захватывала? А где был ее задний полюс?» и т.д. Помню, как нам, тогда еще молодым хирургам, было очень приятно, что «сам» Александр Романович выслушивает наши объяснения.

...Небольшой двойной листок плотной бумаги размером с почтовую открытку. Вверху паспортные данные больного, ниже — простой рисунок контуров мозга в двух проекциях, для того, чтобы очертить локализацию опухоли. Остальное место занимают результаты психологических тестов, апробированных многими годами работы. Пачка таких карточек всегда была в кармане халата Александра Романовича. Можно даже сказать, что эти карточки были его главным рабочим инструментом. На каждого больного — карточка. Все иссле-

* Цитируется по К. Левитину «One is not born a personality» (Личностью не рождаются) «Прогресс». 1982.

** У. Пенфилд — выдающийся американский нейрохирург.

дования — до операции и после нее — вносились в эту карточку. Лурия всегда заполняла их собственноручно...

Александру Романовичу было органически присуще главное качество настоящего ученого — постоянное стремление работать. Работать много, очень много, сознательно лишая себя каких-то жизненных радостей и удовольствий. И так — годы, десятилетия, всю жизнь. Днем — клиника, кафедра, лекции, конференции, разборы больных, вечером — рабочий кабинет дома. Помню этот кабинет — большая, погруженная в тишину комната, стены которой состоят из книжных шкафов. Книги, многие сотни книг, они лежат даже на стульях. Груды книг и рукописей на письменном столе. Однако этот хаотичный беспорядок — только кажущийся, поскольку хозяин кабинета прекрасно в нем ориентировался. В этом кабинете была какая-то особенная атмосфера, которая настраивала на работу и влекла к ней. Примерно такое же чувство возникает у хирурга, когда он входит в операционную...

Не думаю, что кто-нибудь точно сможет ответить на вопрос, сколько языков знал Лурия. На основных европейских языках он говорил совершенно свободно. К этому все как-то привыкли, но всегда поражало его знание редких, особенно восточных языков. В Институте нейрохирургии имени Бурденко поступали больные из всех республик нашей страны. И мы даже не очень удивлялись, когда Александр Романович спрашивал: «Кто больной? Узбек (или татарин или грузин)?» — и тут же к радости больного начинал говорить с ним на его родном языке.

Прекрасные человеческие черты Александра Романовича зримо проявлялись в его внешнем облике — добрые, умные глаза, открытая улыбка, мягкий юмор, доброжелательное и уважительное отношение к собеседнику независимо от его возраста и научных знаний.

Известный шведский нейрофизиолог Давид Ингвар сказал мне: «Лурия — мой главный научный герой», подразумевая под этим достойный подражания и глубокого уважения идеал ученого!»*

В конце пятидесятых годов Александр Романович и сотрудники перешли к следующему этапу своей работы: к объяснению нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе работы различных зон мозга.

«Наш прежний подход к изучению мозга, — пишет Александр Романович в своей научной автобиографии, — мы можем охарактеризовать как «горизонтальный», т.е. направленный на изучение про-

цессов, протекающих преимущественно на корковом уровне. Новая волна исследований привлекла наше внимание к «вертикальным» связям между структурами мозга — глубинными и поверхностными. Нас интересовали прежде всего те процессы, с помощью которых мозг вызывает и контролирует уровень собственной активации».

* Э.И. Кандель. А.Р. Лурия и нейрохирургия. В сб. «А.Р. Лурия и современная психология». Издательство Московского Университета, 1982 год.

Глава 13

Восстановление контактов с западными учеными. Международное признание работ А. Р. Лурия

Большим событием в жизни Александра Романовича стала встреча с крупнейшим американским психологом Джеромом Брунером^{*}.

Я глубоко признательна профессору Брунеру за то, что он по моей просьбе написал воспоминания об Александре Романовиче и прислал мне ксерокопии их огромной переписки, которую они вели в течение двадцати лет. Читая эти воспоминания и письма я понимаю, как много они значили друг для друга не только в научном, но и в человеческом отношении.

«Я думаю, что впервые я встретил АРЛ на международном психиатрическом конгрессе в McGill University в Монреале, Канаде в 1956 году, — пишет Брунер. — Трудно быть уверенным в этом. С годами мы стали так близки, что невозможно представить себя не знающим его — каждый всегда знает своего отца, своего дядю, старшего брата.

Первое знакомство состоялось при курьезных обстоятельствах. Русская делегация конгресса устроила прием. Он был традиционным и пышным, — водка, икра и прочее. Я болтал, кажется с Леонтьевым, о Выготском, о теории деятельности, о Павловской второй сигнальной системе, и был удивлен, как различно это звучало от знакомой мне старой Павловской линии. Затем пришел АРЛ, и это было словно струя свежего воздуха подула в комнату. Мы разговаривали, в частности, о языке и сознании и о том, как больные с афазией могут научить нас выяснить их соотношение. Затем, когда я услышал в первый раз об экспериментах его студентов, которые они проводили с «внутренней речью», я был восхищен. Мы пошли вместе с приема на обед в дом к Уилдеру Пенфилду и разговор продолжался.

Я должен кое-что объяснить. Мой отец, человек высокого интеллекта, которого я обожал на расстоянии, так как он не был тем человеком, который играет с детьми, умер когда мне было одиннадцать. Мне всегда было очень лестно, когда «старший человек» воспринимал меня как равного, «играл бы» идеями со мной. Александр

^{*} Брунер (Bruner) Джером Сеймур (р. 1915) — известный американский психолог. На русском языке были опубликованы его книги «Процесс обучения» (1962), «Исследование развития познавательной деятельности» (1971), «Психология познания» (1977).

Романович Лурия полностью удовлетворял этому запросу. Он был прекрасным «приемным отцом». И я понял много лет спустя, что, хотя он имел одаренную и активную дочь, он всегда чувствовал отсутствие сына. Поэтому он был восприимчив для «приемных сыновей» — таких как Оливер Зангвилл, Ханс Лукас Тойбер и я. Между прочим, каждый из нас обладал общими чертами, все трое имели развитые литературные и артистические вкусы, все были более европейцами в нашей ориентации, чем многие наши современники; и все были хорошо ассимилированными евреями.

Мы встречались на различных конгрессах, затем и переписывались постоянно.

Они посылают друг другу оттиски статей и делятся в письмах своими планами и научными идеями.

«Мой дорогой доктор Брунер,

Я бесконечно благодарен Вам за то, что Вы послали мне замечательную коллекцию статей Джоржа Миллера. Сейчас я на даче на несколько дней — на зимних каникулах, и это дает мне возможность устроить неделю Миллера, как у меня была неделя Брунера и неделя Прибрама несколько месяцев назад. Я только в начале изучения этих работ, но у меня впечатление, что случилось что-то очень важное, и я хочу послать Вам мои поздравления и передать мои поздравления доктору Миллеру...

Я затратил время, чтобы подготовить английское издание книги по афазии. Mouton Press и Hague приняли его для публикации, и Pergamon Press начал перевод моей и Леонтьева книг по восстановлению функций (они появятся в общем томе под названием «Психология и реабилитация»).

Я жду мою маленькую книгу по развитию речи и ментальных процессов у близнецов и попрошу английского издателя послать ее Вам» (из письма от 25 января 1959 года).

И письмо от Брунера:

«Мой дорогой профессор Лурия,

Я прочитал Вагшу прекрасную маленькую книгу о речи и развитии ментальных процессов и восхищен ею. Сейчас разрешите мне только сказать, что я глубоко поражен параллелизмом, который существует в нашем мышлении» (из письма от 15 апреля 1959 года).

В начале 1960 года Александр Романович месяц проводит в Америке. Его первую и вторую поездку в эту страну разделяет тридцать один год. Александру Романовичу пятьдесят восемь лет и он полон энергии.

«Мы приехали чудесно, в 9 часов вечера (по нашему в три часа ночи) были уже в Нью-Йорке, перелететь океан — сейчас раз плюнуть, мы даже не заметили — пообедали, подремали — и уже Нью-Йорк...

Приехали в Princeton — это маленький университетский городок, один час езды от Нью-Йорка поездом — с пересадкой на дополнительный поезд; ехали с Фремонт-Смитом. Остановились в гостинице, где будем жить, и где будет конференция — на этой карточке ее вид, она построена в 1756 году с перестройкой. Познакомился кое с кем из членов конференции и обедал — на обед были ... лягушачьи ножки (которые втрое больше наших, а вкус цыплячий... (из письма от 21 февраля 1960 года).

Вчера вечером смотрел город — он вроде Кембриджа. Потом начался симпозиум, пока была только официальная часть, все встречались и представляли себя. Очень мил Мэгун* и особенно — мой Прибрам**.

Я обнаружил, что самое трудное для меня — это — приспособиться к смене времени. Ведь здесь разница в 8 часов, и если заседание начинается в 8 часов вечера — это значит — 4 часа утра (!), — а доклад мой (как и все остальные мои доклады) как раз в это время! Подумайте только, какой кошмар — делать доклады в 4 часа утра, когда только и думаешь о том, чтобы спать! Вот и вчера — дико клонило ко сну! Миленькое расписание: встаешь в 7 часов утра (= 3 часа дня!), завтракаешь в 10 часов вечера, обедаешь в 3 часа ночи, делаешь доклады в 4 часа утра и ложишься спать — в 7 часов утра! Ну-ну!! Хоть бы привыкнуть к этому!

Сегодня ночью — удивительное дело — в Princeton'e выпал снег! Еще вчера было все голо и пустынно (температура плюс пять), а сегодня — как у нас, все бело. Вчера получили телеграмму — один из участников конференции не приехал — задержался из-за снега!!» (из письма от 22 февраля 1960 года).

Программа у Александра Романовича обширная: после конференции в Принстоне — доклады в нескольких университетах Америки.

* Мэгун (Magoun) Х.У. — американский физиолог, автор книги «Бодравствующий мозг» (The waking brain, 1963).

** Прибрам (Pribram) Карл — американский психофизиолог и нейропсихолог. Под редакцией К. Прибрама и А.Р. Лурия вышел сборник о функциях лобных долей мозга (Psychophysiology of frontal lobes, 1973). На русский язык переведена книга «Языки мозга» (1975).

«Вчера делал доклад в Лос-Анжелесе. Купил чудесный киноаппарат. Сегодня последний день с пальмами и с южными домиками, — уже в 2 часа (по вашему в 12 ночи!) буду в Palo Alto...» (Из письма от 1 марта 1960 года).

В любительском фильме Александр Романович снял часть своего американского путешествия и Станфордский Университет, где он был у нейрофизиолога Карла Прибрама. Мы видим молодых и веселых Карла и Эми Прибрам в саду возле дома. Затем Александр Романович передал киноаппарат Прибраму, он улыбается и машет рукой. Эти кадры, на которых снят Александр Романович, подтверждают мое впечатление о том, что он чувствовал себя в Америке, как ребенок, получивший много замечательных подарков, в свой день рождения.

Джером Брунер приглашает его к себе в Кембридж (МА).

«Мой дорогой доктор Лурия,

Мы очень ждем Вашего визита в Кембридж 16 марта, Вашей остановки в моем доме и возвращения в Нью-Йорк 17 марта.

Миссис Брунер и я планируем устроить званый обед для Вас вечером 16-го. Кого бы Вы хотели видеть? Я уже пригласил Джорджа Миллера. Кого еще? Б.Ф. Скиннера? Мэри Брезьер? Вальтера Розенблата? Сообщите мне, и мы устроим все согласно Вашим пожеланиям.

Можем ли мы рассчитывать, что Вы прочитаете лекцию днем 16-го на тему, которую Вы сами выберете? Здесь многие хотят иметь честь слышать Вас.

С самыми добрыми пожеланиями и в предвидении скорой встречи с Вами.

Сердечно,

Джером С. Брунер»

(письмо от 10 февраля 1960 года).

Александр Романович с радостью принимает это приглашение:

«Мой дорогой Др. Брунер.

Я очень благодарен Вам за Ваше доброе приглашение. Я получил его в день отлета из Москвы. Вот почему я отвечаю из Принстона.

Я буду очень рад быть у Вас вечером 16 марта. Со мной Соколов. Хотите ли Вы иметь его тоже? Я буду рад, если Вы узнаете его не только с моих слов, но и лично.

Конечно, люди, которых Вы упомянули определенно важны и приятны мне, и, пожалуйста, устраивайте прием в Вашем доме так тесно и интимно, как Вы хотите.

Мог бы я видеть Романа Якобсона и Роджера Брауна в Кэмбридже? Пожалуйста передайте мои лучшие пожелания миссис Брунер! Я здесь с Карлом Прибрамом и наслаждаюсь встречей с ним.

Искренне,

Ал. Лурия»

(письмо от 22 февраля 1960 года).

Джером Брунер вспоминает о встрече с Александром Романовичем:

«Я расскажу об одном особенно памятном визите, который он сделал в Гарвард в начале 1960-х, чтобы прочитать несколько лекций о роли языка в развитии и восстановлении при мозговом поражении. Была весна и погода, подходящая для гуляния и солнечное освещение — для фотографии. Мы гуляли по Harvard Yard, и ему больше всего нравилась его интимность — «как прекрасная маленькая деревня, населенная учеными. И здесь William James, Walter Cannon, Roman Jakobson и замечательное новое поколение, которая поможет пересмотреть науку. Это великая страна». Когда мы давали обед в его честь тем вечером, мы подали прекрасное Beaujolais к столу. Он не видел бутылку, когда наливали, и когда он сделал первый глоток, он сказал: «Боже, и Вы делаете такое вино здесь тоже!» Я думаю, что он почувствовал облегчение, когда я сказал, что это французское вино».

В Москву он вернулся переполненный впечатлениями и уехал отсыпаться на дачу:

«Мой дорогой Джером,

Теперь — наконец — я дома, и это письмо с моей дачи, — глубоко в лесу, на берегу реки и озера, с белым тающим снегом и ярким солнцем: настоящая русская весна в самом ее начале.

Я здесь на несколько дней отдыха — я надеюсь проспять 14 часов — я действительно должен прийти в себя после напряженной поездки в Вашу страну! И все тысячи впечатлений должны улететь в систему, — и только покой начинающейся весны в лесу может сделать это!..

Это письмо только для того, чтобы сказать, как глубоко я ценю дни, которые я провел у Вас, и Ваш чудесный дом... и всех блестящих людей, которых я встретил в Вашем доме и в Вашей лаборатории, и Вашу очаровательную жену, и блестящего Джорджа Миллера, и... но невозможно перечислить все и уложить на одну страницу письма.

Пожалуйста, примите мою благодарность и сердечные приветы! Я верю, что Вы будете у меня в следующем году с миссис Брунер и Карлом...

Вчера я отправил Вам жемчужину русского народного искусства альбом «Палех». Вы получите его через три недели, — вес альбома сделал невозможным послать его авиа-почтой, — и я надеюсь миссис Брунер и Вам он понравится.

Мои лучшие пожелания и благодарность, и надежда видеть Вас здесь с нами.

Ваш Ал. Лурия»

(письмо от 27 марта 1960 года).

В 1956 году у Александра Романовича появился первый иностранный аспирант — Цао Пин из Китая. Китайских аспирантов — психологов на факультете было четверо, и они раз в неделю приходили к нам на Фрунзе. Для них Александр Романович проводил семинар в своем кабинете. Сам он, всегда относящийся с глубоким интересом к восточной культуре, расспрашивал их о китайском искусстве и мог часами рассматривать китайские свитки и рисунки.

Новый 1957 год китайские аспиранты встречали у нас. Они приготовили на глазах у остолбеневшей от ужаса Оли китайское блюдо из водяных червей — трепангов, суп из акулих губ и подали на стол яйца с прозрачным как янтарь желтком, которые долго лежали в земле. Папа с восторгом пробовал китайскую еду и даже научился есть деревянными палочками. Он спрашивал, как что называется и запоминал китайские слова. Однако, дальше запоминания нескольких фраз его занятия китайским языком не пошли. Он говорил, что в китайском языке очень трудная для нас фонетика.

Потом стали приезжать ученики из других стран: Яромир Яноушек из Чехословакии, Марцел Климковский из Польши, Майка Коул* из Америки.

Майка Коул вместе с женой приехал в Москву в 1962 году. О встрече с Александром Романовичем он вспоминает**: «Шейла и я, после окончания Университета в Индиане, приехали в Москву, куда я был приглашен на годовую стажировку к Александру Романовичу. В день нашего приезда он был на даче и попросил своего бывшего

* Коул (Cole) Майкл — американский психолог, специалист по сравнительно-культурологическим исследованиям, редактор журнала «Soviet Psychology», теперь «East & Russian Psychology». На русский язык была переведена его книга (совместно с Сильвией Скрибнер) «Культура и мышление» (1977).

** Michael Cole «A portrait of Luria» in A.R. Luria «The making of mind» Harvard University Press, 1979.

студента, который хорошо говорил по-английски, помочь нам найти дорогу в Университет. На следующий день мы отправились к Лурия на чай. Александр Романович представил нас Лане Пименовне и пригласил в гостиную, которая являлась одновременно его спальней. На прекрасном английском он спросил, говорим ли мы по-русски. «Немножко», — ответил я. Это был последний раз, когда мы с ним говорили по-английски, хотя мой русский никогда не мог сравниться с его английским.

В течение следующего часа мы написали «научный план», который охватывал мою работу в течение года. Так как я приехал в Москву с неопределенной надеждой узнать о «семантической обусловленности» или изучать обусловленный ответ на значение слов, сама идея составления конкретного плана в мой первый день в России была пугающей. План может быть модифицирован, но не должен игнорироваться. Это был мой первый урок работы в советском стиле. Только тогда, когда я узнал, как составленный план может быть модифицирован в связи с необходимостью; возникающей по ходу дела, я оценил собственный уникальный стиль работы Александра Романовича.

После моего научного плана Александр Романович перешел к Шейле. Он спросил, каковы ее планы, и что мы собираемся делать помимо учебы. Шейла поблагодарила Александра Романовича, она еще не была уверена в своем будущем, хотя возможно она будет учиться на факультете журналистики Московского Университета и писать для газеты, которая выходит на английском языке. Но мы оба хотели узнать как можно больше о русской культуре.

Это заявление крайне обрадовало Александра Романовича. Недовольный тем, что его прежний иностранный ученик не занимался ничем, кроме учебы, он тотчас написал «культурный план», который был разработан в деталях, как и научный план. Мы вскоре узнали, что Александр Романович с благоговением относится к искусству Средней Азии, является знатоком оперы и театра, и зачитывается детективными новеллами. Мы ушли из квартиры Лурия, наполненные пирогом, чаем и чувством, что мы захвачены вихрем.

Это впечатление в дальнейшем усилилось. В понедельник я пошел в лабораторию Александра Романовича...

Время от времени Александр Романович брал меня на свои обходы в институте нейрохирургии, когда он посещал пациентов, ждущих операции или выздоравливающих после нее. Громадное уважение, которое он вызывал, распространялось и на меня, молодого иностранца в плохо сидящем белом лабораторном халате. Я ничего не понимал в значении его клинических исследований, хотя находил задачи, которые он дает пациентам, и их ответы занятными курьезами.

Мое главное впечатление об Александре Романовиче в этот год — было как о человеке в спешке. Его аппетит к работе поражал меня. Даже его перерыв на завтрак был таким, что я не мог не отставать от него. В тех случаях, когда мы завтракали вместе, он быстро шел из своей лаборатории в маленький магазин-кафе возле института. Хотя ему было шестьдесят лет, а мне только двадцать четыре, мне было трудно поспевать за ним. В кафе мы заказывали две чашки обжигающе горячего кофе и две булочки, которые мы съедали стоя. Александр Романович казалось вдыхал обжигающий кофе, тогда как я боязливо дул в стакан, чтобы охладить его. Не дожидаясь меня, он убегал в лабораторию...

Майка и Шейла провели в Москве год. В то время Майка часто приходил к нам домой и работал в папином кабинете, отрываясь от книг на несколько минут, чтобы пойти на кухню и перекусить.

Потом он много раз приезжал в Москву, участвовал в подготовке международного психологического конгресса 1966 года и в издании «Basic Books in Soviet Psychology». И все эти годы после папиной смерти Майка, приезжая в Москву на несколько дней, несмотря на сильную загруженность, всегда выкраивал время, чтобы встретиться с моим мужем и со мной, и хотя мы видимся редко — один раз в несколько лет — мы знаем, что у нас есть родной человек, который делает очень много для памяти Александра Романовича.

В начале шестидесятых годов в Москву приезжали иностранные коллеги и друзья Александра Романовича: Джером Брунер, Карл Прибрам, Ханс Лукас Тойбер, Оливер Зангвилл. Организовать визит иностранного ученого и получить разрешение на него было делом не простым в те времена: Александру Романовичу приходилось тратить на это много сил, писать кипы бумаг, ходить по инстанциям и согласовывать разные формальности. Но обо всех этих хлопотах он забывал, когда ехал на аэродром, чтобы встретить гостя. Гость прилетал в Москву и начинались четко спланированные Александром Романовичем дни, заполненные докладами, беседами, клиниками и поездками на машине в старинные города средней России.

«В 1961 году моя жена и я совершили наше первое путешествие в Москву и Ленинград — три впечатляющих недели, — вспоминает Джером Брунер. — В качестве подготовки А.Р. Лурия прислал мне книги по искусству: о классической русской архитектуре, о Рублеве и искусстве иконописи, о маленьком городе Ростове с его великолепными церквями и монастырями. Когда мы приехали, мы останови-

лись в гостинице Украина, и вскоре после приезда я должен был читать лекцию в Московском обществе психологов. Был дождливый день, я сел на неправильный автобус, и в конце концов должен был искать такси, которое привезло меня в правильное место. Когда я приехал, Александр Романович в плаще ждал меня на автобусной остановке на другой стороне улицы. Он сильно промок. Это было очень характерно для него: я никогда не знал никого более заботливого и внимательного к своим друзьям. Я опоздал на полчаса, но он приветствовал меня весело и не хотел слышать слов о том, чтобы переодеться в сухую одежду. Три минуты спустя я читал лекцию. Все ждали и зал был полон. Я читал первый час двухчасовой лекции на английском, который Александр Романович переводил с многочисленными собственными вставками. Он был в своем обычном оживлении и забавлял себя ролью переводчика, и моя лекция была улучшена его усилиями. В действительности, он добавил сравнимые с нашими наблюдения и даже делал дополнительные иллюстрации на школьной доске вслед за моими собственными. Это было необыкновенно весело. Я читал вторую половину лекции на французском и на этот раз переводил Леонтьев. Леонтьев был очень точным, очень дотошным, всегда старавшимся понять точно, что я сказал, прося меня повторить позиции. Это был забавный контраст, и затем я добавил к моей лекции комментарий о том, какие вещи оказалось легко переводить и какие трудно...

Спустя несколько дней мы отправились в путешествие в престошный город Ростов, чтобы посмотреть окрестности и старинные сельские церкви, которые он особенно любил. Цвела черемуха и местность была восхитительно прекрасна. Я помню, как его шофер остановил машину, чтобы срезать несколько цветущих веток для моей жены, и Александр Романович был в восторге. Обычно, переполненный планами и стремящийся показать нам многое, он хотел двигаться быстрее. «Ну, пошли! — говорил он. — Нам много надо посмотреть». И я рассказал ему о великом девизе Mies van der Rohe «Less is more» (меньше — лучше), и он немного замедлил шаг. Старая церковь в Ростове была особенно трогательна. В ней было много старых людей, поглощенных предпасхальной службой, и их благочестие было особенно трогательным.

Русские, сказал он, глубоко эмоциональные люди «в этом их сила и их слабость». Я ответил ему позже: «Возможно это Третья Сигнальная Система, которая имеет дело с символами в нелингвистическом смысле, с теми, что говорят сердцу»...

* Мис ван дер Роэ, Людвиг (1886 — 1969) — всемирно известный архитектор.

Осенью 1961 года первый раз за границу поехала и мама. Времена оттепели сделали возможным эту поездку. Месяц она провела в Чехословакии на курорте Карловы Вары. Перед маминым отъездом папа давал ей советы о том, что надо посмотреть в Праге в первую очередь, звонил своему бывшему аспиранту из Чехословакии Яромиру Яноушке, чтобы предупредить его о мамином приезде. Как всегда он писал маме подробные письма и ждал ее писем и телефонных звонков.

«Дорогая Ланушенька, только что принесли твою телеграмму — и мы знаем, что ты приехала благополучно. Поэтому я сейчас же пишу тебе. Вчера мы все вымеряли: вот ты проехала Киев — Львов — вот ты уже в Праге... Наверное, тебя встречал Яноушек и ты хоть немного гуляла по этому прекрасному городу! Теперь ты уже на месте, — мы с нетерпением ждем вестей...»

Я уже была замужем за Александром Фриденштейном, училась на пятом курсе Университета и делала дипломную работу в Шуриной лаборатории. Первые годы мы с Шурой жили у моих родителей, пока не построили собственную кооперативную квартиру. Шура хорошо вписался в нашу семью; увлеченный своими исследованиями, он много времени отдавал работе. Как и моя мама, он занимался клеточной биологией, много знал, и мама часто обсуждала с ним свои научные проблемы, просила его советов и относилась к его мнению с большим уважением. В наш дом стали приходить Шурины друзья — биологи и физики, и по вечерам шли научные дискуссии. Иногда к разговору за круглым столом присоединялся и папа, сделавший перерыв в работе, чтобы попить с нами чай.

Для Шуры, как и для папы, на первом месте всегда стояла наука; мы редко выбирались в театр и в гости. Наши дачные соседи и друзья Матвеевы жили недалеко от нас в доме возле старого Университета в большой коммунальной квартире. К Матвеевым мы иногда ходили вместе с папой. Старый профессор Университета — зоолог Борис Степанович Матвеев жил в своем заставленном книжными шкафами кабинете. Комната его дочери Аси находилась на другом конце квартиры. Над половиной комнаты с очень высоким потолком надстроили антресоли, на которые вела узкая деревянная лестница. На втором этаже устроили спальню, внизу — столовую. На стенах ее висели старинные иконы, написанные на больших досках. Асин муж — скульптор Валерий их реставрировал. Ася — специалист по древнерусскому искусству читала нам маленькую лекцию и рассказывала историю каждой иконы. На папу собрание икон произвело большое впечатление и он написал об этом маме в Чехословакию:

«Интересную вещь видел вчера. Я уже писал тебе, что Валерий — муж Аси был на Севере в поисках икон. И вот сейчас мы все были у них, Ленка и Шура просидели там вчера до двенадцати часов ночи, и видели совершенно замечательные иконы размером в половину двери, которые Валерий оттуда вывез. Это редкая удача, не преувеличивая — это шедевры, которые займут едва ли не центральное место в Третьяковке...

Что у нас нового? Все течет, как было, я почему-то начал уставать от лекций, крутежки в институте и т.д.; все идет как-то напряженно, но не очень продуктивно. Надо снова взяться за что-нибудь существенное, может быть еще оформить старые работы.

Очень я тебе завидую; надо как-нибудь вместе отдохнуть месяц в хорошем санатории с прогулками, а то все лето я работал, а теперь — какая-то усталость.» (из письма от 18 октября 1961 года).

Мама вернулась в Москву с новыми впечатлениями и подарками для каждого из нас...

Мама долгое время равнодушно относилась к одежде и начала хорошо одеваться после пятидесяти, в конце пятидесятых годов. На себя она тратила очень мало времени: каждый день с девяти утра и до шести вечера она проводила в своей лаборатории, а по вечерам редактировала статьи и диссертации своих сотрудников, но в основном занималась домашними делами. Опе стало трудно готовить обеда, и забот у мамы прибавилось, но она находила время украшать дом: развешивала на стенах маски, тарелки, фигурки, которые папе дарили иностранные ученики и друзья. На старой гладильной доске на кухне она тщательно наглаживала папины рубашки: «Папка наш, как девочка, любит наряжаться!» С меньшим старанием гладила свои белые блузки, которые носила со строгими темными костюмами английского покроя.

Когда мама шла на конференции и по другим торжественным случаям она прикалывала на блузку старинную брошь — камею, которую подарил ей папа. Кроме камеи и еще одной броши, она никогда не носила никаких украшений, да у нее их и не было. Ее подстриженные волосы всегда были хорошо причесаны. Сотрудница института, в котором работала мама, сказала как-то мне: «Лана Пименовна выглядела как королева, у нее была царственная осанка; когда она входила в конференц-зал, все обращали на нее внимание». Я никогда не смотрела на маму такими глазами. Для меня ее затмевал папа. Она считала самым главным для себя сделать все, чтобы папе было хорошо и удобно, снимала с него все бытовые заботы, чтобы он мог ни на что не отвлекаясь заниматься работой. Дача и машина постоянно требовали ремонта, который организовать было совсем не просто, и все ложилось на мамины плечи.

И когда мы с Шурой переехали в свою квартиру, мама продолжала беспокоиться о нас. В нашем районе, который только начинал застраиваться, не было магазинов, и мама часто звонила мне и просила приехать, чтобы забрать продукты, которые она купила для нас.

Конечно, перегруженная домашними заботами мама, не могла часто ходить в библиотеку и внимательно следить за большим потоком статей в научных журналах. Мама болезненно переживала это и часто говорила мне: «Какой же из меня заведующий лабораторией? Я так отстала и чувствую себя каким-то самозванцем, будто я занимаю чужое место». Маминой сильной стороной была тонкая научная интуиция, которая ей очень помогала, и большая любовь к экспериментальной работе. Многие часы мама проводила за старым цейсовским микроскопом, просматривая препараты. Она любила клетки и ткани — объект, с которым она проработала всю жизнь. У нее прекрасно росли культуры, а постановка культур, особенно в те времена, — это не только наука, но и искусство. У мамы были, как говорят англичане «зеленые пальцы»: к чему бы она не прикоснулась — все получалось: росли не только клетки и ткани в культурах, но замечательные цветы на даче. Даже в последние годы жизни, когда оставалось мало сил, она продолжала заниматься цветами: под окнами цвели нарядные розы разных сортов, настурция, вдоль дорожек пионы, разноцветная ромашка и флоксы, весной примула, голландские тюльпаны и нарциссы. До сих пор, хотя прошло уже много лет, весной мы видим первоцветы, которые посадила мама.

После восстановления нейропсихологической лаборатории в Институте нейрохирургии и до конца жизни Александр Романович продолжает углублять представления о мозговой организации психических процессов. Он формирует концепцию о трех блоках мозга, которая ложится в основу теоретических представлений нейропсихологии о системном строении и функционировании мозга как целого.

«Работа Лурия «Функциональная организация мозга» в книге «Естественнонаучные основы психологии» представляется нам фундаментальным обобщением его полувековой работы, — пишет нейрохирург Э.И. Кандель*. — В технике существует дисциплина, именуемая «Общая теория механизмов и машин». Однако никто еще не мог предложить общую теорию работы мозга. Именно поэтому столь сильное впечатление производит эта сравнительно короткая (всего 30 страниц) работа Лурия. В ней с исключительной глубиной, удивительно ярко и просто раскрыто понимание интегративной функции мозга, механизм и взаимодействие трех основных составляющих его блоков».

* Сборник «А.Р. Лурия и современная психология». Издательство Московского Университета, 1982.

Подробному изложению концепции о трех блоках мозга Александр Романович посвятил книгу «Основы нейропсихологии» («The working brain» в английском переводе).

Все эти годы Александр Романович работает в постоянном контакте с выдающимися учеными современности, которые тоже изучают работу мозга: Карлом Прибрамом, Хансом Лукасом Тойбером, Оливером Зангвиллом, Макдональдом Кричли, Лауренсом Вейскранцем. Он обсуждает с этими учеными стратегию и тактику своих исследований и ключевые проблемы нейропсихологии. Более того, во время их коротких визитов в Москву Александр Романович проводит с некоторыми из них совместные исследования. Вместе с Прибрамом, Зангвиллом и Кричли он публикует общие статьи, составляет и редактирует сборники по нейропсихологии, организует симпозиумы и конференции, участвует в редколлегии международных журналов. В собранной мною и еще не опубликованной огромной переписке Александра Романовича с Прибрамом, Вейскранцем, Зангвиллом, Верчем можно видеть, как рождались концепции нейропсихологии и ее новой ветви — нейролингвистики. К сожалению, из-за специального характера этих писем я не имею возможности широко их цитировать в книге. Мне хочется подчеркнуть, что, читая эту сугубо научную переписку, я чувствую человеческое тепло, выражающее взаимную горячую симпатию корреспондентов.

С Карлом Прибрамом Александра Романовича связывала многолетняя дружба, они познакомились в 1957 году во время XV международного конгресса в Брюсселе. Прибрам, будучи моложе Александра Романовича на 12-15 лет, всегда относился к нему с пиететом и, хотя они давно уже были друзьями, в своих письмах называл Александра Романовича официально — «Дорогой профессор Лурия», что несколько диссонировало с теплыми чувствами, которые он выражал; в то же время Александр Романович называл его просто по имени.

В пост-скриптуме к письму от 2 марта 1969 года Александр Романович пишет Прибраму:

«Карл, пожалуйста, перестань называть меня «Профессор и прочее». Послушай меня, если ты не сделаешь этого, мое следующее письмо будет начинаться так: «Дорогой и достопочтимый Профессор К.Х. Прибрам!»...

И Прибрам соглашается называть Александра Романовича более интимно:

«Дорогой Хароманч Ксароманч,

Прекрасно! Если Вы настаиваете чтобы я не называл Вас «Профессор Лурия», следующее, что приходит в голову — Александр Романо-

вич — звучит более непривлекательно, могу ли я использовать нежное имя, которым все, любящие называют Вас?»

Поясню, что Ксароманч, это сокращенное от «Александр Романович» и в разговорной (но не письменной) языке оно так произносится. Прибрам с женой Эми приезжал в Москву в 1961 году, он проводил много времени в институте Бурденко, а я развлекала Эми и показывала ей Москву. Они бывали и у нас дома на улице Фрунзе и мама тепло их принимала.

Летом 1966 года в Москве проходил XVIII Международный психологический конгресс. На этот конгресс, весь груз по организации которого лег на плечи Александра Романовича, приезжают Брунер, Скиннер, Тойбер, Прибрам и многие-многие коллеги и друзья Александра Романовича. После окончания конгресса он редактирует (не имея даже секретаря!) материалы конгресса и готовит их к публикации. Одному Богу известно, как он сумел справиться с этим делом и провести его, не отрываясь от лекционной и клинической работы.

В шестьдесят третьем году во время короткого визита в Оксфорд Александр Романович знакомится с нейропсихологом Лауренсом Вейскранцем, которого раньше он знал только по литературе. Вейскранц производит на него сильное впечатление.

«Мой дорогой доктор Вейскранц, — пишет Александр Романович после своего отъезда из Оксфорда. — Это маленькое письмо скажет Вам, как ужасно рад я был встретиться с Вами лично.

Вы можете меня понять достаточно хорошо — это редкий случай в жизни, когда идеи, стиль работы и мышление двух людей были бы так близки. Это было в случае с Карлом Прибрамом и теперь — с Вами» (из письма от 1 декабря 1963 года, Гранд Отель Бристоль).

В 1965 году Вейскранц по приглашению Александра Романовича приезжает в Москву. Мне приятно привести здесь воспоминания профессора Вейскранца, которые он любезно написал по моей просьбе.

«Наиболее памятной для меня частью общения с ним был, конечно, мой визит в институт нейрохирургии в 1965 году, где я провел много часов, обследуя больных вместе с ним и разговаривая с его сотрудниками, особенно с Дженни Хомской. Он оказал мне огромное гостеприимство, организовал для меня поездку в Ленинград и встречи с многими-многими учеными здесь в Москве. Но этот бесценный опыт был таким коротким. Он улавливался всегда по телефону — кажется у него была большая книга неопубликованных телефонов СССР, многие из которых он знал на память. Его звонки всегда оказывались высокоэффективными. Я помню много обедов и ужинов в его квартире с ним, Ольгой Виноградовой, Евгением Соколовым, Дженни и студентами. К сожалению, с Вашей матерью произошел несчастный случай незадолго до моего приезда, и она была в гос-

питале в течение моего визита! Так случилось, что Ваш отец также сломал ногу и его подвижность была ограничена, но звонки по телефону — очень активными!

Он спланировал мои дни полно и по-отечески. Планы всегда были очень точными и неколебимыми. Я помню, что пятницы были выделены на мое культурное образование. Он говорил мне очень определенно, какие картины, например, я должен посмотреть, и ожидал отчета впоследствии о моей реакции и мнении. Я вложил в письмо эскиз, который он сделал для одного посещения музея. Я не помню, какой музей это был; вероятно Вы это установите».

Александр Романович обожал давать поручения и это распространялось не только на членов семьи: мама без конца носила в фотолабораторию для проявления его любительские пленки, Шуру он послал на почту за красивыми марками, и если Шура забывал выполнить его поручение, отчитывал его как мальчишку, и мне и Оле он тоже находил дела. К своим иностранным друзьям он обращался с бесчисленными (трогательно-смешными) просьбами: «Дорогой Майкл, купите мне, пожалуйста, дюжину хороших карандашей, и мягкие ластик...» писал Александр Романович Коулу, он всегда как истинный графоман (в хорошем смысле этого слова) равнодушно относился к канцелярским принадлежностям. Во время своих поездок, он покупал их сам, любил писать серебряной с золотым пером паркеровской ручкой, сделанной в стиле ретро. Когда ему показалось, что перо выходит из строя, он пишет Брунеру: «Дорогой Джери, будь так любезен, купи для моего паркера новое перо...» Он заказывает за границей именные конверты и бумагу для писем с водяными знаками и ведет на ней всю свою переписку. Затем в доме появляются новые игрушки: портативная машинка для ксерокопирования, американский проектор для слайдов, японский фотоаппарат Канон и поляроид и с ними новые заботы. Иногда то или другое выходит из строя, это целая трагедия, и он обращается с просьбами к друзьям:

«Дорогой Артур, у моего проектора лопнула линза и мне не удалось сделать на заказ новую...» и т.д. и т.д.

Очередной «жертвой» Александра Романовича стал Вейскранц.

«Зная о моей поездке в Москву, — вспоминает Вейскранц, — он попросил меня достать пленку для поляроида (Вы прочитаете это в его письме ко мне от 17 августа 1965 года). Оказалось, что это пленка редкого размера и, наконец, в Кембридже, перебирая много различных и широко распространенных образцов, мои коллеги и я получили нужный образец. Когда я приехал в его квартиру в Москве, я достал пакет. Увы, сказал он, глядя в своем шкафу, он дал мне неверную спецификацию. Действительно, его шкаф был полон ассорти-

ментом пленок поляроида, которые оказались неподходящими! Он настаивал, чтобы я взял большой запас пленки, которая не подходила к его камере, в мою предстоящую поездку в Индию. Я сделал это и передал ее факультету биохимии Университета в Барода. Что они сделали с ней, для меня остается загадкой»...

Александру Романовичу его коллеги, кроме научных книг, регулярно по его просьбе посылают и английские детективы. Аарон Смит вспоминает, что на почтовых пакетах, в которых лежали детективы, он делал пометку «научная литература» и книги, не подвергаясь цензуре, доходили в короткий срок. Со своей стороны Александр Романович посылал друзьям и коллегам книги по искусству. С большой любовью к восточному искусству, он покупал альбомы китайских вырезок, сделанных из тонкой цветной рисовой бумаги, и посылал их за границу. Иногда мы шли вместе в книжный магазин на Арбат и покупали для подарков в огромном количестве альбомы по древнерусскому искусству и затем отправлялись на почту, где нам их упаковывали и наклеивали красивые марки. Александр Романович любил красивое оформление конвертов. Впрочем, красоту он любил во всем и его эстетическое чувство оскорбляла некрасивая обложка книги, неправильная цветопередача в альбомах репродукций, он любил красивые интерьеры и наш дом, декорированный с большим вкусом и любовью мамиными руками. И конечно же по своему складу он был не только ученым, но и человеком искусства и только дефицит времени и жизненные обстоятельства не дали возможности полностью раскрыться его способностям. Равнодушный к музыке, он очень любил скульптуру и живопись. Мы часто ходили с ним в музей недалеко от нашего дома, расположенный в здании реставрированной старой церквушки. Этот маленький музей, где постоянно менялась экспозиция, мы называли «Лесная сказка». Там мы рассматривали необыкновенно пластичные деревянные скульптуры, сделанные из коряг, любовались шлифованными самоцветами и композициями из сухих цветов и веток. На выставке в аквариумах плавали удивительные разноцветные рыбки, и мы любили за ними наблюдать. Конечно, эти наши походы в музей были оазисами — короткими паузами в папиной работе, а работал он всегда не просто с большой нагрузкой, а с перегрузкой, которая, как я теперь понимаю, выше человеческих сил, и в этом смысле напоминает Тома Вулфа — героя рассказа Брэдли «О скитаниях вечных и о земле», только в отличие от Тома Вулфа Александр Романович с такой отдачей работал не два месяца, а целые десятилетия. Я думаю, если бы он не перегружал себя так, то прожил бы на свете гораздо дольше...

К Александру Романовичу приходят широкое международное признание. Он избирается членом Национальной Академии Наук

США, Американской академии наук и искусств, Американской Академии Педагогике, почетным членом ряда психологических обществ (французского, британского, швейцарского, испанского и др.), почетным доктором ряда Университетов (Лейчестера, Брюсселя, Упсалы, Люблина, Неймегема и др.).

«Я недавно получил письмо от вице-канцлера Университета Лейчестера, сообщающее мне, что Сенат решил присудить мне Почетную степень доктора и приглашение посетить ежегодное торжественное собрание 20 мая...» (из письма к Зангвилу от 11 декабря 1966 года).

В Англию Александр Романович прилетает из Парижа, где участвовал в работе IBRO* — и останавливается у психолога Брайна Саймона:

«Живу я у Брайна Саймона; он поместил меня в комнате сына, — и подарил мне чудный легкий шерстяной халат (теперь я окончательно могу играть роль старого рамолика). Через полчаса я еду на вручение степени, и мне должны одеть какую-то тогу, прямо как в оперетке... — а пока пользуюсь свободным перерывом и пишу» (из письма от 20 мая 1967 года).

В маленьком зеленом блокноте, в котором Александр Романович делал короткие путевые заметки, я нашла описание церемонии в Лейчестерском Университете 20 мая 1967 года.

«Церемония вручения степени.

Беседа с Эдрианом**.

На меня надевают красную тогу
(потом ее отбирают!)

Процессия: маршалы — лорд мэр (кстати — женщина!) с цепью

— сенат

— мы грешные

(1 полицейский, 1 педагог, 1 профсоюзный деятель, 1 актер и я!)

— вице-канцлер

— канцлер

Латинская церемония.

Чудн о, что на полном серьезе.

Ленч человек на 200».

В 1970 году Александр Романович едет на международный психологический конгресс в Лондон. Здесь он встречается со своими друзьями и горячо обсуждает с ними волнующие его научные проблемы.

«Могли ли Вы Александра Романовича попытаться удержать спокойным, — вспоминает Брунер. — В Лондоне, на международном конгрессе 1970 это было, он перенес небольшой сердечный приступ, и доктора уложили его в постель в Tavistock Hotel, где он остановился. Разумеется, мы все ходили навещать его. Но не всегда было так, как надеялся доктор. Однажды мы начали разговор о формах репрезентации, о тех типах моделей, которые мы строим в своем сознании, чтобы представить себе мир. И он был увлечен дискуссией о различиях между симультанными моделями и теми, которые имеют временное распределение, и способах их взаимодействия в мозгу. Он пришел в возбуждение от идей, которые мы обсуждали для экспериментов с детьми, с афазиками, с нормальными взрослыми, чтобы продвигать эти исследования дальше. Это было очень типично для Лурия. Я сказал ему, в конце концов, что, если он не перестанет так заводить, я позову Кричали, его друга — невропатолога, который выступал как его доктор. Он засмеялся: «Я хорошо поговорил с Кричали тоже». Он был неисправим».

А сколько стажеров приезжало в Москву, чтобы учиться нейропсихологическим методам исследования, и всех Александр Романович тепло принимал и щедро делился с ними своими знаниями и планами.

«Был прекрасный октябрьский вечер, когда я впервые пришел на улицу Фрунзе, — вспоминает Эдуардо Бизиах*. — Зажатая с обеих сторон между старыми зданиями, она была темной, и эта темнота составляла резкий контраст с яркими звездами на вершинах кремлевских башен, которые остались за моей спиной. У входа в дом номер 13 сидели две старые женщины. Они разговаривали, и я должен был прервать их, чтобы спросить, как найти квартиру профессора Лурия. Они уставились сначала на меня, потом переглянулись. Я повторил мой вопрос, назвав профессора Лурия по имени и отчеству. Их лица сейчас же просветлели, и они с готовностью указали мне на дверь на противоположной стороне двора. Через несколько минут я уже сидел в удобном кресле возле массивного письменного стола, на котором лежали бумаги и разнообразные предметы. Здесь я провел несколько часов, наслаждаясь оживленной беседой с высоким улыбающимся седым человеком. У меня было поручение нанести ему вежливый визит, и я был очень далек от того, чтобы предполагать, что этот визит приведет для меня к совершенно неожиданным последствиям.

* «Contemporary Neuropsychology and the Legacy of Luria» (ed. E. Goldberg) 1990.

* International Brain Research Organization — Международная организация по исследованию мозга.

** Лорд Эдриан — президент Королевского общества (Британской Академии Наук).

В конце вечера Александр Романович неожиданно обратился ко мне по-русски. Убедившись в том, что я в какой-то степени могу следить за ним, он с полной определенностью заявил, что причины, которые привели меня в Москву не так уж важны и что будет гораздо лучше, если я вообще о них забуду и займусь нейропсихологией, начиная уже с завтрашнего утра, и я должен перестать читать и говорить на других языках, кроме русского, в течение ближайших шести месяцев, что он сам позаботится обо всех документах, которые нужны, чтобы освободить меня от обязательств, связанных с моим грантом, который дал мне возможность приехать в Москву. И на следующий день я начал свое обучение под руководством лучшего человека, которого я когда-либо встречал.

Мне трудно выразить словами благодарность за сокровище его совета и радость дружбы с ним».

И в клинике и в Университете, Александр Романович окружен коллегами из других стран, которые учатся у него и слушают его лекции.

Мне приятно привести слова из Воспоминаний профессора Аmano, которые он написал для моей книги.

«Каждую среду с октября 1972 по июнь 1973, — вспоминает Кийоши Аmano, — я приходил в аудиторию на втором этаже факультета психологии Московского Университета, чтобы послушать лекцию профессора Лурия по общей психологии. Аудитория всегда была заполнена слушателями: студентами, аспирантами, преподавателями психологии из республик и стажерами из разных стран. Для того, чтобы сесть поближе я всегда приходил в аудиторию за 15 минут до начала лекции, и почти каждый раз профессор Лурия был уже на месте и приветствовал нас теплыми словами и рукопожатием. Конечно, его лекции были всегда превосходными. Я прослушал его лекции, посвященные проблемам «речи» и «восприятия», и был поражен его глубокими знаниями новейших исследований Запада. Даже сейчас я иногда прослушиваю кассеты с его лекциями, которые я записал в то время. Когда я слушаю, для меня профессор Лурия еще жив и читает лекции».

Глава 14

«Ум мнемониста». «Человек с расколотым миром». *Литературные и художественные вкусы папы*

Я сижу за папиным письменным столом в его комнате наверху. За окном ветер, шумят деревья и вековые ели качают вершинами. Здесь папа написал большинство своих книг. И когда он отрывался от рукописи и поднимал глаза, то видел небо и эту стену из елей, которые много лет назад посадил художник-передвижник Сергей Иванов.

Когда папа работал, я любила тихо сидеть в комнате и читать. Мне нравилось смотреть, как папа пишет. Прежде чем начать писать, он энергичным движением придвигал свое деревянное кресло ближе к столу, устраивался поудобней, как пианист у рояля, и без паузы начинал писать. Я не видела его лица, а только прямую спину, чуть склоненную голову и руку, которая быстро скользила по бумаге. Иногда он останавливался на минуту, будто к чему-то прислушивался и снова писал. Мне казалось, что он пишет музыку. В его голове — музыка, и он торопится записать мелодию, которая так легко и просто ложится под его рукой на нотную бумагу. Когда я тихо подходила к столу и сзади заглядывала на лист, я видела не ноты, а ровные красивые строки рукописи. «Ты что, Ела? — спрашивал папа, не оборачиваясь, и перо замирало на бумаге, — Подожди, кончу мысль». Когда мама звала его снизу: «Алинька! Завтракать», — папа отвечал: «Сейчас, Ланушка, допишу до абзаца», быстро дописывал несколько фраз и ставил точку. Когда он после завтрака садился за стол, для того, чтобы начать писать требовались секунды. Папа устраивался в кресле, брал ручку и снова быстро и ровно ложился на лист четкие и красивые строчки. «Перерыв ты делаешь на таком месте, когда уже хорошо знаешь, о чем будешь писать дальше», — говорил мне папа. Ему не надо было сосредотачиваться, потому что его мелодия звучала всегда. Ему стоило только прислушаться.

Здесь на даче папа написал и «Маленькую книжку о большой памяти», которая под названием «Ум мнемониста» вышла затем на многих языках. После эпиграфа из А. Кэррола идут несколько строк от автора:

«Это лето я провел вдали от города. Через раскрытое окно доносился шум деревьев и запах трав; на столе лежали старые пожелтевшие записи, и я писал книжку о странном человеке — неудавшемся музыканте и журналисте, который стал мнемонистом, встречался со многими большими людьми, и так и остался до конца своей жизни

каким-то неустроенным человеком, ожидающим, что вот-вот с ним случится что-то хорошее. Он многому научил меня и моих друзей, и будет справедливо, если эта книжка будет посвящена его памяти. Лето 1965 года.»

Эта книга об основных особенностях личности мнемониста Ш., сложившихся под влиянием его безграничной памяти, написана в ключе романтической науки, предметом которой является подробное описание наблюдений над одним человеком. Такой подход принят в клинике, где хороший врач не ограничивается изучением одного симптома, а пытается понять, как нарушение одного процесса сказывается на протекании других процессов, на целостной картине болезни, то есть на весь синдром — синдром выдающейся памяти. Она является началом конкретной психологии. В ее ключе написаны книги американского психолога Оливера Сакса, появившиеся позднее уже в семидесятых-восьмидесятых годах...

«Ум мнемониста» издается в Америке с предисловием Джерома Брунера в Бэйзик Букс у Артура Розенталя — друга Александра Романовича.

«Мой дорогой Джером, — пишет Александр Романович Брунеру 9 января 1967 года. — Я получил оба твоих письма на даче (я решил провести здесь две недели) — и не можешь себе представить, как рад я был узнать, что ты готов дать предисловие к моей «Маленькой книжке о большой памяти». Я испытываю — как я уже говорил — особенно теплое чувство в отношении этой маленькой книги, и она кажется мне лучше, чем мои другие (большие) книги. «Нейропсихология» и «Высшие корковые функции» и «Лобные доли» — продукт повседневной, прозаической работы; эта — плод научного досуга и имеет романтические штрихи в себе, и ты именно тот человек, который должен представить ее читателю. Так случилось, что я получил английскую версию текста с той же почтой, и она пойдет Артуру Розенталю через 10-12 дней после того, как я исправлю незначительные ошибки и др. В. Познер* отредактирует ее. Я надеюсь, она тебе понравится, и я буду благодарен, если ты расскажешь свои впечатления.

Здесь снег и лес, и воздух спокойный и прозрачный, и нет телефона, и я готовлю второй том моего «Мозг человека и психические процессы» — чисто прозаическую работу по функциям лобных долей; она пойдет в печать, и я надеюсь увидеть ее опубликованной через год; она включает новые данные по программированному действию; и некоторые исследования памяти — как я надеюсь — составят третий том.

* Владимир Познер — известный ныне тележурналист.

Но мои мечты в другой книге — из «романтической серии» — «Историческое формирование мышления» — это будет книга по данным, которые я собрал в 1931-32 годах в моей психологической экспедиции в Среднюю Азию и она будет посвящена особенностям, структуры мышления в обществе с пре-индустриальной, натуральной экономикой и «практическим мышлением».

Если я только напишу эту книгу (я должен иметь два свободных года для этого) — это будет очень важно (последние части твоего «Cognitive Growth» близки к этому). Вот будет забавно: данные реанимированные через 35 лет

— Но это мечты, и я еще не знаю, как я справлюсь с этим — имеется около 40 серий экспериментов!»

Брунер горячо поддержал замысел Александра Романовича:

«Мой дорогой Александр Романович,

твое письмо из загорода так полно zest, великих планов на будущее и научных стремлений, что я прочитал его дома за обеденным столом...

Ты должен написать книгу о работе в Средней Азии. Мне кажется, что она будет кульминацией твоего образа мышления. Твои интересы строго нейропсихологические, но твои теоретические позиции также показывают важность социальных и исторических сил в работе и формирования сознания...» (из письма от 30 января 1967 года).

И Александр Романович снимает с полки толстые папки с материалами среднеазиатских экспедиций, которые простояли в шкафу тридцать с лишним лет, и летом во время отпуска начинает писать книгу «Историческое развитие познавательных процессов». А в августе, устав сидеть за письменным столом, он проводит две недели на горном озере Иссык-Куль в любимой им Средней Азии. Оттуда он пишет Брунеру:

«Мой дорогой Джери,

...Возьми карту Сибири; на юго-западе ты увидишь Каспийское море и восточнее Аральское, восточнее — степи, еще восточнее комплекс Hishlands Памир, Тянь-Шань — Индия — Афганистан — здесь озеро Иссык-Куль, одно из самых высоких озер Средней — Центральной Азии (150х60 км в размере и на высоте 1500 м) — вот мы где! Мы решили провести здесь две недели. Я был занят написанием статей по памяти, одной — для «Basic Issue of Human Psychology», и пяти глав новой книги «Историческое развитие познавательных процессов» — все это (около 300 страниц) за шесть недель — и так как я немного истощился — мы здесь для перерыва. Это не так да-

леко, как кажется: 400 км полета (5,1/2 часа) от улицы Фрунзе в Москве до города Фрунзе — столицы Киргизской Республики, затем 250 км (5,1/2 часа) машиной — и мы на месте...

Иссык-Куль (иссык = теплое, куль = озеро по-киргизски) — море; вода голубая и теплая; и замечательное купание; и со всех сторон — снежные горы Тянь-Шань и Памир и дом отдыха Киргизской академии Наук — и разные типы людей — русские, узбеки, киргизы (монголы), казахи, — и мулы, ослы, машины и все, что хочешь... Здесь прекрасное сочетание свежего воздуха, горячего солнца и теплой воды — мы проводим день в купальных костюмах, а ночью укрываемся шерстяными одеялами.

Вчера мы ездили в горы — гигантские снежные скалы, и реки, и знаменитые тянь-шанские сосны (по форме похожие на цитрусовые, но в пять-шесть раз выше!). Несколько десятилетий назад размер «мили» (по-русски, версты) был не стабилен: он обозначал расстояние, на которое слышен звук; так на берегу горной реки, где шумно от потока, он очень мал (ты не можешь слышать голос), на равнине — большой. Сейчас культура изменила все это, но некоторые реликты могут быть найдены...» (из письма от 17 августа 1967 года).

Быстро протекали две недели в горах, и снова Москва, Университет, клиника и не может быть речи о том, чтобы два года посвятить оформлению книг. Для книг остаются выходные дни, вечера и время летнего и короткого зимнего отпуска.

«Дорогой Майкл, пишет Александр Романович Коулу 20 декабря 1969 года.

Пишу тебе из-под Москвы; я уехал на две недели в санаторий «Суханово» — бывший дворец князей Волконских, чтобы немного отдохнуть и закончить книжку — вторую, такую же как «The Mind of Mnemonist». Теперь она готова. Ее название будет «The man with a Shuttered World» это будет описание человека, у которого 25 лет назад пуля разрушила часть мозга и он потерял свое прошлое. Это, наверное, будет очень интересная и трагическая книжка о судьбе человека после войны. Я передам ее здесь в печать, а потом pošлю Артуру для издания...

О работе по исторической психологии.

Работа уже написана, и больше над ней работать не буду, разве только — дополню литературную часть; обзора современной литературы у меня нет. Для этого прошу тебя подписать меня на новый журнал «Journal of Cross-cultural Psychology», деньги на подписку возьми у А. Розенталя...

Весь этот год я был очень занят и написал больше 1400 страниц: мою часть Курса психологии (650 стр.), значительную часть книги

«Нейропсихология памяти» (600 стр.), книгу «The man with a shuttered world» (150-200 стр.) и еще много кое-чего...»

В декабре 1969 года мы с папой провели две недели под Москвой в доме отдыха «Суханово». Папе надо было закончить книгу «Потерянный и возвращенный мир», а мне отдохнуть после болезни. Дом отдыха располагался в старинном двухэтажном дворце с ампириными колоннами. От прежних времен сохранился зимний сад, библиотека, зал с инкрустированной мебелью. На второй этаж вела белая мраморная лестница. Дворец, конечно, перестроили, в нем сделали кинозал и комнаты для отдыхающих, но общая атмосфера старины сохранилась. На каждом шагу мы встречали старинные вещи: розовый мраморный лев сидел на столбике белых перил, стенные часы в деревянном футляре отбивали время, в библиотеке стояли старинные редкие издания. Хотя в комнате стоял письменный стол, папа почему-то не работал за ним, а уходил в холл и занимался за маленьким столиком красного дерева или в зимний сад, утопающий в зелени и похожий на беседку, увитую вьющимися растениями. Папа устраивался в мягком кресле, которое стояло под старой пальмой, раскладывал на столике карточки, на которых были выписаны цитаты из дневников Засецкого, сам писал на больших листах и скрепкой прикалывал к странице нужную карточку.

Я должна была участвовать в конференции, и мне очень не хотелось уезжать из Суханова. Простившись с папой, я уехала в Москву, но на следующий день махнула рукой на все и решила, что лучше я проведу эту неделю с папой. Когда я вошла в вестибюль и остановилась около розового льва, папа спускался по лестнице. Он очень мне обрадовался, будто не видел меня не день, а месяц: «Елонька! Вернулась! Вот здорово! — сбежал по лестнице и обнял меня. Нам было очень хорошо вдвоем, как в далекие времена моего детства: с папой всегда было легко и весело. Он сочинял шуточные стихи и записывал их без помарок на чем попало: на бумажных салфетках, на оборотной стороне билетов в кино. С другими отдыхающими мы встречались только в столовой, устроенной в круглом зале, на высоком потолке которого под самым куполом было нарисовано синее небо с облаками. За круглым в виде большой подковы столом, идущим вдоль всего зала, рядом с нами сидела пара: муж — высокий сухопарый старик и жена — важная дама в драгоценностях с крупной родинкой на носу. Мы здоровались с ними и обменивались несколькими вежливыми фразами. Папа заметил, что у нашего соседа оторвана мочка левого уха, вероятно, когда-то он перенес травму или операцию и с детской безжалостностью тут же за столом написал на бумажной салфетке:

«У Кутейкина пол-уха,
И грозна его старуха.
На носу у ней пупыр,
Сам же тощий как упыр» *

Папа с самым серьезным видом передал салфетку мне и ждал реакции. Мне было смешно, но больше всего я боялась, что он станет читать вслух. Но ничего страшного не произошло: папа обсуждал с соседями достоинства здешней кухни. Каждый раз потом, когда Кутейкины входили в столовую, папа начинал в полголоса читать свое произведение и затем как ни в чем не бывало раскланивался с ними. Папа сохранял полную серьезность, а я безуспешно боролась со смехом и производила, наверное, странное впечатление на окружающих.

После обеда папа ложился спать на час, потом продолжал заниматься. В занятиях он делал перерыв, и мы гуляли по аллеям из старых лип, спускались с горы и по узкой тропинке через занесенное глубоким снегом поле шли в лес.

Вечером мы ходили в кино. Мы посмотрели фильм Пыррева по роману Достоевского «Братья Карамазовы». Папе картина не понравилась: «Из Достоевского какой-то слоеный пирог сделали!» — возмущался он. Смотрели в третий, наверное, раз замечательную картину Бергмана «Земляничная поляна», которую мы очень любили, потом много говорили о ней. Мы видели старую картину «Грек Зорба», которая кончается тем, что человек, потерявший все свое состояние, смеется на берегу океана. Да, не плачет, а именно смеется! Мы много тогда говорили о кино: папа рассказывал мне о том, как его друг Сергей Михайлович Эйзенштейн работал над фильмами, какими средствами добивался максимальной выразительности, о том какими способами искусство воздействует на подсознание и о роли цвета в кино. В черно-белом фильме Эйзенштейна «Иван Грозный» в цвете снят только танец опричников; цвет, как и звук несет огромную смысловую нагрузку, и делает оргию опричников еще страшнее, объяснял папа...

Быстро пролетело время в Суханове. Папа закончил книгу, мы уложили вещи, посидели последний раз в зимнем саду, простились с розовым альбом и пошли по шоссе к автобусу. Автобус пришел немного раньше, и мы с чемоданами бежали к нему. Да, папа тогда мог еще бегать...

Самым близким другом нашей семьи была Мария Осиповна Кнебель — актриса, режиссер, педагог и писатель.

* Фамилия мной изменена.

С Мариной Осиповной и ее сестрой Еленой Осиповной мы познакомились на даче в сорок восьмом году и все эти годы виделись летом каждый день...

Мария Осиповна Кнебель родилась в 1898 году. Ее отец был крупным издателем. Книги по искусству, выпущенные издательством Кнебель, отличались не только высокими качеством репродукции, но и великолепными текстами. После окончания гимназии Мария Осиповна должна была поступить на математический факультет Университета. Во время подготовки к вступительным экзаменам она совершенно случайно попала на занятия в театральную студию Михаила Чехова. И это решило ее судьбу. Несмотря на слезы матери и протест отца: «Да что ты? В театр с твоей внешностью!», она стала актрисой. Она играла в Художественном театре в спектаклях Станиславского характерные запоминающиеся роли: Шарлотту в «Вишневом саду» Чехова, покровницу Карпукину в «Дядюшкином сне» Достоевского. Потом училась режиссуре у Станиславского и Немировича-Данченко и за свою жизнь поставила много замечательных спектаклей в Художественном театре, в Центральном Детском театре и в Театре Советской Армии.

Мария Осиповна хорошо знала и любила живопись. Когда-то в молодости она работала экскурсоводом в Третьяковской галерее. В ее московской квартире висели картины Бенуа, Рериха, Лансаре, собранные еще ее отцом, и работы современных художников и среди них большая картина Юрия Пименова: в дождливый день по улицам Москвы женщина ведет автобус. Пименов был близким другом Марии Осиповны, он оформлял многие ее постановки и сделал замечательные рисунки к книге Кнебель «Вся жизнь». Ему принадлежат и лучший карандашный портрет Марии Осиповны: на репетиции она стоит у рампы рядом со своим помощником. Мария Осиповна вся устремлена на сцену и излучает необыкновенную энергию, дышащую в постановку жизнь...

С Марией Осиповной папа познакомился на даче у режиссера Алексея Дмитриевича Попова. Мария Осиповна вспоминает о первой встрече в папой: «Ни Алексей Дмитриевич, ни я тогда ничего не знали об Александре Романовиче... Его внешность сразу располагает к нему. Молодое улыбающееся лицо, седая голова, через очки в модной золотой оправе глядели умные, веселые глаза. Он держал за руку очень красивую девочку лет десяти. Девочка тянула его за рукав, ей хотелось домой. А он звал Алексея Дмитриевича и меня к себе, чтобы показать замечательные георгины».

Через несколько дней мы пошли в гости к Кнебель...

Когда к Марии Осиповне приехал ее курс, выпускники режиссерского факультета, папа, зашедший к Кнебель на минутку, застрял

там и стал центром компании. Да и в нем самом было что-то актерское. Не только им импозантная внешность, обаяние, но и что-то в манерах. За столом он рассказывал много смешного и интересного не только по содержанию, но и по интонации. Мария Осиповна говорила, что в нем погиб великий актер. Его имитации были удивительны, численность аудитории для него не имела значения, какая разница — один зритель или двадцать. Он брал какой-нибудь отрывок прозы, который знал наизусть, и читал его. Сначала читал узбек, потом татарин, немец, грузин, француз, чуваш, англичанин и так без конца. У слушателей сводило скулы от смеха, лились слезы и уже не было больше сил смеяться. А он читал серьезно и невозмутимо...

Зимой в Москве Мария Осиповна приглашала нас на генеральную репетицию или премьеру. И мы отправлялись в театр. В переполненном зале театра, сидя в первых рядах партера, мы видели чудесное воплощение замыслов Марии Осиповны. Во многих ее постановках играл начинающий артист Олег Ефремов, к которому Мария Осиповна относилась с нежностью, а помощником режиссера был ее ученик Анатолий Эфрос. В конце спектакля спускался занавес, потом под шквал аплодисментов поднимался снова, на сцену выходили актеры, и потом под крики «Режиссера! Режиссера» очень скромно выходила Мария Осиповна, и артисты ей аплодировали. На сцене было особенно заметно, что она такая хрупкая и маленькая в простом черном платье с серой шалью на плечах. Зато Елена Осиповна выглядела королевой. Нарядная, в черном бархатном платье и горящих разноцветными огоньками старинных серьгах, она сидела недалеко от нас и в антрактах все подходила к ней с любовью и почтением.

Нам очень нравились постановки Марии Осиповны и папа всегда откладывал все срочные дела и шел с нами в театр по ее приглашению.

Из зарубежных поездок папа привозил альбомы репродукций. Кроме того, он часто получал их по почте. И каждый раз альбомы привозились в Свистуху. Папа с альбомом под мышкой шел к Кнебель. И они с Марией Осиповной долго листали альбом и обсуждали качество репродукций. Они оба хорошо знали живопись, но иногда их вкусы не совпадали. Если они оба любили Модильяни, Шагала, не говоря уж о французских импрессионистах, то отношение к позднему Пикассо и многим современным художникам у них было разное. Папа их не понимал, не признавал, иногда даже не скрывал возмущения их картинами, а Мария Осиповна, хотя и воспитанная на классической живописи, понимала и любила художников различных направлений. Она была всегда очень молодой и способной воспринять новое, необычное, выходящее за рамки устоявшихся представлений в

искусстве. Иногда, рассматривая репродукции, они даже ссорились, Мария Осиповна, раздраженная нежеланием папы что-то признать, захлопывала альбом и книга оставалась у нее до следующего дня...

В конце шестидесятых годов кто-то привез нам слайды картин из западных музеев. Летом папа брал с собой на дачу проектор и коллекцию слайдов и устраивал просмотр. Закрывались шторы в большой комнате, устанавливался проектор, а экраном служила побеленная стенка печки. Мария Осиповна вспоминала о таких вечерах-просмотрах: «...Он любил собирать на просмотр слайдов близких ему по духу соседей: старого зоолога Бориса Степановича Матвеева, философа Бонифатия Михайловича Кедрова, геологов Татьяну Георгиевну и Владимира Сергеевича Яблоковых. Закрывали ставни, Александр Романович устраивался так, чтобы у него под рукой были слайды и фонарь. Большинство слайдов многие их гостей уже знали, но Александр Романович так любил их, так радовался им, что хотелось, чтобы он показал их еще и еще раз. Были у него и другие комплекты слайдов. Один из них был посвящен искусству... Там был Босх, Брейгель и группа импрессионистов. Показывая, он комментировал. Знал он демонстрируемый материал прекрасно. К таким вечерам он готовился, привозил на дачу альбомы разных изданий, предлагал гостям проверить точность цвета на слайдах и на разных репродукциях. Для него были любимые игрушки, с которыми ему хотелось поиграть не в одиночестве...»

Марию Осиповну и папу роднила и любовь к архитектуре старых русских церквей. Как-то раз Мария Осиповна принесла нам большую старинную книгу в коричневом кожаном переплете с золотым теснением — «Русское искусство» под редакцией и с фотографиями Игоря Грабаря, изданную когда-то в издательстве Кнебель. Сидя за круглым столом, мы рассматривали замечательные фотографии старых церквей: Покрова на Нерли, Суздальских и Владимирских соборов и каменное кружево резной церкви в Юрьеве-Польском и меч-та-ли вместе по-пасть в эти места. К тому времени мои родители и я побывали на машине во многих старинных русских городах: в Новгороде, Пскове, Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле, Угличе, а Мария Осиповна весь свой отпуск проводила, не выезжая с дачи. Один раз мы отправились в поездку вместе с Кнебель. Мария Осиповна вспоминает о нашей поездке: «Лурья пригласили меня с собой в небольшое автомобильное путешествие. Мы рано утром выехали из Свистухи, проехали Ростов, Ярославль, Углич. Мы останавливались около всех церквей. Александр Романович был прекрасным экскурсоводом. Он знал историю каждой церкви, умел оценить, как она связывалась с окружающим пейзажем, обращал внимание своей жены и мое на характерные особенности постройки.

Любой примкнувший к нашей небольшой экскурсии, конечно, принимал Александра Романовича за искусствоведа. И, действительно, в области живописи и архитектуры он знал так много, что мог бы поспорить с любым специалистом. Он не только знал, но и чувствовал искусство, наслаждался его красотой, радовался красивому освещению, замечал малейшие изменения в движении облаков. Он был художником по натуре. Он умел радоваться каждому пустяку. Нетребовательность его казалась странной. Кусок хлеба в одной руке, свежий огурец в другой, таким я его помню на экскурсии. А потом ночевка в какой-то избе. Он стучал в любую и умел поговорить так, что его принимали как дорогого гостя. Я поехала с ними впервые, но для Александра Романовича путь уже был известным, и он стучал в разные двери не только по поводу ночлега. Кому-то он в прошлый приезд обещал консультацию в институте им. Бурденко, кого-то обещал сам посмотреть... Помню, как он заходил к какой-то старой учительнице, и она повела нас в школу. Летом занятий не было... Мы сидели на сдвинутых партах и учительница советовалась с Александром Романовичем по поводу методов преподавания».

Нет, конечно же, не только интерес к живописи и архитектуре объединял Марию Осиповну и папу, но любовь к людям, к жизни, интерес ко всему происходящему, живость и острота восприятия и благодарность судьбе за каждый прожитый на даче день, за каждую вечернюю прогулку по знакомой дороге вдоль канала.

Я часто приходила к Кнебель днем, а вечером в пять часов мы ждали родителей. И каждый раз об их приходе мы узнавали издали: за калиткой начинала бешено кудахтать курица «По-по-по-по. Кудах-тах-тах! Кудах-тах-тах!» Через минуту они поднимались на крыльцо. Мама садилась на ступеньку, а папа, поговорив немного, заходил в сени и мы слышали, как он гремит крышками — опять из леиного супа мясо вылавливает... А потом мы шли гулять, встречать пассажирские пароходы и баржи, плывущие по каналу, которые замедляли ход перед входом в шлюз. Складывая руки рупором, папа кричал «Откуда плывете?». Узнавал о погоде в Горьком и в Астрахани. Его мечтой было плыть на плоту. Мария Осиповна подсказывала папе вопросы. Маленькая, подвижная, в черных брюках с засученными отворотами, она была похожа на озорного мальчишку. Пароходы уходили, мы шли в тишине до деревянной лестницы, ведущей от канала вверх на насыпь, и садились отдыхать на ее ступеньках. Смотрели вокруг: на воду, небо и деревья, и разговаривали, а иногда вместе молчали. И настроение во время прогулок бывало разное. Иногда Мария Осиповна и папа были сдержанны и серьезны, иногда будто наперегонки смешные истории и смешили друг друга. Увидев пасущихся овец, папа начинал представлять многоголосое стадо: вот идут

бараны, козы, коровы и пастух с ними, и еще собака пастуха. Проходя мимо ограды, за которой в питомнике жили собаки, охранявшие шлюз, он с ними здоровался, начинал лаять или разыгрывал сцену встречи кошки с собакой, а настоящие собаки вторили ему и долго не могли успокоиться. Марии Осиповне и мне эти концерны нравились, а мама явно не получала удовольствия. Однажды во время такой прогулки у папы родилась идея написать совместно с Марией Осиповной статью психологического журнала. Сначала Мария Осиповна восприняла это как очередную папину шутку, а потом папа убедил ее, что говорит вполне серьезно. Они несколько раз проговаривали материал, потом каждый написал свою часть. Так появилась их общая статья «Пути и средства кодирования смысла», опубликованная в журнале «Вопросы психологии» в 1971 году.

Мария Осиповна была самым большим другом моих родителей. И не только в радости, но и в беде или обиде к ней шли советовать. И ведь не случайно, что в тяжелые времена в начале пятидесятых годов папа сказал Марии Осиповне, а не кому-то другому: «Если с нами что-то случится, Ленку к себе возьмите». И Мария Осиповна обещала...

Последние пятнадцать-двадцать лет своей жизни, кроме периодических литературных журналов, папа читал в основном детективные новеллы на английском языке (Агату Кристи, Флеминга и других авторов).

Теперь я понимаю, что у перегруженного работой папы не хватало сил на систематическое серьезное чтение. Отрываясь от письменного стола, он садился в кресло или ложился на тахту и, читая детектив, он просто отдыхал. «Новая Агата. Здорово закручено!», — говорил папа. Но безупречный литературный вкус, чувство языка и знание классической литературы он сохранил на всю жизнь.

У моих родителей были очень разные литературные вкусы. Мама зачитывалась Диккенсом, перечитывала много раз подряд свои любимые вещи: «Крошку Доритт», «Дэвида Копперфилда», «Холодный дом». Допоздна засиживалась за круглым столом внизу, читала, и слезы сползали по ее нежным щекам, и время от времени она проводила по лицу рукой. Мама была очень добрым человеком, и диккенсовские герои трогали ее своей человечностью и добротой, они были созвучны ей, близки ее сердцу.

Папа проявлял полное равнодушие к Диккенсу, читал его в детстве и никогда больше не возвращался к нему, он даже подсмеивался над мамой: «Опять наша мамка над Диккенсом белугой ревет!»

В одной из последних своих книг «Язык и сознание» для иллюстрации ассоциативного мышления папа приводит цитату из А.Н. Толстого. Он хорошо помнил содержание отрывка, но найти его в тек-

сте не хватало времени. Это сделала мама. Сидя за круглым столом, она перечитывала «Войну и мир», нашла нужную цитату, выписала ее и продолжала читать до конца. Наверное, была рада, что вернулась к произведению, которое любила. ««Войну и мир» надо перечитывать в течение жизни много раз, и в каждом возрасте Вы откроете для себя новое», — говорила Мария Осиповна Кнебель. Я думаю, что Мария Осиповна права, и что мама, читая «Войну и мир» в последний раз, нашла для себя что-то важное.

Папа любил Тургеневу, говорил, что у него самый лучший русский язык. Восхищался рассказами Бабеля, емким, осязаемым и смелым стилем его письма. Очень любил Флобера и часто рассказывал о том, как Флобер «оттачивал» свой текст, как переписывал и правил написанное много раз.

Иногда во время отдыха я видела в папиных руках все ту же серую книгу рассказов Бабеля, изданную в 1935 году. Некоторые фразы он прочитывал вслух, потом откладывал книгу и, приподнявшись на локте рассказывал мне историю жизни Бабеля.

И все же возвращения к классикам становились реже и реже. Забытыми стояли на полках книги авторов, которых папа когда-то очень любил: Платонов, Бунин, Флобер. Ушли из нашей жизни и стихи. Папа давно их уже не перечитывал. Но накопленное за жизнь хранилось в его памяти и вдруг, совершенно неожиданно для окружающих, оживало. Он помнил и японские трехстишия, и Цветаеву, и Хлебникова и отрывки из прозы Гоголя.

Изредка он читал и серьезные современные книги. Об одной из книг английского писателя Джона Фаула «Женщина французского лейтенанта» он отзывался с восторгом и говорил, что по языку и построению она близка к прозе Тургенева. С автором книги он переписывался. Сохранились два письма, которые папа получил от Фаула.

«Дорогой профессор Лурия,

Грехэм Грин, из Jonathan Cape в Лондоне, показал мне Ваше письмо относительно моей последней новеллы «Женщина французского лейтенанта», и я хотел поблагодарить Вас за Ваши очень добрые отзывы, а также сказать Вам, какое удовольствие доставила мне Ваша книга «Ум мнемониста». Моя собственная память настолько плоха, что я могу быть объектом для Вашего исследования на противоположную тему; но, несомненно, такие случаи Вам хорошо знакомы. Я должен признать, кроме того, что это свойство помогает писателю, в некотором смысле я могу легче концентрироваться на работе воображения.

Я надеюсь когда-нибудь быть опубликованным по-русски, а пока я буду получать удовольствие от Вашего согревающего сердца сравне-

ния меня с Мастером Тургеневым.

Я посылаю Вам мои лучшие пожелания.

Джон Фаулз,

5 августа 1969 года».

«Дорогой профессор Лурия,

Я пользуюсь случаем, связанным с визитом моего друга в Москву, чтобы послать Вам прилагаемое. Он еще один из Ваших английских почитателей.

Я наслаждаюсь «Человеком с расколотым миром» — такой замечательной человеческой историей, независимо от ее медицинского интереса — и жду в будущем следующую очаровательную историю

Искреннейшие наилучшие пожелания,

Джон Фаулз,

2 апреля, 1974 года»

На даче, во время прогулок и в путешествиях, или просто в солнечный воскресный день в Москве папа не расставался с фотоаппаратом. Сначала со старой «лейкой», служившей ему много лет, потом с «Киевом» и затем с «Сапоп», выписанным из Японии.

На прогулке, проходя в который раз по знакомой дороге, он с живым интересом смотрел вокруг, замечая новое, неповторимое: «Смотри, Ланушка, на елках серебряные паутинки! Осень скоро...», откидывал кожаный футляр, прицеливался, выбирая кадр, отходя дальше, приближаясь или садясь на корточки, и щелк! Снимок сделан, и еще один и еще другой.

Менялось освещение, пробивались лучи солнца и надо было поймать момент. И каждый раз папа хотел снять так, чтобы кадр был законченным, как картина.

Как-то он объяснял мне принцип «кадрировки» на примере репродукции картины Левитана «Над вечным покоем». Он заслонял широкой линейкой правую, левую стороны картины как бы срезая, суживая ее, прикладывал линейку сверху и снизу: «Видишь! В картине ничего лишнего. И каждый фрагмент совершенно необходим, без него нет законченного целого».

Фотографией папа занимался давно — с времен своего детства, с одиннадцати лет. Ему тогда купили фотоаппарат и нехитрые фотопринадлежности. Он не только снимал, но сам проявлял пластинки и печатал карточки. О фотографии он упоминает в своих детских дневниках.

Некоторые из фотографий он отпечатывал на специальной бумаге — на обратной стороне которой было место для адреса и письма. Одна такая почтовая карточка хранится среди старых фотографий и

писем у Лидии Романовны. Во дворе дома на Проломной на фоне лабазов сфотографирована молодая женщина с маленькой девочкой, стоящие возле холеной лошади. На обороте письмо Шуры Лурия к двоюродному брату Сале в Варшаву.

Другие фотографии наклеивались в альбомы. Один альбом с четко и красиво написанным на обложке названием «Люся Лурия» составлен в 1914-1915 годах. Красивая девочка снималась в нарядных платьицах и в маскарадном костюме. На одной фотографии она снята в кресле-качалке вместе со старшим братом.

Старые неразобранные фотографии, бессистемно сложенные в большой картонной коробке, можно рассматривать часами. Многие из них, сделанные в фотоателье, с витиеватыми тисненными надписями, наклеены на толстый картон, они хорошо сохранились, не пожелтели и кажется, что сделаны совсем недавно. На них молодые лица незнакомых мне людей. Вероятно, это кто-то из родственников или друзей семьи Лурия.

На фотографии остановилось мгновение, миг из чьей-то давно ушедшей жизни. К сожалению, мне сейчас не у кого узнать о людях на старых портретах...

От казанских времен сохранилась одна интересная любительская фотография, перед большим зеркалом на треножнике укреплен аппарат с раздвижной камерой-гармошкой, за ним высокий молодой человек с коротко стриженными волосами, а в дверях неясный силуэт невысокой женщины с палью на плечах. Вероятно, это Вера Николаевна — первая жена Александра Романовича. Она вошла в комнату, где Александр перед зеркалом снимал свой портрет, не попала в фокус, и лицо ее получилось размытым. Я не могу разглядеть ее черты.

К старому фотоаппарату «Лейка», которым папа снимал много лет, когда-то во время среднеазиатских экспедиций была сделана специальная г-образная приставка. Она прикреплялась к объективу и в кадр попадало не то, что спереди, а то, что за спиной фотографа. «В Средней Азии в те времена люди боялись фотографироваться. Существовало поверие, что злой человек может выколоть на портрете глаза, изуродовать лицо и тогда все это случится в действительности. Мы пошли на маленькую хитрость — заказали эту приставку — и кое-что нам удалось заснять», — объяснял папа.

К сожалению, среднеазиатских снимков у нас не сохранилось. Есть, правда, один, сделанный чьей-то неопытной рукой, и на нем можно разглядеть молодого папу на верблюде.

Все мое детство, Кисегач, жизнь на даче, наши путешествия папа заснял на черно-белую пленку. Возвращаясь из поездок, он проявлял пленку и устраивал на кухне маленькую фотолабораторию. Папа печатал фотографии, а я проявляла, и нам обоим было интересно

смотреть при слабом свете желтого фонаря, как на фотобумаге выступают черты пейзажа и силуэты.

Некоторые фотографии мы плохо промыли и на них выступили желтые пятна. Хорошие отпечатки папа наклеивал в альбом и делал к ним надписи.

Начиная с шестидесятых годов, папа перестал снимать на черно-белую пленку, снимал на цветную обратимую, которую отдавали проявлять в мастерскую, и делали слайды. Слайды он раскладывал по коробкам по своей системе. Здесь были и серия портретов, и натюрморты, и путешествия, и заграничные поездки, и дача в Свистухе, и окрестности, и очень много слайдов, снятых специальным увеличивающим объективом: капли дождя на вишнях, набухшие почки и раскрывающиеся первые листочки, мох, полевые цветы и стрекозы с огромными, будто фарфоровыми глазами. На даче папа жадно снимал все, не представляющее на первый взгляд никакого интереса: огурцы, грибы, выловленную в реке рыбу.

Мама отдавала пленки проявлять в фотолабораторию и, когда приносила их домой, папа отрывался от занятий, вырезал слайды и вставлял их в рамки. Он очень любил показывать слайды сотрудникам и друзьям.

Последние годы

В семьдесят первом году папу начало беспокоить сердце. Ему стало трудно быстро ходить и подниматься по лестнице. Несколько недель он лежал в клинике.

Была зима, и мы гуляли по тесному занесенному снегом больничному двору. Делая медленные круги и часто останавливаясь он говорил: «Мы песчинки, маленькие песчинки и жизнь — мгновение». Я первый раз видела его в таком подавленном состоянии. Врачи нашли у него расширение аорты, немую стенокардию: болей он не испытывал, но сердце не справлялось. Друзья из-за границы прислали ему новый препарат — эралдин и он принимал его постоянно. Папа чувствовал, что сил и времени у него осталось мало. Часто повторял, что люди приходят и уходят, их идеи и дела остаются.

Он лихорадочно работал, понимал, что надо спешить и сконцентрировать свои усилия на главном: «...Второе решение, которое я сделал, — это выйти из исполнительного комитета IUPS^{*}. К сожалению, (и совершенно неожиданно!) мне исполнилось семьдесят, и я едва могу надеяться на много лет активной работы. А я должен сделать многое: мой двухтомник «Нейропсихология памяти (том I — Общая теория и факты, том II — Клинические синдромы) уже готов и идет в печать. Я надеюсь, он будет опубликован по-русски и по-английски, это итог работы последних 7-8 лет. Я работаю сейчас над следующей книгой «Основные проблемы нейролингвистики», которая будет возвращением к проблемам афазии на новой основе и пересмотром многих вещей, сделанных за последний период. Около половины уже готово, но понадобится еще год, чтобы довести до кондиций. И затем — в проекте последняя книга, совместная с Женеи Хомской, которая явится новым анализом «лобных» синдромов. Если ты к этому добавишь книгу о Принципах Общей Психологии, которую мы должны сдать в печать вместе с Леонтьевым и которая готова на 2/3 (I-й том), ты сможешь представить, что я должен иметь время, чтобы сделать все это.

Отсюда следует только одно: исключить все, что не входит в этот план, и сконцентрироваться на его реализации...» (из письма Брунеру от 8 августа 1972 года).

^{*} International Union of Psychological Science — Международный Союз Психологической науки.

Александр Романович по-прежнему читает лекции в Университете: два раза в неделю по вечерам курс общей психологии, и один раз — спецкурс по нейропсихологии.

Каждый день с утра и до обеда он проводит в клинике: три — четыре раза в неделю — в институте нейрохирургии и один раз — в лаборатории по реабилитации в клинике нервных болезней первого мединститута. Врач-невропатолог А. Московичюте, которая работала вместе с ним в институте Бурденко, вспоминает: «С возрастом Александр Романович все больше и больше увлекался исследованием больных, и если раньше он приходил в клинику в десять часов, то потом стал приходить в половине десятого, затем в девять, а в последний год своей жизни — в половине девятого. Нетерпение сжигало его. Все исследование Александр Романович записывал на магнитофон, сюда же записывал после разбора больного свои комментарии, а потом ему с пленок перепечатывали.

Во время исследования он необычайно увлекался, розовел и к двум часам сидел уже совершенно красный. В это время звонила Лана Пименовна: «Леночка, ради бога выгоните его!» Но оторвать Александра Романовича от больного было невозможно. При этом, что любопытно: он умел увлечь и больного; больной перед ним необыкновенно раскрывался и очень часто, если был в состоянии, входил в такой же азарт... На разборы, которые вел Александр Романович, часто приходили иностранные ученые. Многие из них, приезжая в Москву на два-три дня, хотели один день провести у нас в лаборатории. Александр Романович делал разбор, переводил для них основное и щедро делился самыми последними своими идеями.

Александр Романович читал лекции для курсантов ЦИУ (Центральный институт усовершенствования врачей), где его слушали врачи и заведующие отделений клиник. Читал он очень артистично, изображая то, что объяснял, и кончал лекцию разбором больного, и всегда разбор этот был блистательным...

Вместе с Александром Романовичем работают ученики «третьего поколения»: Э. Симерницкая, Т. Ахутина, Н. Корсакова, В. Лебединский, Ж. Глозман, Э. Гольденберг, А. Московичюте. Я часто встречала их в доме моих родителей на улице Фрунзе или на даче в Свистухе. И не только папа, но и мама, относились к ним как к родным людям...

У папы был четкий распорядок дня. Днем он приезжал домой победить и немного отдохнуть: умел заснуть на полчаса и рабочий день продолжался. Спать, как всегда ложился рано, в десять часов, вставал в восемь утра. От работы он не отключался и ночью. Он говорил, что перед тем как заснуть он задает себе вопрос, а утром часто просыпается с готовым решением. Среди ночи он просыпался, шел на кухню, съедал бутерброд, говорил: «Иду сон досматривать», и сразу засыпал.

Врачи прописали папе диету, и мама варила ему постные супы из геркулеса, которые он безропотно съедал и говорил: «Спасибо Ланушка! Спасибо, миленький!» — убеждал себя и маму, что суп вкусный или, что еда не имеет для него никакого значения. Но время от времени забывал советы врачей и жарил потихоньку от мамы себе личицу с колбасой и луком и съедал ее со сковородки.

«Папа! Это же вредно!» — пыталась его остановить я.

«Вредно жить! А все остальное полезно, и вообще раньше смерти не помру», — отвечал папа, вымакивая сковородку хлебом.

Папина рабочая нагрузка нисколько не уменьшилась: утром и днем клиника, лекции, а вечером к нему домой приходили на консультацию дипломники, диссертанты, сотрудники. В своем кабинете он проводил семинар по памяти и его участников называл «мои памятники».

К папе приходили его бывшие ученики и он живо интересовался их работой: «Только что имел подробную беседу с бывшим нашим студентом Шестаковым, который теперь работает в Сибири в Институте Академии Медицинских наук, — писал он Майкау Коулу, — он три раза ездил в экспедиции на дальний Север и изучал народы, ведущие в тундре кочевой, охотничий образ жизни. Он идет по тому же пути, как и ты, продолжая наши прежние исследования. Материалы, которые он получил — замечательные! Он не только подтверждает то, что нашли мы, а затем и ты с сотрудниками, но описал некоторые особенности психологических процессов, самосознания и способа жизни в условиях далекого Севера. Старые исследования получили полное подтверждение. Очень нужно нам всем встретиться и подробно поговорить. Сообщи мне точнее, когда ты приезжаешь, и я вызову в Москву Шестакова и Пэтера Тульвисте, и мы устроим ряд продуктивных встреч. Это очень важно!» (из письма Коулу от 23 ноября 1975 года).

Папа по-прежнему находит время и для иностранных студентов: раз в месяц в общежитии университета на Ленинских горах, где жили иностранные аспиранты и стажеры он проводит так называемые «интерваторники».

«Интерваторники» всегда проходили в непринужденной обстановке, — вспоминает папина аспирантка из Аргентины Марта Шуаре, — мы собирались вокруг большого стола и пили чай с пирожными. Для нас делали доклады крупные психологи, которых приглашал Александр Романович, затем выступал кто-нибудь из нас — иностранных стажеров и аспирантов.

Мне довелось выступить на таком «интерваторнике» вскоре после приезда из Аргентины. Я должна была рассказать о состоянии психологической науки у меня на родине и о стране вообще. Понятно, что

доклад надо было делать на русском языке. Я готовила его со всем старанием, на какое только была способна, и никогда не забуду, с каким вниманием и интересом слушал меня Александр Романович. Надо сказать, что внимание и интерес вообще характеризовали его отношение к нам».

Папины отношения с учениками никогда не были формальными: он тепло, по-родственному относился к ним.

«28 или 29 декабря 1975 года, накануне Нового года, — вспоминает Марта Шуаре, — Александр Романович во время какого-то разговора неожиданно спросил меня, что я собираюсь делать вечером 31 декабря, где буду встречать Новый год? Немного удивленная, я, ответила, что проведу вечер с друзьями, с ними же встречу Новый год. На это Александр Романович сказал мне следующее:

— А мы будем встречать Новый год по узбекистанскому времени. Ты знаешь, конечно, что Советский Союз такая огромная страна, что разница во времени между отдельными республиками очень большая. И то, что я тебе сказал, совсем не шутка. Мы действительно будем встречать Новый год в семь или самое позднее в восемь часов вечера.

— Так что ты вполне могла бы прийти к нам, — продолжил разговор Александр Романович. — Встретишь с нами Новый год, а к десяти часам будешь уже свободна и как раз успеешь к друзьям. А в моем доме ты побудешь в семейной обстановке. Здесь, в Москве, ты так далеко от своего дома, от семьи, поэтому нам хочется пригласить тебя к нам — провести этот новогодний вечер в нашей семье. Ведь мы тебе здесь вроде как родители...»

Тот Новый год мы с Шуарой встречали у моих родителей. Когда мы приехали в доме уже были гости: папина аспирантка из Аргентины Марта Шуаре, стажер из Америки Мэри Смит и профессор Аmano из Японии с женой и маленькими девочками, пяти и шести лет. Мама испекла пирог, нарядила маленькую елочку, папа оживленно что-то рассказывал и все чувствовали себя легко и празднично. Мэри Смит спела рождественскую песню и подарила папе и маме сувениры. Папа достал из бюро мантии, шпагу и цилиндр, свои почетные регалии, и девочки играли и примеряли их. Папа никогда не относился серьезно к своим наградам, считал, что получил их незаслуженно, редко показывал их, а если когда-то вынимал из ящика бюро, то надевал цилиндр, делал выпад шпагой и смеялся... Потом мы сидели при свечах, а девочки играли на маленьких скрипках.

Наши с папой прогулки становились все реже. Папа был слишком занят, я много работала и жила на другом конце Москвы. И все же иногда, когда я приходила на Фрунзе, мы отправлялись, как и много лет назад, путешествовать по улицам и переулкам моего

детства, шли куда глаза глядят, без определенных планов. Как-то вечером мы проходили по улице Герцена мимо консерватории, и папа предложил пойти послушать музыку. У входа в ожидании лишних билетов толпились люди.

— Ну, вот мы и не попали, — расстроилась я, — когда еще сюда выберемся.

— Подожди, Ела, что-нибудь придумаем, — мы немного постояли у входа и вошли в фойе.

— Пошли, Ела, — папа уверенно и спокойно направился к билетеру и сказал, указывая на меня: «Это со мной. Пропустите, пожалуйста».

Мы прошли в служебный гардероб, где раздевались музыканты, и старушка-гардеробщица почтительно взяла папину пальто, приняв его, вероятно, за профессора консерватории. Мы вошли в зал за несколько минут до начала концерта и сели на два незанятых кресла во втором ряду партера.

Но папа не любил музыку и никогда не слушал больше одного отделения. В середине шестидесятых годов, когда у него появился магнитофон, он ходил в концерты записывать музыку и перед каждой вещью шепотом объявляла по программе название. Магнитофон для него стал просто новой игрушкой, но потом это увлечение прошло. Музыкального слуха у него не было. После первого отделения мы ушли домой, довольные нашим приключением...

В серый зимний день мы с папой гуляли в Александровском саду. Разговор зашел о японских трехстишиях. Мы начали вспоминать их, а потом стали складывать сами, и, когда хорошо получалось, мы оба радостно смеялись. В трехстишиях говорилось о том, что мы видели вокруг: о темных тонких ветвях деревьев, о снеге, о старинных белокаменных соборах, о Кремле. А последнюю фразу, которая всегда была одной и той же:

«Как коротка жизнь!»

папа произносил громко и даже радостно, будто смеясь над неизбежностью смерти.

Да, смерти он не боялся. Нет ничего проще, чем умереть, как-то сказал мне папа, смерть это просто возвращение к тому, что было до рождения, а жизнь это промежуток — крошечный отрезок времени. А ведь он, как мало кто, любил жизнь и обладал талантом радоваться жизни: до последних дней фотографировал деревья, цветы, травы, ловил удачное освещение. Радовался, когда я уходила в дальний лес за земляничкой, ждал моего возвращения и расспрашивал: «Ну как в лесу, Ела? Расскажи, в каких местах была!..» Папа последние годы гулял только по ровной дороге вдоль канала. Ему стало трудно носить

тяжелые объективы к «Сапоп'у», и мама на прогулках несла их, перекинув ремни через плечо. Однажды летом вечером на даче, гуляя по шоссе, папа снял свою и мамину тень, лежащую на сером асфальте. Этот «теневого портрет» родителей один из лучших кадров, на котором они сняты вместе в последние годы.

Лето семьдесят шестого года он жил на даче не у себя наверху, а в зимней комнате первого этажа, там же и работал за письменным столом, чтобы не подниматься по несколько раз в день по лестнице. Но он никогда не жаловался, не любил говорить о своей болезни. Один раз через открытую дверь я увидела, что папа стоит перед большим зеркалом, грозит себе кулаком и говорит: «Уу, старый дурак!» Удивленная, я вошла в комнату: «Что с тобой, папа?»

«Старый я стал, — ответил он, неодобрительно рассматривая свое отражение, — совсем недавно, несколько лет назад бегал по лестнице и чувствовал себя молодым». Это единственный разговор о старости, который я помню.

Папа никогда не был религиозен. В доме Романа Альбертовича не придерживались никаких религиозных традиций, дед был неверующим, бабушка в казанские времена изредка заходила в синагогу, а в Москве и вовсе перестала. К смерти папа относился спокойно, как к естественному ходу вещей, а не как к трагедии. Он начал разбирать и систематизировать свой архив и привел его в идеальный порядок. Как-то раз он сказал мне, что ему хотелось бы, чтобы после его смерти в квартире на Фрунзе организовали музей истории психологии, которому он оставил бы свой архив, библиотеку и обстановку квартиры.

В семьдесят пятом году папа решил написать свою научную автобиографию. Он задумал сделать ее в том же ключе «романтической науки», как книги о мнемонисте Шерешевском и раненом Засецком: «Мне очень хотелось бы написать третью книгу такого рода или даже небольшую серию таких книг. Я мог бы описать человека с полной потерей памяти и с изменением личности в результате этой потери. Или я мог бы написать о больном с поражением лобных долей мозга, что вызвало полный распад его способности формулировать цели и планы. До сих пор подобные попытки чаще делались писателями, например русским писателем Александром Грином, написавшим «Потерянный и возвращенный ад» — короткий рассказ о человеке с ранением лобных долей. Но это лишь «воображаемый портрет».

Работать над такого рода книгой очень трудно. Нужно найти человека с исключительными качествами — с чрезмерным развитием какой-то черты или нарушением какой-то первичной функции, что вызвало бы полное изменение личности. Затем надо затратить деся-

тилетия на изучение этой «невыводимой истории», выделяя основные факторы и шаг за шагом воссоздавая синдром в целом. К несчастью, я уже не имею такой возможности.

Единственная оставшаяся для меня возможность — это обратиться к самому себе и описать «жизнь советского психолога в ретроспективе» (этапы пройденного пути). В этой книге нет героя с исключительными способностями, нет ни специфической одаренности, ни трагедии. Но есть атмосфера реальной жизни, начавшейся в такое исключительное время, вместе с началом революции. Есть период первых исканий, встреча с гением, под влиянием которого я находился, и есть история моих дел, которые я смог совершить в течение довольно долгой жизни.

Люди приходят и уходят, но творческие источники великих исторических событий, идеи и дела остаются. Может быть это — единственное оправдание моего желания написать эту книгу.

Он писал книгу на английском языке и решил дать ей название «Последняя книга» или «Глядя в прошлое».

В начале семьдесят шестого года книга была написана. Двадцать шестого мая он пишет о ней Брунеру из санатория «Узкое», где выздоравливал после болезни:

«Мой дорогой Джери,

Возможно, ты уже знаешь, что 29 марта я перенес тяжелый сердечный приступ, возможно связанный с микроинфарктом или коронарной ишемией (кто знает? Ты знаешь, что медицина отнюдь не точная наука!). Целый месяц я пролежал в постели и после этого переехал с Ланой в дом отдыха Академии наук (бывшее имение Трубецких) и медленно выздоравливаю.

Вряд ли я буду иметь такую же работоспособность, как раньше, но я надеюсь, что буду способен работать еще какое-то время — возможно имея 30% моего прежнего рабочего времени. В течение месяца моей болезни я перепечатал мою английскую рукопись новой книги, о которой я тебе писал, «Глядя в прошлое», с субтитлом «автобиографическая новелла», где я свел воедино всю мою жизнь в науке от первых лет до конца. Она написана в свободном стиле, и теперь, когда мой английский проверен и отредактирован женой моего друга Джима Вертча, — книга готова. Я пошлю тебе рукопись, как только она будет снова перепечатана, и я буду рад иметь предисловие написанное тобой...»

Папа послал рукопись Брунеру и получил от него письмо:

«Дорогой Александр Романович,

Я также хочу сказать тебе, что я в середине твоей автобиографии, которая не только очень интригует интеллектуально, но также очень трогает, как человеческий документ. Ты дал так много, Александр Романович, что все мы чувствуем себя богаче от этого.

С большой любовью

Твой Дж. Брунер».

Майкл и Шейла Коул отредактировали текст и книгу издал в 1979 г. папин друг Артур Розенталь, который дал ей новое название «The Making of Mind», но папа не дождался этого. Книга была переведена на русский язык и опубликована в издательстве Московского Университета в 1982 году под названием «Этапы пройденного пути». (Научная автобиография). Позже она вышла еще на нескольких языках.

Когда я перечитываю книгу меня поражает, как много мог сделать в жизни один человек. Сам папа никогда не думал, что многое успеет и он даже не считал себя способным и говорил, что добился всего только благодаря своей огромной работоспособности. «Сижу брюки протираю». Его научная автобиография интересна для понимания развития идей и того, как одна область его исследования связана с другой. Но, к сожалению, в ней нет никаких сведений о жизни автора и это делает ее несколько отвлеченной.

Несмотря на ухудшающееся здоровье папа продолжает напряженно работать: «Мы оба — Лана и я — так себе, первый год мы чувствуем себя уже старыми, хотя я еще работаю: исследую больных, читаю лекции и работаю над книгами. Я провел апрель в совместной работе с Майклом Коулом над моей книгой «Глядя в прошлое», и май, выверяя мою книгу «Высшие корковые функции», которая появится в новой редакции в Basic Books» (из письма Брунеру от 26 мая 1977 года).

В конце мая семьдесят седьмого года (за полтора месяца до смерти) в письме Зангвиллу папа подводит итоги сделанного за последние годы: «... мое здоровье ухудшается, сердце не в слишком хорошем состоянии, но в то же время я полностью сохранил мою способность работать, — моя ходьба ограничена и работать я могу теперь только ограниченное время. Я понимаю, что это не только болезнь, но и мой возраст, — я стараюсь использовать время, которое осталось, так хорошо, как это возможно.

За последний год появилось несколько моих книг:

— «Основные проблемы нейролингвистики» — Mouton.

— «Нейропсихология памяти» — V. Winston.

— «Историческое развитие познавательных процессов» (мой экспедиционный том) — Harvard.

Если Вы не получили первое для Вашей лаборатории, пожалуйста, скажите мне и я попрошу издателя послать Вам копию.

Несколько новых книг в настоящее время в печати:

— Нейропсихологические исследования афазии (Swetz & Zeifflinger, Голландия)

— «Man's Concious Action» (сборник всех моих работ, которые мне кажутся значительными) — Plenum Press.

— «Глядя в прошлое» (научная автобиография — отчет о моей жизни в науке в ретроспективе. Михаэл Коул работает над ее редактированием).

— «Lectures on Language and Brain» (16 лекций по основным проблемам слова, фразы, коммуникации — с психологических позиций) — книга будет послана в V. Winston для публикации в течение нескольких месяцев.

И — наконец, но не в последнюю очередь — «Высшие корковые функции человека» будут опубликованы в несколько пересмотренной версии в Basic Books и Plenum.

Это все. Мне кажется, что наиболее важное из того, что мы сделали, следующее:

— некоторый подход к структуре памяти,

— появилась некоторая новая ветвь — «нейролингвистика»,

— были найдены некоторые новые подходы к взаимоотношениям двух полушарий (и скоро будут опубликованы моим соавтором Симерницкой)...

К сожалению, мое здоровье не разрешает мне путешествовать, и поэтому я очень сомневаюсь, что смогу увидаться с Вами, если только Вы не приедете сюда. Я отказался от многих приглашений, и среди них — поехать в Упсала, где в связи с 500-летием Университета мне присуждена степень доктора (это шестая докторская степень, которую я получил за границей!).

В начале июля семьдесят седьмого года, когда мы собирались переезжать на дачу, заболела мама. Ее положили в клинику и прооперировали. Во время операции мы с папой долго сидели в холле хирургического отделения. Потом вышла медсестра и попросила зайти в палату, чтобы помочь что-то перенести. Оказалось, что делать ничего не надо. В комнате у окна стоял хирург, он попросил меня сесть и сказал, что у мамы рак с метастазами. Мы скрыли диагноз от папы. Через несколько дней папе исполнилось семьдесят пять лет; ученики и друзья принесли ему много цветов и он отвез их маме в больницу. Он каждый день навещал маму и как-то раз, когда его попросили

подождать в кабинете врача, он увидел на столе мамину историю болезни и все узнал.

Когда маму уже выписали из клиники, мы с папой вечером вышли немного погулять. Папа шел медленно и тяжело. Это была наша последняя прогулка. Я запомнила его слова: «Мой тебе завет: никогда не бросай писать и береги дачу... Оставляю тебя в надежных руках». Вскоре папа и мама уехали в санаторий Узкое. Там четырнадцатого августа в семь часов вечера папа умер у телефона от остановки сердца. На его письменном столе осталась незаконченная статья «Парадоксы памяти (нейропсихологический этюд)», которую он писал в этот день.

Мама пережила его на пять месяцев. Все это время, несмотря на тяжелые страдания, мама разбирала папин архив, заказывала его фотографии, окантовала их и раздавала папиным сотрудникам и ученикам. Ее главной заботой стала организация мемориального кабинета в Университете и она подарила Университету папину научную библиотеку...

Мы с Шурой перевезли в нашу квартиру папин архив и мебель с улицы Фрунзе. Нам захотелось в общих чертах воссоздать обстановку, в которой жили мои родители. Черно-красное сюзане, верный спутник нашей семьи, раскинулось на всю стену. Шкаф, в котором при папиной жизни две полки занимали написанные им книги, заполнен изданными за эти годы на разных языках его книгами. Теперь за круглым столом, вокруг которого начиная с конца пятидесятых годов мама принимала папиных друзей и коллег, приезжавших из разных концов света, по вечерам иногда занимаются студенты-психологи из Московского университета. Пока их только четверо. Я вынимаю из шкафов, где хранится архив, рукописи двух неопубликованных монографий, которые написал папа в начале двадцатых годов, папину переписку с иностранными психологами и голубую папку из бумаги с заглавием «Эйзенштейн», написанным папиной рукой. Студенты разбирают материал, делают выписки, готовят доклады и публикации... Но это лишь первые робкие шаги. Конечно, к нам приходят и другие посетители — отечественные и иностранные психологи, которые хотят поработать в архиве.

Как я писала эту книгу

Со студенческой скамьи я работаю в лаборатории моего мужа — Александра Фриденштейна, и мы, возможно, приоткрыли новую страницу в клеточной биологии. По многу часов, как когда-то моя мама, я сижу в боксе и ставлю тканевые и клеточные культуры. Сейчас работать с культурами легче, чем в мамини времена: выпускаются различные питательные среды, посуда для культур и оборудование; антибиотики широкого спектра защищают клетки от инфекций. Наши работы связаны с изучением костеобразования и кроветворения в культурах, и нам посчастливилось получить оригинальные результаты, касающиеся клеточных механизмов обновления кости.

У меня около ста статей и две монографии, одна из которых издана в США. Я написала маленькую научно-популярную книжку «Узоры на стекле», посвященную тканевым культурам и исследованиям в нашей лаборатории. В ней, по-моему, удалось описать романтику научного поиска и повседневной лабораторной работы. К этой маленькой книжке я испытываю нежное чувство и она принесла мне большую радость, чем мои научные публикации. Мне хочется написать продолжение «Узоров на стекле», включить новые главы. Но это пока мечты: все мое свободное время занято работой над папиным архивом, подбором материала для книги о нем, перепиской с его друзьями, встречами с его сотрудниками и учениками. Я получила много замечательных писем с разных концов света, в них с большой теплотой рассказывается о встречах с папой. Я глубоко признательна всем, кто откликнулся на мою просьбу и прислал ксерокопии папиных писем и свои воспоминания. В книге мне удалось процитировать лишь малую часть из собранных мною писем; я думаю, что эти уникальные материалы, пополнившие архив Лурия, когда-нибудь будут изучаться и публиковаться специалистами.

Когда я начала писать эту книгу, я очень смутно представляла себе суть папиных работ и кроме его двух популярных книг о мнемонисте Шерешевском и раненом Засецком я ничего не читала. К сожалению, при папиной жизни я не интересовалась его работой и никогда о ней его не спрашивала. Он же напротив интересовался, чем занимаюсь я и помогал мне в работе: привозил из своих поездок за границу необходимые реактивы, в которых мы очень нуждались. Я никогда не ходила на его лекции и доклады. Как-то в детстве (точно не помню было ли это в Кисегаче или уже в Москве в институте

Бурденко) я случайно зашла в большую аудиторию, заполненную людьми, и пошла вперед вдоль широкого прохода между рядами. На сцене стоял папа и о чем-то громко и четко рассказывал. Он увидел меня, сбился и, как испорченная пластинка, стал повторять одну и ту же фразу. Меня подхватили на руки и унесли. Другой раз где-то в пятидесятых или шестидесятых годах я слышала его выступление на вечере памяти Сергея Михайловича Эйзенштейна, который проходил в огромном зале кинотеатра «Коллизей». Сцену освещали мощные лампы-юпитера. Во время папиного выступления с сильным грохотом разорвалась лампа, но он, не вздрогнув, продолжал говорить. Третий раз я его слышала на защите докторской диссертации Марии Осиповны Кнебель. Он говорил что-то о роли слова в творчестве актера и закончил свое выступление совершенно неожиданно, рассказав, как Мария Осиповна за маленьким столиком в саду писала диссертацию, и в конце добавил: «А с библиографическими карточками Марию Осиповну научила работать наша Лена», чем очень смутил меня. Говорил он плавно, без единой заминки, и спотыкания, ярко и логично, держался свободно, и по-моему, получал удовольствие от выступлений...

Я часто слушаю магнитофонные записи его докладов по афазии семидесятых годов, последняя запись сделана за полтора года до папиной смерти. Эти пленки для меня бесценны: я слышу дорогой мне голос и по его интонациям до боли четко вспоминаю папину мимику и движения. Мне кажется, что я сижу в аудитории и слушаю папин рассказ о его работе и мне — не специалисту, этот рассказ понятен: он умеет увлечь слушателя и провести его по красивой дорожке в удивительную страну работающего мозга. Папин голос молодеет во время доклада. Рассказывая о фонематическом слухе, о значащих фонемах для разных языков, папа приводит примеры из немецкого, французского, грузинского, вьетнамского языков, рассказывая о разных типах афазии, он вспоминает яркие, запоминающиеся случаи. Делая доклад, он очень увлекается, входит в азарт, и по голосу чувствуется, что проблемы, которые он исследует — самые главные в его жизни.

За эти годы я прочитала ряд папиных книг и составила себе представление о его работе. Работая над книгой о папе, я не ставила перед собой непосильную задачу изложить в популярной форме суть его работ разных периодов. Я решила пойти по другому пути и использовать сохранившиеся пленки его лекций, в которых он рассказывал об истории советской психологии, а следовательно, и о своем научном пути, и о Льве Семеновиче Выготском, и запись папиного рассказа о нейропсихологии, который сделал журналист Кара Левитин. Мне хотелось в самых общих чертах дать читателю представление о папиной работе, но я не знаю, удалось ли мне это. Свою научную автобиографию папа успел написать сам: в ней заинтересован-

ный читатель найдет подробное описание всех этапов пройденного им научного пути и увидит, как развивались его идеи и методические подходы. Моя задача рассказать о семье, друзьях, об обстановке, в которой он жил и работал. Мне хотелось собрать вместе зарисовки для его портрета: это прежде всего его собственные дневники и письма, воспоминания друзей и учеников и мои воспоминания. По этим зарисовкам, которые я сохранила для истории, настоящий художник когда-нибудь напишет хороший портрет.

А пока что я много узнала о папиной жизни. Я часто перебираю старые фотографии и перечитываю сказки и эссе, которые в начале двадцатых годов он писал для Верочки Благовидовой. И особенно это, мое любимое, написанное при свете керосиновой лампы:

«...Я пишу и написанное сушу над лампой.

Вечер мутен и облака, сгрудившись, закрывают солнцу дорогу к закату.

Чернила сохнут, оставляя блески темной краски, бумага коробится, из лампы вылетают язычки пламени и лижут синий лист.

Я пишу и написанное сушу на лампе.

Я давно не писал сказок, про рыцарей и дам, про серых заек с розовыми носиками, про маленьких детей и про голодных собак в дождливую ночь.

Я давно не был в маленьких комнатах старого замка с голубым светом и темными углами, давно не сушил написанного на узких языках пламени старинной лампы.

Жизнь мелькает вереницей скучных дней.

Я давно не писал сказок.

Оглядываюсь — и мне страшно.

Жизнь без сказок — глупая шутка.

14. VII. 1923.

Темным и холодным вечером я иду по улице Фрунзе мимо дома, где прошли мое детство и юность, и где родители прожили сорок три года. Да, наша квартира была в сером шестизэтажном доме во дворе, на втором этаже. Недавно всех жильцов выселили, дом перестраивают, в нем будет учреждение. Я не могу пройти мимо арки, ведущей во двор, мне хочется увидеть еще раз, пока не сломали, наш подъезд, лестницу и попытаться войти в квартиру. Во дворе строительный мусор: битый кирпич, доски, штукатурка, а лестница со стершимися

ступеньками и площадка из узорчатой плитки все те же. И литая решетка перил, и массивная дубовая дверь нашей квартиры...

«А, Ела! Здравствуй. Как хорошо, что пришла, — папа целует меня. Он одет в свой обычный домашний костюм — серую фланелевую рубашку и старые брюки, — Мама с работы пришла и с книжкой легла, а я занимался. Ланушка! Вставай! Ленка пришла».

Мы входим в кухню. Старушка Оля еще не спит. Она опять занята своим любимым делом — штопкой. Сидит на широкой покато крышке холодного стола у окна. Зажала настенную яркую лампочку без абажура. Ноги в допотопных мягких чоботах поставила на табуретку. Конечно, в квартире холодно, и она мерзнет. Она мне вяло: «Милуша пришла», но почему-то не встает и продолжает работу.

«Папа, что с Олей? Вы что, поссорились?»

«Да нет, ничего особенного», — виновато улыбается папа. Он наливает в чайник воды и ставит его на плиту. Факт, что у них что-то произошло.

Входит мама в синем стеганном халатике, под которым поддета белая кофточка с нарядными оборками, ее короткие темные волосы аккуратно причесаны.

«А, Лютик пришел, — целует меня, и я чувствую прикосновение ее нежной душистой щеки, — Сейчас мы будем Леночку кормить». И ставит на стол разные баночки. А на стене над круглым столом, покрытым красивой клеенкой, висят красивые вещи: кукла в рамке, цветы, кем-то сделанные из лоскутков, и три узорных пряника. Один огромный и два маленьких. Их папа из Польши привез, и мама повесила на стенку и даже проволочку вставила, чтобы не развалились.

«Ну, как ты, Лютик?»

«Устала, мама. Выпью чаю, согреюсь и все пройдет. Мам, Оляша обиделась что-ли?»

«Да опять папины шутки. Да она сама тебе расскажет».

Мы пьем чай с вареньем из райских яблочек с яблони, которая растет у нас на даче возле большой террасы.

«Ну что, Ела! Принесла нам новую сказку?» — спрашивает папа.

«Нет, папа, я не пишу больше сказок. И вообще давно ничего не пишу. И не знаю, буду ли когда-нибудь снова писать».

«Брось мерихлюндию, Ленка. Обязательно будешь. Способность писать никуда не уходит. Все вернется. Попьем чай и пойдем ко мне, и будем читать твои старые, можно «Японскую шкатулку» или «Васильковую реку» или «Муру-Марию». Я даже не знаю, какая из них мне больше нравится. Ладно, ты не торопись, допивай, а потом будем читать, а я пока письма допишу. Сегодня надо ответить на пять писем. И я не могу отложить на завтра, потому, что завтра другие дела и новые письма придут».

«А мне, Лютик, надо по делу позвонить», — мама тоже уходит.

Теперь Олюша мне все расскажет. Оля, кряхтя, слезает со своего наместа, с трудом разминается: «Старость не радость. Ох, ноженьки! — подсаживается к столу, — Слава богу, ушли», — и начинает свой рассказ.

«Александр Романович сегодня с лекции пришел и говорит: «Оля! Пойдите на Арбат, там в цветочном луковичы гладиолусов продают. Очень хороший сорт «Обезьяний зад». Пойдите купите.» Ну я и пошла. Прихожу, а у них полно всяких луковиц в коробочках лежат. Я очереди дождалась и говорю: «Дайте мне десять луковиц гладиолуса «Обезьяний зад» и покрупней, пожалуйста». А девчонка продавщица смеется и спрашивает: «Каких-каких, бабуся?» Я ей: «Обезьяний зад!» Тут шум поднялся, вся очередь хохочет. А продавщица мне: «Ты что-то путаешь, бабушка». Я ей: «Меня за ними профессор послал». Она: «Какой еще профессор?» «Профессор Лурия», — говорю.

Вот я, дура старая, так в магазин сходила. Да какой же он профессор? Просто срам! Вот дедушка твой Роман Альбертович, тот настоящий профессор был. Тот больных лечил, а этот невесть чем занимается. В институте психологии знаю чем занимаются: задами в коридоре стенку подпирают и анекдоты рассказывают. Помнишь, ты маленькая была и мы с тобой все туда ходили. Он меня с бумагами посылал. Да, хорошее было времечко. Ты маленькая, родители твои молодые, да и я не была еще старуха. А теперь все сравнялись».

«Плюнь! Не обижайся, Оля. Пора бы и привыкнуть за шестьдесят лет».

А папа у себя в кабинете что-то строчит за столом под торшером с большим желтым абажуром. Он почему-то не любит свой большой письменный стол. На нем груды книг и бумаг лежат, а пишет за этим столом, возле дивана.

«Сейчас, Ела, подожди. Письмо допишу». Перед ним уже два заклеенных конверта: в Англию и в Чехословакию. И марки на них очень красивые. Папа любит интересные марки: и сам покупает, и других за марками посылает. И адреса на конвертах тоже красиво написаны: мелким и разборчивым почерком. И конверты красивые на заказ сделаны. Папка наш отапливатель, часто говорит мама, он все делает красиво и аккуратно.

Потом мы с папой идем в столовую, там же папина тахта, над которой висит огромное черно-красное сюзание, которое он привез в 1932 году из Средней Азии. И старинная этажерка с альбомами репродукций, которые папа иногда смотрит перед сном.

Папа ложится, накрывает ноги полосатым домотканым пледом и читает вслух мою старую сказку «Васильковая река».

«Доченька, когда ты сказки начала писать, ты мне стала еще ближе, еще родней. И как тебе все это в голову приходит, откуда берется?»

«Не знаю, папа. Сейчас у меня в голове ничего нет. Все как-то серо, папа».

«Ты не так живешь, Ела! Все сидишь в своем боксе на работе и нигде не бываешь, никуда не едешь. А ведь что может быть лучше путешествий. И в театр обязательно надо ходить. Жизнь ведь так быстро проходит! И сколько тебе осталось хороших лет: десять-пятнадцать. И в кино надо ходить и на выставки».

«Но ведь и ты нигде не бываешь, папа. И работаешь наизнос».

«Я — другое дело. Мне мало осталось и я многое должен успеть закончить. Ведь люди приходят и уходят, а их идеи и дела остаются».

Знаешь, папа, я о многом хотела тебя расспросить: о твоей молодости, о среднеазиатской экспедиции и о ее разгроме, и о том, как ты смог выстоять, как нашел силы работать в новом направлении. Я уже давно взрослая и хочу все знать».

«В другой раз, Елка. Я устал, а завтра мне с утра в институт идти. У меня сейчас очень интересный больной. Так что иди домой, доченька, и приходи к нам почаще».

Мама у себя, читает рукопись и делает заметки карандашом на полях.

«Лютик, возьми с собой ветчину и курицу».

А Олюша уже легла спать.

«Спокойной ночи, мама...»

Я медленно спускаюсь по лестнице и выхожу в темный, заваленный строительным мусором двор. Наверное, больше я никогда не вернусь сюда: скоро от дома останется одна коробка с пустыми окнами...

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	3
Глава 1	
Детство в родительском доме	5
Глава 2	
Студенческие годы в Казанском университете. Казанское психологическое общество	16
Глава 3	
Переезд в Москву. Работа в Институте психологии. «Природа человеческого конфликта»	26
Глава 4	
Дружба и работа с Выготским. Первые поездки на Запад	39
Глава 5	
«Фергана, милая Фергана ...»: экспедиции в Среднюю Азию; разгром школы Выготского.	57
Глава 6	
Женитьба моих родителей. Письма жене из Харькова	78
Глава 7	
Начало занятий нейропсихологией. Я становлюсь морской свинкой	89
Глава 8	
Работа А.Р.Лурия в военном госпитале на Урале.	100
Глава 9	
Возвращение в послевоенную Москву. Дружба с С.М. Эйзенштейном. Летние поездки с папой	116

Глава 10	
Моя мама и отношения в семье	134
Глава 11	
Разгром советской медико-биологической науки в конце 40-х — начале 50-х годов	142
Глава 12	
Смерть Сталина. Оттепель. Нормализация обстановки в науке.	148
Глава 13	
Восстановление контактов с западными учеными. Международное признание работ А.Р. Лурия	170
Глава 14	
«Ум мнемониста». «Человек с расколотым миром». Литературные и художественные вкусы папы	189
Глава 15	
Последние годы	204
Глава 16	
Как я писала эту книгу	214

Е. А. Лурия
Мой отец Роман Яковлевич Лурия

Издательство «Гнозис»
119847, Москва, Zubовский бульвар, 17
тел. 246-5632, факс 230-2403
Реализация: магазин «Эйдос»
тел. 201-2608

Формат 60х90 /16. Бумага офсетная N 1,
печать офсетная. Тираж 5000 экз.
Заказ N 39

Отпечатано с готовых диапозитивов
АООТ «Астра-семь»
121019, Москва, Аксаков пер., 13

**Издательство «Гнозис» предлагает оставлять
предварительные заказы
на следующие книги издательства
в магазине «Эйдос»:**

1 месяц:

- Евангелие от Матфея (тетраглосса), Переплет, 320 стр.
- М.Ю.Лотман и тартуско-московская школа, Переплет,
серия ЯСК, 560 стр.
- В.М. Живов, Святость. Краткий словарь агиографических
терминов, 112 стр.

2-3 месяца:

- Л.Витгенштейн - «Избранные работы», Переплет,
серия PHS, 540 стр.
- А.Эткинд - «Эрос невозможного», Переплет, 376 стр.,
- Тейар де Шарден - «Божественная среда», 220 стр.,
- Е.А.Лурия - «Мой отец А.Р.Лурия», 232 стр.
- О.А.Седакова - «Стихи», Переплет, 360 стр.
- С.С.Неретина - «Слово и текст в средневековой культуре»,
т. 1 - «Концептуализм Абеляра», 220 стр.,
т. 2 - «История: Миф, Время, Загадка», 220 стр.
- «Раби Шимон» - Фрагменты из трактата «ЗОГАР»,
пер. М.А. Кравцова, 380 стр., Переплет
- А.А.Милн - «Winnie-Пух и философия обыденного языка»,
серия АФКХХ, 336 стр.
- Журнал «Логос» N 5. - «Л. Витгенштейн. Аналитическая философия», 320 стр.

4-6 месяцев:

- Лекции по истории русской культуры, серия ИРК
том 3 (XVII-начало XVIII вв.), (А.М.Панченко), 34 а.л.,
Переплет,
том 4 (XVIII-XIX вв.), (Ю.М.Лотман), 35 а.л., Переплет
- В.Н.Топоров - Святые и святость в русской духовной культуре,
том 1 (X-начало XIII в.), 43 а. л., Переплет, серия ИРК
- М.Л.Гаспаров - «Занимательная Греция». Рассказы о
древнегреческой культуре., 384 стр., 280 ил.
- Марк Аврелий - «Размышления», диплосса, пер. А.К.Гаврилова,
серия ФШ, пер., 20 ал.

U KAMKIN

5733303840

\$7.50



Александр Романович Лурия (1902–1977) — один из крупнейших психологов XX века. Еще при жизни его исследования об историческом развитии познавательных процессов, о роли речи в формировании произвольных действий и — главное — о мозговой организации психических процессов получили мировое признание и во многом повлияли и продолжают влиять на развитие современной науки.

Эта книга написана Еленой Александровной Лурия, которую связывала с отцом глубокая взаимная привязанность и дружба. Леночка, как звали ее друзья, была обаятельным человеком, прекрасным ученым-биологом, талантливым автором детских сказок и научно-популярных книг. После трагической ее гибели 20 января 1992 г. осталась приготовленная к печати рукопись книги об отце.

Книга вобрала в себя и семейные предания, и воспоминания очевидца, и — что необходимо особо отметить — архивные материалы. А.Р. Лурия оставил богатейший архив, отражающий научную и культурную жизнь с 1917 по 1977 г. и до сих пор практически еще не тронутый исследователями. Под пером Е. А. Лурия архивные документы оживают, входят в контекст исторической эпохи, складываются в содержательный рассказ об истоках и истории одного из фундаментальных направлений современной психологии, как бы услышанный из уст ее творца и лидера. Соединение тщательного анализа уникальных документов с живым человеческим отношением к ним делают книгу Е. А. Лурия увлекательным чтением для широкого круга читателей.

А.Я. Фриденштейн
Т.В. Ахутина

«ГНОЗИС»

Елена Лурия · МОЙ ОТЕЦ А.Р. ЛУРИЯ



3 1761 04437 1201

ЕЛЕНА
ЛУРИЯ

МОЙ ОТЕЦ А.Р. Лурия



BF
109
L87L87
1994
с. 1
ROBA